ДЖЕК ЛОНДОН

СЫН ВОЛКА

*

ДЕТИ МОРОЗА



Сын волка. Дети мороза. Игра
Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон
СЫН ВОЛКА
  Белое Безмолвие
  Сын Волка
  На Сороковой Миле
  В далекой стране
  За здоровье того, кто в пути
  Право священнослужителя
  Мудрость снежной тропы
  Жена короля
  Северная Одиссея
ДЕТИ МОРОЗА
  В дебрях севера
  Закон жизни
  Нам-Бок лжец
  Заклинатель духов
  Жители Солнечной Страны
  Болезнь Покинутого Вождя
  Киш, сын Киша
  Смерть Лигуна
  Красавица Ли-Ван

Лига стариков
ИГРА
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

В очередном томе произведений Джека Лондона собраны три знаковые работы: «Сын Волка», «Дети Мороза» и «Игра». Их объединяет тема борьбы человека за свое существование — и с силами природы, и с другим человеком.

Джек Лондон

СЫН ВОЛКА



Белое Безмолвие

— Кармен не протянет, пожалуй, и пары дней. — Мэсон выплюнул ледышку и с сожалением посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший между пальцами лед.

— Никогда, знаешь, я не видел, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь годна!.. — сказал он, кончая работу и отбрасывая животное в сторону. — Они все какие-то чахлые и дохнут от излишней ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами вроде Кассияр, Сиваш или Хески? Вот, посмотри на Шукума, — он…

Ттрах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэсона.

— А-а, чтоб тебя… — Затрещина по уху, удар кнута — и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, а желтая пена бежала у него изо рта.

— Так вот, я говорю: Шукум — сам-то он как будто еле волочит ноги, а увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест.

— А у меня предложение как раз обратное, —

отвечал Мельмут Кид, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. — Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. Что ты скажешь на это, Руфь?

Индианка поставила чай на обломок льда и перевела глаза с Мельмут Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это было настолько банально, что и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак — ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжи — это была дневная передышка — и с жадностью следили за каждым проглатываемым куском.

— Сегодня последний завтрак, больше не будет, — заметил Мельмут Кид. — И я вам скажу, держите ухо востро с собаками, они становятся подозрительными. Что им стоит, в самом деле, при удобном случае перервать кому-нибудь глотку?

— А я был когда-то председателем в Эйварее и преподавал в воскресной школе!.. — Выпалив это, Мэсон погрузился в задумчивое созерцание своих дымящихся мокасинов и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку

чая. — Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай! А я ведь видел, как он растет, — там, в Теннесси. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога! Не беда, Руфь: больше ты голодать не будешь. И мокасинов носить тоже не будешь.

Женщина вся засветилась при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину — первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней — женщине — несколько лучше, чем к вьючному животному.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собою. — Погоди только, пока мы это все обделаем! Мы отправимся тогда По Ту Сторону. Мы возьмем лодку Белого Человека и поедем на Большую Соленую Воду. Да, скверная вода, тяжелая вода — целые горы — вверх и вниз, вверх и вниз, все время. И такая большущая, и такая длинная… Очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь спать (для наглядности он подсчитывал по пальцам). И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма — вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы… о, какие высокие

вигвамы — десять елок, двадцать елок… Ха-йу?

Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмут Кида. Потом на языке знаков добросовестно подытожил двадцать елок — точка в точку. Мельмут Кид улыбался несколько насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце.

— А потом ты влезаешь, ну, в коробку и — поехала! — Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал: — Пфф! Приехала вниз! О великие ученые люди! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Северный Город — двадцать пять ночей и длинный шнурок между ними, все время шнурок. Я беру шнурок и говорю: «Алло, Руфь! Как вы там поживаете?», а ты мне: «Это мой милый муж?» А я отвечаю: «Да». А ты говоришь: «Не могу испечь хлеба, соды нет». А я тебе: «Посмотри-ка в шкафчике, под мукой». А потом — «до свиданья». Ты смотришь в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты — в Форт-Юконе, я — в Северном Городе!

Руфь была настолько бесхитростно восхищена этой волшебной историей, что оба мужчины рас-

хохотались. Собачий рев сразу оборвал все чудеса По Ту Сторону, и пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани и все было готово к отъезду.

— Пшли! Черти! Хи-и! Пшли же! — Масон заработал кнутом, и когда собаки налегли, он сам сдвинул упряжку, подпирая ее шестом. Руфь последовала со второй упряжкой, оставляя с последней Мельмут Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не плакал…

— Ну-ну! Пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! — бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтеньем и оханьем они поторопились догонять товарищей.

Разговоров больше не было: напряженная работа не допускала такой роскоши. Ибо из всех смертельно тяжелых работ северные переезды — самая тяжелая. Счастлив тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге, хотя бы и ценой молчания!

Ибо из всех изнуряющих работ самая тяжелая — пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне козел. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит настоящей катастрофой: лыжа должна быть поднята до самой поверхности и ни за что не зацепиться. Теперь вперед, то есть вниз, — и другая нога осторожно поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда. Всякий, кто первый раз пробует такой способ передвижения, — если ему даже посчастливится спасти лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, — через какую-нибудь сотню ярдов совершенно выбьется из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд в двадцать ночевок, несомненно, достоин зависти богов.

Послеобеденное время тоже прошло с тою серьезностью и почти жутью в душе, какая рождается в Белом Безмолвии, — безмолвные путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и

ничтожестве — безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным, поражающим до отупения, является воздействие Белого Безмолвия. Всякое движение останавливается, небо безоблачно и точно вылито из свинца; малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он — единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком, ничем больше.

Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэсон захотел скосить путь через перешеек. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой — и хотя Руфь и Мельмут Кид подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Несчастные животные, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще — и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревки мэсоновские лыжи. Результат оказался самый плачевный: Мэсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, таща все за собою.

Тррр! Бешено заходил длинный кнут по спинам собак, обрушиваясь на упавшую.

— Нельзя, Мэсон! — вмешался Мельмут Кид. — Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих.

Услышав последние слова, Мэсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу неудачницы. Кармен — это была Кармен — жалобно взвыла, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги.

Это был трагический момент: околевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руфь переводила умоляющий взгляд с одного на другого. Но Мельмут Кид сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждые из саней, и препятствие осталось позади. Сани тронулись, околевающая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость — тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя.

Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком

упрямый, чтобы признаться в этом, Мэсон шел впереди каравана, совершенно не подозревая, что новая опасность висела над его головой. Шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она стояла здесь и целые столетия судьба уготавливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мэсона.

Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина стояла жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инеем леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох — они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыграло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал предостерегающий хруст и хотел отскочить, но было уже поздно — удар пришелся ему по плечу.

Внезапная опасность, близкая смерть — как часто Мельмут Кид стоял с ними лицом к лицу! Иглы ели еще не перестали дрожать, как он уже отдал свои короткие приказания и схватился за дело. Голос индианки тоже не дрогнул в праздных

стонах и жалобах, что непременно случилось бы с большинством ее белых сестер. По его приказу она бросилась всей тяжестью своего тела на сымпровизированный рычаг, стараясь уменьшить тяжесть дерева и прислушиваясь к стонам мужа, в то время как Мельмут Кид атаковал дерево топором. Сталь как-то весело звенела, въедаясь в замерзший ствол, и каждый удар сопровождался прерывистым вздохом работающего — «Ху! — Ху!».

Наконец Киду удалось освободить из снега то жалкое нечто, что совсем недавно было человеком. Но еще страшнее боли его товарища была тупая мука на лице женщины — ее взгляд, ничего не видящий, полный надежды и безнадежного вопроса. Немного было сказано. Все, кто с Севера, с детства научаются понимать тщету слов и безмерную ценность действий. При температуре в шестьдесят пять ниже нуля человек не может пролежать долго в снегу и остаться в живых. Поэтому сани разгрузили, и несчастного, завернутого в меха, положили на кучу ветвей. Перед ним развели костер — из того же дерева, которое его погубило. Позади лежащего и отчасти над ним был устроен отражающий экран из брезента, он собирал лучи тепла и направлял их на больного

— штука, которую знают все, изучавшие физику.

Люди, которые делят свое ложе со смертью, хорошо знают, когда прозвучит призыв. Мэсон был страшно изувечен. Это было ясно из самого поверхностного осмотра. Его правая рука, нога, а также спина были переломаны, все члены парализованы; не меньше были и внутренние повреждения. Только по стонам — редким и тихим — можно было догадаться, что он еще жив.

Надежды не было. И ничего нельзя было сделать. Жестокая ночь длилась — хорошая доза безнадежного стоицизма индианской расы — для Руфи, и новые глубокие борозды по бронзовому лицу Мельмут Кида. В конце концов, Мэсон страдал меньше всех: он уносился в Восточный Теннесси, в Великие Дымящиеся Горы, вновь переживая свое детство и юность. И самыми волнующими были обрывки песен давно забытого родного юга, когда он бредил о плавучих западнях, об охоте на выдру, о набегах за арбузами.

Для Руфи это был непонятный язык, но Кид понимал и переживал все — так переживал, как только может переживать человек, годами выброшенный из всего, что называется цивилизацией.

Утро привело умирающего в сознание, и Мель-

мут Кид наклонился к нему совсем близко, чтобы уловить его шепот.

— Помнишь, как мы собирались в Танана, — четыре года будет, когда тронется лед… Я не очень-то думал о ней тогда. А ведь она была больше для меня, чем хорошенькая, и был во всем этом… да, такой привкус восхищения, что ли. Знаешь, я только потом ее раскусил. Она была мне хорошей женой, Кид. Всегда плечо к плечу в трудную минуту. А уж что до переездов, сам знаешь, такую другую не найдешь. Ты помнишь, как она стреляла там, на Оленьих Порогах, чтобы дать время тебе и мне спуститься со скалы? Пули свистели по воде, как град, помнишь? А когда мы все голодали в Нуклукието? А когда был ледоход, а она бежала через реку за новостями? Да, она была мне хорошей женой, лучше, чем та, другая… Никогда не говорил тебе, да? Один-то раз пробовал говорить, помнишь, в Штатах? Потому же я и сюда попал. Мы выросли вместе. Я уехал, чтобы был предлог для развода. Она так и сделала.

Но все это не касается Руфи. Я надеялся все ликвидировать к будущему году и уехать на родину вместе с ней, но теперь поздно. Не отсылай ее, Кид, к ее племени. Для женщины чертовски тяжело возвращаться к своим. Ты подумай! Почти

четыре года на наших бобах и на нашем сале, и муке, и сушеных фруктах — и вернуться на рыбу и оленину. Ей будет очень тяжело: узнать нашу жизнь и наше обхождение, увидеть, что лучше, чем у своих, и в конце концов вернуться к ним. Позаботься о ней, Кид. И почему бы тебе… Впрочем, ты всегда сторонился женщин… Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок… он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь.

А если девочка… нет, этого не может быть… Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает… Дай ему хорошее образование… а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын… Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со

мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мельмут Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу… Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней… скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой… надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид…

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва

слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня… ты знаешь за что… за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мельмут Кид натянул на себя парку, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мельмут Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мельмут Кид увидел, что

индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас сушеной рыбы был уничтожен, и им оставалось каких-нибудь пять фунтов муки на двести верст пути. Руфь вернулась к мужу, а Мельмут Кид освежевал еще не остывшее тело одной из собак, череп которой был раздроблен топором. Куски мяса он тщательно отобрал и спрятал, а шкуру и внутренности отдал собакам.

Утро принесло с собой новое беспокойство. Собаки набросились друг на друга. Кармен, которая все еще цеплялась за свое жалкое существование, была разорвана стаей. Кнут безостановочно колотил по их спинам. Они визжали и выли под

ударами, но отказывались сдвинуться, пока не были уничтожены последние, жалкие клочки: кости, шкура, шерсть — все исчезло.

Мельмут Кид принялся за дело, прислушиваясь к Мэсону, который уже опять пребывал у себя в Теннесси, разговаривал, бешено спорил и умолял давно забытых друзей и братьев.

Воспользовавшись близостью двух молодых елок, он с помощью Руфи соорудил нечто вроде мешка, какие делают иногда охотники, чтобы сохранить мясо от волков и собак. Одну за другой он пригнул к земле и друг к другу верхушки двух молодых елок и связал их ремнями из оленьей шкуры. Затем усмирил собак и впряг их в двое саней; на них он погрузил все, что у них было, за исключением мехов, в какие был завернут Мэсон. Он замотал и обвязал этот мех плотнее вокруг тела умирающего, прикрепив за два конца к верхушкам елок. Одного удара охотничьего ножа было достаточно, чтобы отпустить вершины и бросить тело высоко в воздух.

Руфь выслушала последние приказания мужа и не сопротивлялась. Бедняжка слишком хорошо была обучена покорности. С детства она привыкла подчиняться и видела, как и все другие женщины подчинялись господам земли, и ей

казалось законом природы, чтобы женщина не сопротивлялась. Кид разрешил ей одну вспышку горя, когда она целовала последний раз мужа — в ее племени так не делали, — потом отвел ее к передней запряжке и помог ей надеть лыжи. Тупо, инстинктивно она взяла кнут и веревку и «подняла» собак в дорогу. А он вернулся к Мэсону, который впал в коматозное состояние; и долго еще после того, как она скрылась из виду, он, сгорбившись у огня, ждал, надеялся, просил, чтобы смерть сама пришла к его товарищу.

Невесело оставаться одному с тяжелыми мыслями в Белом Безмолвии. Темная тишина ночи — добрая тишина. Она точно прячет, защищает человека, касается его тысячами неосязаемых прикосновений. Но яркое Белое Безмолвие, прозрачное и холодное, под тяжестью свинцового неба, — оно безжалостно.

Прошел час. Два часа. Но человек не умирал. В полдень солнце, не поднимаясь над южным горизонтом, разбросало вспышки огня по небу и так же быстро стерло их опять. Мельмут Кид поднялся, подошел к товарищу и посмотрел на него. Белое Безмолвие насмешливо следило за ним, и ему стало невыносимо страшно. Раздался короткий выстрел, и Мэсон взлетел в свою воз-

душную гробницу, а Мельмут Кид пустил собак бешеным галопом.

Сын Волка

Мужчина редко умеет ценить близких ему женщин — до тех пор, по крайней мере, пока не потеряет их. До его сознания совершенно не доходят тонкая атмосфера, излучаемая женщиной, пока он сам купается в ней; но стоит ей уйти — раскрывается и растет в его жизни пустота, и им овладевает странный голод по чему-то неопределенному, чего он не умеет назвать словами. Если друзья, окружающие его, так же неопытны, как и он сам, они будут сомнительно качать головами и предложат ему серьезно лечиться. Но голод будет все расти и становиться острее; он потеряет всякий интерес к событиям ежедневной жизни и станет раздражительным. И в один из дней, когда эта пустота станет совершенно невыносимой, на него снизойдет откровение.

Когда нечто подобное происходит на Юконе, мужчина достает себе лодку — летом или запрягает собак в сани — зимой — и едет на Юг. И через несколько месяцев, если он только привязан так или иначе к Северу, он возвращается назад с женой, которая отныне будет делить его привязанность к Северу и его труд. Все это

доказывает, конечно, прежде всего врожденный эгоизм мужчины. И одновременно может служить введением в описание приключений Скрэфа Маккензи, случившихся с ним очень давно, — раньше, чем страна Юкона была запружена «че-ча-квас'ами», еще тогда, когда Клондайк был известен только своими рыбосушильнями.

На Маккензи отразились его пограничное происхождение и жизнь пограничника. На лице его отпечаталось двадцать пять лет непрестанной борьбы с природой, из которых последние два года — и самые жестокие — он провел в поисках золота за пределами Полярного круга. Когда описанная выше болезнь захватила его, он нисколько не удивился, так как был человек практичный и много раз видел людей в таком же положении. Но он подавил все признаки болезни и только стал еще упорнее работать. Все лето он боролся с москитами и мок на берегу Стюарт Ривер, сплавляя лес вниз по Юкону до Сороковой Мили, и в конце концов построил себе такую комфортабельную хижину, какая только может быть сооружена в этой стране. Она выглядела настолько привлекательно и уютно, что несколько человек навязывались к нему в компаньоны, предлагая поселиться вместе. Но он наотрез от-

казывался и притом довольно грубо, что вполне соответствовало его сильному и решительному характеру, а сам, однако, закупил через почтовую станцию двойной запас провианта.

Скрэф Маккензи был человек практичный, как было сказано выше. Если он чего-нибудь хотел, он обыкновенно добивался своего, но при этом не отступал от ранее намеченного пути лишь настолько, насколько это было необходимо. Кровному сыну тяжелой нужды и тяжелого труда совсем не по душе было бесконечное путешествие в шестьсот миль по льду, две тысячи миль через Океан, да еще около тысячи миль до родных мест — и все это из-за какой-то одной жены. Жизнь слишком коротка для таких прогулок. Он собрал собак, погрузил в сани довольно странную поклажу и пустился прямиком между двумя водоразделами, восточные холмы которых подступали к Танане.

Он был смелым путешественником, а его собаки-волкодавы выносили на худшей пище более тяжелую работу и более длинные перегоны, чем всякая другая запряжка в Юконе. Через три недели он добрался до племени Стиксов Верхней Тананы. Те очень удивились его дерзости. За ними установилась плохая слава: говорили, что они

убивают белых людей из-за такой безделицы, как хороший топор или старое ружье. А он пришел к ним безоружный, и во всем его поведении была очаровательная смесь заискивающей скромности, фамильярности, холодной выдержки и наглости. Нужно хорошо набить руку и глубоко изучить душу дикаря, чтобы с успехом пускать в ход столь разнообразное оружие, но он был мастер своего дела и знал, когда уступить, а когда — наоборот — торговаться до исступления.

Прежде всего он отправился на поклон к вождю племени — Тлинг Тиннеху — и подарил ему пару фунтов черного чая и табака, чем и завоевал его несомненную благосклонность. После этого он смешался с толпой мужчин и девушек и объявил, что вечером дает потлач. Утоптали овальную площадку в сто шагов в длину и двадцать пять в ширину. По центру разложили большой костер, а по обеим его сторонам набросали кучи сосновых веток. Было устроено нечто вроде трибуны, и человек сто пели песни племени в честь прибывшего гостя.

Последние два года научили Маккензи сотне слов на их наречии, и он в совершенстве перенял их глубокие гортанные гласные, их языковые конструкции, близкие японским, все их вели-

чания, приставки и пр. Он произнес речь в их вкусе, удовлетворяя их врожденную склонность к поэзии потоками туманного красноречия и образными оборотами. Ему отвечали в том же духе Тлинг Тиннех и главный шаман. Потом он раздарил всякие мелочи мужчинам, принял участие в их пении и показал себя настоящим чемпионом в игре в пятьдесят две палки.

А они курили его табак и были довольны. Но молодые держали себя несколько вызывающе — петушились, поддерживаемые явными намеками беззубых матрон и хихиканьем девушек. Им пришлось столкнуться на своем веку всего с несколькими белыми — «Сыновьями Волка», но эти немногие научили их очень странным вещам.

Маккензи, конечно, отметил этот факт, несмотря на всю свою кажущуюся беспечность. Если сказать правду, то, лежа поздно ночью в своем спальном мешке, он снова и снова обдумывал все это — обдумывал серьезно — и выкурил не одну трубку, пока не составил план кампании. Из девушек ему понравилась только одна — Заринка, дочь самого вождя. По фигуре, чертам лица, росту и объему она несколько больше других соответствовала идеалу красоты белого человека и была

своего рода аномалией среди своих соплеменниц. Он возьмет ее, сделает своей женою и назовет ее — ах, он непременно назовет ее Гертрудой. Решив это окончательно, он повернулся на другой бок и сейчас же заснул, как настоящий сын своей всепобеждающей расы.

Это было сложное дело и тонкая игра, но Маккензи вел ее чрезвычайно хитро, с неожиданностью, которая озадачивала стиксов. Прежде всего он позаботился о том, чтобы внушить всем мужчинам племени, что он очень меткий стрелок и бесстрашный охотник, и вся деревня гремела от рукоплесканий, когда он подстрелил оленя на расстоянии шестисот ярдов. Однажды, поздно вечером, он отправился в хижину вождя Тлинг Тиннеха, сделанную из шкур карибу, очень много и громко говорил и раздавал табак направо и налево. Он, конечно, не преминул оказывать всяческое внимание шаману, ибо достаточно оценил его влияние и очень хотел сделать его своим союзником. Но это высокопоставленное лицо оказалось весьма надменным, решительно отказалось умилостивиться какими-либо жертвоприношениями, и с ним, видимо, приходилось считаться как с несомненным врагом в будущем.

Хотя случая подойти ближе к Заринке не

представилось, Маккензи бросил в ее сторону несколько взглядов, красноречиво и нежно предупреждавших ее об его намерениях. И она, конечно, прекрасно поняла их и не без кокетства окружила себя толпой женщин, так что мужчины не могли подойти к ней: это было уже начало победы. Впрочем, он не торопился; помимо всего, он прекрасно знал, что ей все равно ничего не остается, как думать о нем, а несколько дней подобных размышлений могли только помочь ухаживанию.

В конце концов однажды ночью, когда он решил, что пришло время, он неожиданно покинул прокопченное дымом жилище вождя и вошел в соседнюю хижину. Она, как и всегда, сидела среди женщин и девушек, и все они шили мокасины и спальные мешки. При его появлении все засмеялись и громко зазвучала веселая болтовня Заринки, обращенная к нему. Но потом вышло так, что все эти матроны и девицы были самым бесцеремонным образом выставлены за дверь одна за другой, прямо в снег, где им не оставалось ничего другого, как только спешно разнести по деревне интересную новость.

Его намерения были весьма красноречиво изложены на ее языке — его языка она не знала, и

по прошествии двух часов он поднялся.

— Так что Заринка пойдет в хижину Белого Человека, да? Ладно. Теперь я пойду говорить с твоим отцом, потому что он, может быть, думает иначе. И я дам ему много подарков, но пусть он не требует слишком много. А если он скажет — нет? Ладно. Заринка, значит, все-таки пойдет в хижину Белого Человека.

Он уже поднял шкуру входной двери, когда тихий возглас девушки заставил его вернуться. Она опустилась перед ним на колени на медвежью шкуру, с лицом, залитым внутренним светом — вечным светом Евы, — и застенчиво принялась развязывать его тяжелый пояс. Он смотрел на нее сверху вниз, растерянный, подозрительный, прислушиваясь к малейшему шуму снаружи. Но следующее ее движение рассеяло все его сомнения, и он улыбнулся от удовольствия. Она вынула из мешка с шитьем ножны из оленьей шкуры, красиво разукрашенные яркой фантастической вышивкой, потом взяла его большой охотничий нож, посмотрела почтительно на его острое лезвие, потрогала его пальцем и всунула в новые ножны. Затем она надела их снова на пояс.

Честное слово, это была сцена из средневековья — прекрасная дама и ее рыцарь. Маккензи под-

нял ее высоко на воздух, прижимая свои усы к ее красным губам: для нее это была чужеземная ласка Волка — встреча каменного века со стальным.

В воздухе стоял невообразимый гам, когда Маккензи с толстым узлом под мышкой широко распахнул дверь хижины Тлинг Тиннеха. Дети бежали по улице, стаскивая сухие сучья для потлача, крикливая женская болтовня удвоила свою интенсивность, молодые люди совещались мрачными группами, а из хижины шамана доносились зловещие звуки заклинания.

Вождь был один со своею подслеповатой женой, но Маккензи достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что новости его уже устарели. Поэтому он начал прямо с дела, выставляя напоказ расшитые ножны как предупреждение о состоявшемся уже соглашении.

— О Тлинг Тиннех, могучий вождь племени Стиксов и всей земли Танана, повелитель лососи и волка, и оленя, и карибу! Белый Человек стоит перед тобою с великим предложением. Много лун была пуста его хижина и много ночей провел он в одиночестве. И сердце его изглодало себя в молчании, и выросла в нем тоска по женщине, которая сидела бы рядом с ним в хижине и встречала бы его, вернувшегося с охоты, ярким огнем

и вкусным ужином. Странные вещи слышались ему в тишине: он слышал топанье маленьких ножек в детских мокасинах и звуки детских голосов. И однажды ночью снизошло к нему видение. И он пошел к Ворону, твоему отцу, великому Ворону, отцу племени Стиксов. И Ворон говорил с одиноким Белым Человеком и сказал ему так: «Подвяжи твои мокасины и надень твои лыжи, и положи в сани еды на много ночей, и положи в них еще красивые подарки для великого вождя Тлинг Тиннеха. Потому что ты должен теперь повернуть лицо твое в ту сторону, где весною солнце опускается за край земли, и ехать в страну этого великого вождя. Ты привезешь с собою богатые подарки, и Тлинг Тиннех — мой сын — примет тебя как отец. В хижине его есть девушка, в которую я вдохнул дыхание жизни для тебя. Эту девушку ты должен взять себе в жены».

О вождь, так говорил великий Ворон. И вот я кладу мои подарки к твоим ногам, и вот я здесь, чтобы взять твою дочь.

Старик запахнул свою меховую одежду с полным сознанием своего королевского достоинства, но ответил не сразу, так как в эту минуту вбежал мальчик и передал ему требование немедленно явиться на совет старейшин.

— О Белый Человек, которого мы прозвали Смертью Оленей и которого зовут еще Волком и Сыном Волка! Мы знаем, что ты происходишь из могущественного племени; мы гордимся таким гостем нашего потлача, но королевской лососи не пристало сходиться с мелкой лососью или Ворону сходиться с Волком.

— Нет, это не так! — воскликнул Маккензи. — В деревнях Волков я встречал не раз дочерей Ворона — жена Мортимера, и жена Тредгидю, и жена Барнаби, который вернулся после двух ледоходов, и о многих других женщинах я слышал, хотя глаза мои и не видели их.

— Сын, твои слова справедливы, но разве было что хорошее от таких встреч? Это то же, что воде сойтись с песком или снежным хлопьям сойтись с солнцем! А приходилось тебе встречать некоего Мэсона и его жену? Нет? Он приходил сюда вот уже десять ледоходов тому назад — первый из всех Волков. И вместе с ним приходил еще могучий человек, стройный и высокий, как молодой тополь, сильный, как дерзколицый медведь. И лицо у него было похоже на полную летнюю луну; его…

— О! — прервал Маккензи, узнав хорошо известную всему Северу фигуру. — Мельмут Кид!

— Он — самый могучий человек. Но не встречал ли ты женщину с ними? Она была родной сестрой Заринки.

— Нет, вождь, но я слышал о ней. Мэсон… Это было далеко, далеко на севере — старая сосна, отяжелевшая от долгих лет, раздавила его жизнь. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла это золото и взяла своего мальчика, и ехала долго-долго, несчетное число ночей, к северному полуденному солнцу. Она и теперь живет там и не страдает от мороза и снега, полуночного летнего солнца и полуденной зимней ночи.

Новый посланец прервал их, принеся от совета категорическое требование явиться немедленно. Выталкивая его за дверь, Маккензи различил неясные тени вокруг костра совета, услышал ритмическое пение низких мужских голосов и понял, что шаман разжигает злобу народа. Надо было спешить. Он вернулся к вождю.

— Ну, я хочу взять твое дитя! И ты посмотри, посмотри сюда: вот табак, чай, много кружек сахара, теплые одеяла, платки — посмотри, какие плотные и большие. А это, видишь, настоящее ружье, и вот пули к нему, много пуль и много пороха.

— Нет, — возразил старик, видимо, борясь с искушением завладеть богатствами, разложенными вокруг него. — Ты слышишь, мой народ собрался. Они не хотят этой свадьбы.

— Ведь ты — вождь.

— Но мои юноши в большом гневе за то, что Волки берут их девушек и им не на ком жениться.

— Послушай, о Тлинг Тиннех! Раньше чем ночь перейдет в день, Волк направит своих собак к Горам Запада и еще дальше в страну Юкона. И Заринка будет впереди его собак.

— Но ранее того чем ночь дойдет до своей середины, мои юноши бросят собакам тело Волка, и его кости затеряются в снегу, пока весна не оголит их.

Это была атака и контратака. Бронзовое лицо Маккензи густо вспыхнуло. Он возвысил голос. Старая женщина, которая до этой минуты восседала равнодушной зрительницей, поползла к двери. Когда он оттащил ее и грубо толкнул на ее сиденье из шкур, он услышал, как пение сразу прекратилось и послышался гвалт многочисленных голосов.

— Еще раз я кричу тебе, о Тлинг Тиннех! Волк умирает, стиснув зубы, но с ним вместе уснут десять твоих самых сильных воинов, а они нужны

тебе, потому что приближается время охоты, а за ним время рыбной ловли. И еще раз говорю тебе: какая польза от моей смерти? Я знаю обычаи твоего народа: твоя доля в моем имуществе будет очень мала. Отдай мне твое дитя — и все это будет твоим. И опять же говорю тебе: придут мои братья, а их много, их земля никогда не бывает слишком заселена — и дочери Ворона принесут детей в жилищах Волков. Мой народ сильнее твоего народа. Так решила судьба. Согласись — и все это богатство будет твоим.

Снаружи заскрипели по снегу мокасины. Маккензи взвел курок ружья и вынул из-за пояса револьвер.

— Согласись, о вождь!

— А мой народ скажет «нет»?

— Согласись — и все это будет твоим! А с твоим народом я поговорю после.

— Волк хочет так? Хорошо, я беру его подарки, но говорю ему: берегись!

Маккензи пересмотрел еще раз приношения, посмотрел, не заряжено ли ружье, и завершил сделку калейдоскопически пестрым шелковым платком. В хижину вошел шаман с дюжиной молодцов, но Маккензи смело растолкал их и вышел на улицу.

— Собирайся! — коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее хижины, и стал поспешно запрягать собак. Через несколько минут он уже шел на совет во главе своей запряжки, и женщина была с ним. Он занял место на верхнем конце огня, рядом с вождем. По левую сторону, несколько сзади, он поставил Заринку. Это место принадлежало ей по праву, а кроме того, не худо было обезопасить себя сзади, ибо момент был очень серьезный.

На другом конце многочисленные фигуры сидели на корточках у огня, и голоса их тянули песню давно забытых времен. Это пение со странным обрывающимся ритмом и частыми повторениями не было красиво. «Жуткое» — вот какое определение было наиболее точным. На самом конце, под наблюдением шамана, плясало около десяти женщин. Он сурово укорял тех из них, которые не умели всецело отдаться экстазу обряда. Почти скрытые тяжелыми массами черных волос, изгибая стан и словно разбитые во всех членах, они медленно раскачивались, и их тела извивались в такт беспрестанно меняющемуся ритму.

Это была дикая сцена: невероятный анахронизм. На Юге девятнадцатое столетие заканчивало последние годы своего последнего десятка, здесь царствовал первобытный человек — тень

восставшего из гроба доисторического пещерного жителя, забытый обрывок древнего мира. Желто-бурые собаки — волкодавы — лежали между своими хозяевами, одетыми в звериные шкуры, дрались из-за места, и отсветы костра отражались в их красных глазах и на оскаленных пенящихся зубах. Лес стеснился вокруг толпою неподвижно дремлющих привидений. Белое Безмолвие, отодвинутое на время в туманную глубину его, казалось, выжидало только минуту, чтобы прорваться в круг людей; звезды танцевали по небу большими скачками, как они делают это всегда в часы Великого Холода, а Духи Полюса тянули через все небо сверкающие одежды своей славы.

Скрэф Маккензи вряд ли ощущал дикое величие происходящего, переводя внимательный взгляд с одного лица на другое, вдоль ряда меховых фигур. На одно мгновение глаза его остановились на новорожденном ребёнке, сосавшем голую грудь матери, — и это при семидесяти с лишним градусах мороза. Он подумал о нежных женщинах своей расы и презрительно усмехнулся. И однако от тела вот такой нежной женщины произошел и он сам.

Пение и пляска кончились, и шаман стал красноречиво говорить. Ловко пользуясь запутанной

и обширной мифологией, он играл на доверчивости своих слушателей. Дело было серьезное. Творческим началом, воплощенным в Ворoне и в Вороне, он противопоставлял Маккензи — Волка — как начало воинственное и разрушительное. Борьба этих двух начал протекает не только в духовной сфере, нет, бороться должны люди, каждый за своего тотэма. Они — дети Джелкса Ворона, великого бога — Прометея, принесшего им огонь, а Маккензи — сын Волка, иначе говоря, сын Дьявола. Поэтому тот, кто вносит перемирие в эту вечную борьбу, кто отдает своих дочерей в жены исконному врагу, совершает гнуснейшую измену и величайшее святотатство. И не было такого резкого выражения и такого унизительного сравнения, какое шаман не употребил бы по отношению к Маккензи, изображая его как слугу и посланца сатаны. В продолжение его разглагольствований из гущи толпы слышалось сдержанное злобное рычание.

— О братья мои, велик Джелкс и всемогущ! Разве не принес он нам огонь, рожденный небом, чтобы мы могли согреться? Разве не он выпустил солнце, луну и звезды из их небесных ям, чтобы дать нам зрение? Не он ли научил нас побеждать духов Голода и Мороза? Но теперь Джелкс про-

гневался на детей своих, и их осталась всего одна горсть, и он не хочет уже помогать им. Потому что они забыли его и делают дурные дела и вступили на дурные пути, и принимают врагов в свои жилища, и сажают их к своему огню. И Ворон скорбит о преступлениях детей своих. Но если они воспрянут и покажут ему, что хотят вернуться, он выйдет из тьмы и поможет им. О братья, сегодня Принесший Огонь шепнул шаману свои повеления, и вот я передаю их вам. Пусть юноши уведут девушек в свои хижины. Пусть они вцепятся в глотку Волка, и пусть бессмертной будет их ненависть, и тогда женщины их принесут плод, и они размножатся и станут великим народом. И Ворон выведет племена наших отцов и дедов из страны Севера, и они снова оттеснят Волков и обратят их в пепел прошлогодних костров. И они завладеют всей страной! Вот повеление Джелкса, великого Ворона.

Это обещание пришествия Мессии вызвало бурю восторга в рядах стиксов. Все они вскочили со своих мест. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Все требовали Лисицу и не хотели успокоиться, пока один из юношей не выступил вперед и не начал говорить.

— Братья! Мудро говорил шаман. Волки уводят

наших женщин, и наши мужчины бездетны. Нас осталась какая-нибудь горсть. Волки отбирают наши теплые меха и дают взамен злых духов, запертых в бутылки, и одежды, сделанные не из шкур бобра или рыси, но из травы. И одежды эти не дают тепла, и наши воины умирают от непонятных болезней. Я, Лисица, не имею жены. А почему? Два раза уже девушки, которые нравились мне, уходили в становища Волков. Вот и теперь я собрал шкуры бобров, оленей и карибу и хотел заслужить милость Тлинг Тиннеха, чтобы жениться на дочери его, Заринке. И вот вы видите — лыжи надеты на ее ноги, чтобы идти впереди собак Волка. Я говорю не только за себя. Чего хотел я, того хотел и Медведь. Он тоже хотел быть отцом ее детей и много шкур собрал для этого. Я говорю за всех юношей, у которых нет жен. Волки жадны. Они всегда хотят получить лучшие куски. Во́ронам остаются одни объедки.

— Смотрите, вон Гукла, — вскрикнул он, грубо указывая на одну из женщин, которая была калекой. — Глядите, ее ноги такие же кривые, как бока березовой лодки. Она не может собирать сучья или носить за охотниками их добычу. Что же? Ее выбрали Волки?

— О! О! — кричали слушатели.

— А вот Маира, глаза которой перекошены злым духом. Даже маленькие дети пугаются при виде ее, и я слышал, что даже медведь уступает ей дорогу при встрече. Что же? Ее взяли?

И снова раздался дикий рев одобрения.

— А вон там сидит Пишета. Она не слышит моих слов. Она никогда не слышала крика совы и голоса своего мужа, и лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Посмотрели ли на нее Волки? Нет! Им нужны лучшие куски — объедки они оставляют нам!

Братья, не будет этого больше! Никогда больше Волки не прокрадутся к нашим кострам. Настало время!

Огненный столб северного сияния — пурпурно-красный, зеленый, желтый — поднялся к зениту, соединяя горизонт с горизонтом. Закинув голову и вытянув руки, Лисица указывал на небо.

— Смотрите! Это встали души отцов ваших. Великие дела совершатся сегодня ночью!

Он отступил назад, а его место нерешительно занял другой юноша, выталкиваемый вперед товарищами. Он был на целую голову выше их всех, и его широкая грудь, несмотря на сильнейший мороз, была обнажена. Он переминался с ноги на ногу. Слова застревали у него в горле, и ему было,

видимо, очень не по себе. На лицо его страшно было смотреть, ибо чуть ли не половина его была когда-то снесена во время схватки. Наконец, он ударил себя в грудь сжатым кулаком, причем послышался глухой звук, как от барабана, и голос его полетел над толпой, как рев океанской пучины.

— Я — Медведь, я — Серебряное Копье и Сын Серебряного Копья. Когда мой голос походил еще на голос девочки, я уже убивал рысь, и оленя, и карибу. Когда он звучал, как голос росомахи, попавшей в западню, я перешел через Северные Горы и убил троих с Белых Берегов, а когда он стал походить на рев Чинуки, я встретил дерзколицего медведя и не уступил ему дороги.

Он остановился и выразительно провел рукой по своему обезображенному лицу.

— Я не умею говорить, как Лисица. Язык мой замерз, как река. Я не могу говорить долго. У меня мало слов. Вот Лисица говорит, что великие дела придут сегодня ночью. Ладно! Слова бегут у него с языка, как весенние потоки, но он слишком бережлив на дела. Сегодня ночью я буду бороться с Волком. Я свалю его, и Заринка будет сидеть у моего огня. Медведь сказал.

Несмотря на то что ад поднялся вокруг него,

Маккензи не сдвинулся с места. Понимая, насколько бесполезно ружье на таком близком расстоянии, он вынул оба револьвера и приготовился. Он знал, конечно, что в случае массового нападения надежды не было, но, верный своему гордому слову, готов был умереть со стиснутыми зубами. Но Медведь сдержал своих товарищей, отбросив самых дерзких назад ударами своих страшных кулаков. Когда шум немного стих, Маккензи оглянулся на Заринку. Она была изумительно хороша. Наклонившись вперед на своих лыжах, она стояла с раскрытыми губами и вздрагивающими ноздрями, как тигрица, готовая к прыжку. Ее большие черные глаза впивались в соплеменников со страхом и с вызовом. Напряжение ее было так велико, что она, казалось, перестала дышать. Одной рукой она судорожно схватилась за грудь, а в другой так же судорожно сжимала плетку, и стояла так, словно превращенная в камень. Под его взглядом она пришла в себя. Глубоко вздохнув, она отодвинулась назад, посмотрев на него глазами, в которых было нечто большее, чем любовь.

Тлинг Тиннех пытался говорить, но его заглушали. Тогда Маккензи выступил вперед. Лисица открыл было рот, чтобы крикнуть что-то, но Мак-

кензи с такой яростью замахнулся на него, что тот отскочил назад, подавившись собственным возгласом. Его поражение было встречено шумным смехом и привело его товарищей в несколько более спокойное состояние.

— Братья! Белый Человек, которого вы хотите называть Волком, пришел к вам с ласковыми словами. Он не обманщик: он не говорил вам лжи. Он пришел к вам как друг, как тот, кто хочет быть вашим братом. Но ваши юноши говорили по-своему, и время ваших слов прошло. Прежде всего я говорю вам, что у шамана неправедный язык, и что он лживый пророк, и что слова, которые он говорил, шептал ему не тот, кто принес Огонь. Уши шамана закрыты для голоса Ворона, и он сплетал хитрые выдумки и дурачил вас. У него нет никакой силы. Когда, помните, все собаки были убиты и съедены, когда внутренности ваши отяжелели от лохмотьев кожи и мокасинов, когда умирали старики, и умирали старухи, и умирали маленькие дети на иссохших грудях матерей, когда вся страна была во мгле и вы погибали, как лососи на берегу, — скажите, когда голод поселился у вас, сумел ли шаман послать удачу вашим охотникам? Наполнил ли он мясом ваши желудки? И еще раз говорю я — нет силы у

шамана. Вот! Я плюю ему в лицо!

Хотя все невольно отшатнулись при виде такого святотатства, шума не последовало. Некоторые женщины были сильно напуганы, а мужчин охватило возбуждение как бы в ожидании чуда. Все взгляды были направлены на две центральные фигуры. Шаман, сознавая всю опасность положения и чувствуя, что влияние его колеблется, открыл было рот, чтобы разразиться ругательствами, но отступил перед подавшейся вперед фигурой Маккензи, его поднятыми кулаками и горящими глазами. Маккензи презрительно усмехнулся и продолжал.

— Теперь я говорю Лисице и Медведю. Кажется, им понравилась эта девушка? Да? Так ведь я же купил ее раньше. Смотрите, Тлинг Тиннех опирается на ружье, и много еще другого добра лежит у его огня. Но мне хочется быть любезным с этими юношами. Лисице, у которого язык высох от лишних слов, я подарю пять длинных пачек табака. Это смочит ему язык, чтобы ему было удобнее побольше шуметь на совете. А Медведю, встречей с которым я горжусь, я дам так: одеяла — два, муки — двадцать кружек; табака — вдвое больше, чем Лисице. А если он согласится поехать со мной через Восточные Горы, я подарю еще

ружье, точь-в-точь такое, как у Тлинг Тиннеха.

Маккензи улыбался, отходя на свое место, но сердце его было полно опасений. Ночь все еще длилась. Девушка подошла к нему, и он внимательно слушал, какие штуки выделывает ножом Медведь во время схватки.

Постановили решить спор поединком. Вдоль костра была утоптана площадка длиной в шестьдесят мокасинов. Много было разговоров о поражении шамана. Некоторые, впрочем, утверждали, что он просто не хотел показывать свою силу. А другие вспоминали разные случаи из прошлого и соглашались с Волком. Медведь вышел на середину площадки с длинным охотничьим ножом русской работы в руках. Лисица обратил всеобщее внимание на револьверы Маккензи. Поэтому Маккензи снял пояс, надел его на Заринку и ей же поручил свое ружье. Она покачала головой с сожалением, что не умеет стрелять: редко приходилось женщине брать в руки такие драгоценные предметы.

— Слушай, если опасность будет грозить мне сзади, крикни громко «мой муж!» Нет, не так, еще раз: «мой муж!»

Он рассмеялся, когда она повторяла его слова, ущипнул ее за щеку и вошел в круг. Медведь пре-

восходил его не только ростом и силой, но и нож его был длиннее вершка на два. Скрэф Маккензи много раз смотрел в глаза людей при подобных же обстоятельствах, и теперь по одному взгляду он понял, что перед ним стоит настоящий мужчина. Но отблеск огня на стали заставил его гордо и радостно вздрогнуть — отблеск стали, сердца его расы…

Снова и снова оттеснял его Медведь до линии огня или выбивал из площадки в глубокий снег, и снова и снова ловкими приемами боксера он выбирался на середину. Ни разу из толпы окружающих не услышал он одобрительного возгласа, тогда как его противника поддерживали аплодисментами, советами, предостережениями. Но он только крепче стискивал зубы при каждом звоне скрещивающихся ножей, нападая и отражая удары со спокойной выдержкой сознающей себя силы. Вначале ему было как-то жаль своего противника, но потом это чувство потонуло в первобытном инстинкте самозащиты, а еще позже он уже все забыл — осталась лишь жуткая радость борьбы. Все десять тысячелетий культуры спали с него: это был пещерный дикарь, дерущийся за самку.

Два раза ему удалось задеть Медведя и благопо-

лучно вывернуться. Но на третий он попался и, чтобы спастись, должен был ухватиться за него свободной рукой: они сошлись тело с телом. Тут только почувствовал Маккензи всю ужасную силу своего противника. Мускулы его напряглись до судороги, а жилы готовы были лопнуть, и тем не менее русская сталь сверкала все ближе и ближе. Он попробовал податься назад, но этим только ослабил себя. Тесный круг меховых фигур сомкнулся еще теснее: все были уверены в развязке и не хотели упустить ни одной детали. Но вдруг Маккензи, отклонившись немного в сторону, неожиданно — боксерским приемом — ударил Медведя головой. Тот неловко откачнулся и потерял равновесие. В то же мгновение Маккензи нанес ему сильный удар и навалился на него всею тяжестью тела, отбросив за черту, в глубокий снег. Медведь вскочил, весь покрытый снегом.

— О мой муж! — голос Заринки дрожал от ужаса.

На звук спущенной тетивы Маккензи успел низко пригнуться к земле, и стрела с наконечником из рыбьей кости пролетела над его головой и впилась в грудь Медведя, который покачнулся и упал на своего припавшего к земле противника.

В одно мгновение Маккензи высвободился из-под него и уже стоял на ногах. Медведь лежал без движения, но по другую сторону костра шаман брал уже вторую стрелу.

Нож Маккензи сверкнул в воздухе. Целый сноп света прорезал темноту, когда он перелетал через костер. И шаман, из горла которого торчала теперь одна рукоятка, пошатнувшись, упал прямо в огонь.

Чик! Чик!.. Лисица завладел ружьем Тлинг Тиннеха и тщетно пытался зарядить его; услышав за собою смех Маккензи, он сейчас же поставил ружье на место.

— Та-к! Значит Лисица не умеет обращаться с этой игрушкой? Он, значит, совсем женщина? Ладно, дай его сюда, я научу тебя.

Лисица колебался.

— Дай сюда, я тебе говорю.

Лисица подошел к нему с видом побитой собаки.

— Вот, смотри: так, а потом так, — патрон вскочил на месте, и курок щелкнул.

— Лисица говорил, что великие дела совершатся сегодня ночью? Он правильно говорил. Великие дела совершились, но не много между ними было дел Лисицы. Что же, он все еще хочет

взять Заринку в свою хижину? Может быть, он собирается идти по пути, который проложили для него шаман и Медведь? Нет? Ладно!

Маккензи презрительно отвернулся и вынул свой нож из горла шамана.

— Может быть, еще кто-нибудь из юношей хочет попытаться? Волк будет валить их по двое и по трое, пока не переберет всех. Нет? Ладно. Тлинг Тиннех, еще раз отдаю тебе ружье. Если когда-нибудь тебе случится быть в стране Юкона, знай, что для тебя в хижине Волка всегда найдется место у огня и много еды. Ночь переходит в день. Я ухожу, но я могу еще раз вернуться.

Он казался им каким-то сверхъестественным существом, когда через толпу направился к Заринке. Она встала на свое место во главе запряжки, и собаки тронулись. Через несколько минут лес призраков поглотил их. Маккензи выждал, пока они скроются, и только тогда надел лыжи.

— А разве Волк забыл о пяти длинных пачках?

Маккензи с досадой обернулся к Лисице, но положение было слишком комично.

— Я дам тебе одну… короткую.

— Как Волк захочет, — покорно ответил Лисица, протягивая руку.

На Сороковой Миле

Когда Джим Белден Большой довольно легкомысленно высказал безобидное с виду предположение, что крупичатому льду это «вполне свойственно», он совершенно не представлял себе, что из этого выйдет. Точно так же и Лон Мак-Фэн, когда утверждал, что якорный лед «всегда так». Да и Бэттлс не предвидел ничего особенного, когда не согласился и заявил, что такого льда не существует вовсе и все это одна брехня.

— И это ты говоришь мне! — закричал Лон. — Когда мы уже не первый год здесь! И когда столько дней мы едим с тобой из одного горшка!

— Но ведь эта штука противоречит здравому смыслу, — настаивал Бэттлс. — Ты рассуди. Ведь вода теплее льда…

— Разница-то невелика.

— Ну все-таки теплее, если не замерзла. А ты говоришь — намерзает на дно.

— Только якорный лед, Дэвид, только якорный. И разве ты никогда не видел, как он скопляется? Вода прозрачная, как стекло, и вдруг, как облачко, комочки булькают и выплывают и выплывают, пока вся река не закроется от берега до берега,

точно выпавшим снегом.

— Гм! Гм! Пожалуй, и со мной так случалось, когда, бывало, клюкнешь малость у руля. Только все это булькало из соседней бутылки, а вовсе не из-под воды…

— И ты никогда не видел его на руле? Ни одной крошечки?

— Нет. Да и ты не видел. Это противоречит здравому смыслу. Это тебе скажет всякий.

Бэттлс обращался ко всем, сидящим вокруг огня, но все его доказательства предназначались для Лона Мак-Фэн.

— Здравый там или не здравый, а я тебе дело говорю. Последний раз, когда была низкая вода — год тому назад, я видел эту штуку вместе с Ситкой Чарлеем, когда мы спускались вниз по реке, ты помнишь — пониже Форта Надежды. Была осень, все как следует: солнце на золотых лиственницах и на осинах и в каждой струйке — солнце. И тут уж и зима, и синий туман с Севера — все вместе. Ты и сам это видел: когда бахрома льда по берегу и воздух звонкий и искрится, и ты чувствуешь его, ну, через все тело, и с каждым глотком прибавляется тебе жизни. Вот тут-то, милый мой, мир всегда кажется совсем маленьким, и такая, знаешь, непоседливость хватает тебя за пятки…

Ну вот, мы, значит, едем. Как я уже сказал, бахрома по берегу, а больше льда нигде, как вдруг индеец поднял весло и кричит: «Лон Мак-Фэн! Смотрите, смотрите туда! Хоть я и слышал об этом, а видать еще не видал!» Как вы знаете, ни Ситка Чарлей, ни я родились не здесь, ну, значит, обоим было внове. Мы и повисли по обеим сторонам лодки и глядим в воду. Ну так вот, я тебе говорю, совсем то же, что я видел, когда ловил жемчуг. Там только кораллы росли так со дна — целыми лесами и садами. Вот это и был якорный лед: он облепил все подводные камни и поднимался вверх, как белые кораллы.

Но самое удивительное зрелище было впереди. Когда мы проехали рифы, вода стала вдруг молочного цвета, и вся поверхность покрылась сразу, ну, такими кружками. Весной, когда рыба играет, бывает так, или еще когда идет дождь. Это поднимался якорный лед. И вправо, и влево, и далеко вокруг вода была такая же. А вокруг лодки была точно каша изо льда или густая похлебка. Облепила борта, облепила весла. Много раз до этого я переезжал через пороги и много раз после — и никогда не видел ничего подобного. Только раз в жизни и видел.

— Говори, тоже! — сухо заметил Бэттлс. — Дума-

ешь, поверю такому вздору? Скорее всего солнце испортило тебе глаза или осенний воздух сегодня укусил за язык.

— Собственными глазами я видел это, и, если бы Ситка Чарлей был здесь, он поддержал бы меня.

— Но факты остаются фактами, и никак ты их не обойдешь. Это противоречит законам природы — чтобы вода замерзала не сверху!

— Но мои же собственные глаза…

— Только не горячись, пожалуйста, — остановил его Бэттлс, видя, что вспыльчивая кельтская кровь товарища начинает уже бурлить.

— Значит, ты мне не веришь?

— Если ты так, черт возьми, уперся, что и слушать ничего не хочешь, то вот и не верю: я прежде всего верю законам природы и фактам.

— Так что же, я вру, по-твоему? — загремел Лон. — Ты спроси-ка лучше свою сивашку, пусть она тебе скажет, правду я говорю или нет.

Бэттлс весь вспыхнул. Ирландец невольно задел его. Жена его была наполовину белая — дочь русского купца-меховщика — и венчались они в православной Миссии в Нукато, — тысячу верст вниз по Юкону, — она была более высокого происхождения, чем обыкновенные сивашки и местные женщины. Все это были, конечно, такие

тонкости, которые понятны только жителям Севера.

— Все врешь! Теперь я вижу, — заявил Бэттлс решительно.

В ту же минуту Лон Мак-Фэн швырнул его на пол, а шесть человек, сидевших вокруг огня, бросились разнимать их.

Бэттлс поднялся, вытирая кровь вокруг рта.

— Это для меня не новость, только ведь удар за удар. Ты не подумал, что придется расплачиваться?

— Никогда ни один человек меня лгуном не называл. И так плохи мои дела еще никогда не были, чтобы долгов не платить. Так или иначе, как хочешь.

— У тебя по-прежнему 38,55[1]?

Лон кивнул.

— Ты бы лучше раздобыл более подходящий, а то мой прошибет через тебя дырки, что твой грецкий орех.

— Не беспокойся, пожалуйста; у моих пуль нюх-то хороший тоже. А где и когда прикажешь ждать тебя? У проруби место великолепное, не правда ли?

---

[1] notes: 1
Калибр револьвера. *(Прим. пер.)*

— Неплохо. Будь там через час, и тебе не придется сидеть в ожидании.

Оба надели рукавицы и вышли из хижины, не обращая внимания на возражения товарищей. Все вышло из-за пустяка. Но у людей упрямых и необузданных из пустяков часто вырастают весьма крупные последствия. А кроме того, обитатели Сороковой Мили, запертые полярной зимой, испортили себе пищеварение чрезмерной едой и вынужденным бездействием и стали раздражительными — совсем как пчелы в конце года, когда их ульи переполнены медом.

Никаких законов здесь не было. Конная полиция тоже еще была делом будущего. Каждый сам оценивал обиду и сам назначал наказание, соответствующее степени его раздражения. Редко приходилось прибегать к совместным действиям, и ни разу за всю жизнь поселка не была нарушена восьмая заповедь.

Джим Белден Большой созвал импровизированный митинг. Скрэфа Маккензи выбрали председателем и послали за отцом Рубо. Положение было довольно трудное, и они понимали это. Они, разумеется, могли бы силой предотвратить дуэль, и это было как раз то, чего они хотели, но такая мера противоречила бы их убеждени-

ям. Несмотря на то, что их примитивная этика признавала за каждым право отвечать на удар ударом, они не могли вынести мысли, что такие два товарища, как Бэттлс и Мак-Фэн, будут драться на смерть. Они, конечно, назвали бы трусом человека, который бы не принял вызова, но и согласие его им тоже казалось неправильным.

Топот мокасинов, громкие крики и пистолетный выстрел прервали их прения. Дверь отворилась, и вошел Мельмут Кид с дымящимся револьвером в руке и веселой усмешкой в глазах.

— Попал. — Он заменил пустой патрон и прибавил: — Уложил твою собаку, Скрэф.

— Желтого Клыка? — спросил Маккензи.

— Нет. Ту, вислоухую.

— Черт тебя дери! Эту-то с чего?

— Выйди и посмотри.

— Впрочем, может, и хорошо в конце концов. Он, пожалуй, их всех перекусал. Сегодня утром вернулся Желтый Клык, и его вырвало, во-первых, а, во-вторых, он чуть не сделал меня вдовцом. Прыгнул на Заринку — только она его здорово отделала, хотя и сама тоже хорошо получила. Тогда он опять убежал в лес. Надеюсь, и не вернется. А ты многих потерял?

— Одну, но зато самую лучшую, Шукума. Стал кидаться на всех сегодня утром, налетел, как сумасшедший, на запряжку Ситки Чарлея, ну, а те его мигом разорвали. А теперь две из них взбесились и тоже убежали. Немного у нас останется собак на весну, если мы ничего не придумаем.

— Да и людей не больше.

— А что такое? Что случилось?

— Да вот у Бэттлса и Мак-Фэна вышло недоразумение, и они разрешают его сейчас у проруби.

Весь инцидент ему подробно рассказали, и Мельмут Кид, привыкший к повиновению товарищей, взял на себя уладить дело. Он быстро составил план действий, и все обещали точно выполнить его.

— Видите ли, — закончил он, — мы не можем и не должны лишать их права драться. Но я не думаю, чтобы им захотелось драться после того, как они увидят все прекрасные последствия этого. Жизнь — игра, а люди — игроки. Они готовы ставить полную ставку, даже при расчете один на тысячу. Но отнимите у них эту ничтожную надежду — и они не захотят играть. — Потом он обратился к заведующему складом: — Пожалуйста, отмерь нам три сажени хорошей манильской полудюймовки.

Мы установим сегодня хороший прецедент, который останется у жителей Сороковой Мили на вечные времена, — обещал он. Затем он намотал веревку на руку и отправился с товарищами к проруби, чтобы вовремя захватить противников.

— А какое право он имел, черт возьми, трогать мою жену? — гремел Бэттлс в ответ на дружеские увещевания. — Нечего было ее трогать, нечего было ее трогать, — повторял он упрямо, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэна.

А Лон Мак-Фэн, с красным лицом и заплетающейся речью, поднял целое восстание против Церкви.

— Ладно, отец! — кричал он. — В таком случае я с легким сердцем завернусь в огненное одеяло и лягу на постель из раскаленных угольев. Но никогда и никто не скажет, что Лон Мак-Фэн проглотил оскорбление и даже руки не поднял в защиту. И не надо мне вашего вечного блаженства. И просить не буду. Тяжелая у меня была жизнь, но сердце всегда было на месте, вот что.

— Только не сердце, Лон, — возразил отец Рубо. — Это гордость толкает тебя на то, чтобы убить ближнего.

— Французские тонкости, — ответил Лон. И потом, собираясь уже отойти, прибавил: — А

панихиду будете служить, если мне не повезет?

Священник только улыбнулся и занял место впереди. Все ринулись за ним на широкую грудь молчаливой реки. Утоптанная маленькими санками тропинка вела к проруби. По обе стороны лежал глубокий нежный снег. Люди шли друг за другом и не разговаривали, а присутствие священника, одетого в черное, придавало шествию торжественный вид похоронной процессии. Это был теплый день для Сороковой Мили. Небо, переполненное своею тяжестью, ближе наклонилось к земле, а ртуть поднялась на необычайную высоту — двадцать ниже нуля. Но ничего радостного не было в этом тепле. Воздух был тяжелый, а облака висели неподвижно, обещая ранний снег. И земля, погруженная в свою спячку, относилась к этому совершенно равнодушно.

Когда дошли до проруби, Бэттлс, который во время пути, очевидно, еще раз вспомнил всю ссору, выпалил последний раз свое — «нечего было ее трогать», а Лон Мак-Фэн злобно молчал. Возмущение душило его, и он не мог говорить.

Несмотря на то что оба противника были очень заняты своими обидами, их очень удивляло поведение товарищей. Они ожидали насильственного вмешательства, и такое молчаливое разрешение

почти оскорбляло их. Как будто они могли рассчитывать на нечто большее со стороны людей, с которыми так сжились, и в их душе поднималось неясное чувство обиды: друзья идут сюда, как на какое-то парадное представление, и станут смотреть — без одного слова протеста — на то, как они убьют друг друга. Как будто они уже потеряли всякую ценность в глазах коммуны. Все происходящее совершенно озадачивало их.

— Ну, спиной к спине, Дэвид. И какое вы хотите расстояние? Пятьдесят или вдвое?

— Пятьдесят, — был злобный и короткий ответ.

Но вдруг свежая веревка, отнюдь не выставляемая напоказ, а просто обмотанная вокруг руки Мельмут Кида, привлекла внимание ирландца и вызвала в нем неопределенную тревогу.

— А на что тебе веревка?

— Ну, живее, — Мельмут Кид посмотрел на часы. — У меня тесто поставлено, и я вовсе не хочу, чтобы оно перекисло. Да и ногам холодно.

Все остальные тоже на все лады выказывали нетерпение.

— Но все же веревка-то зачем, Кид? Она совсем новая, и я думаю, что твой хлеб не такой уже и тяжелый, чтобы его поднимать веревкой.

Бэттлс оглядывался по сторонам. Отец Рубо, чувствуя, что комизм положения захватывает его, закрыл лицо рукавицей.

— Нет, Лон. Эта веревка не для хлеба, а для человека. — Мельмут Кид умел производить впечатление, когда это было нужно.

— Какого человека? — Бэттлс почувствовал вдруг ко всему происходящему какой-то интерес.

— Для второго.

— Для какого второго?

— Послушай, Лон, и ты тоже, Бэттлс. Мы поговорили тут немножко о ваших глупостях и решили вот что. Мы знаем, что остановить вас не имеем права…

— Я думаю, милый мой!

— Мы и не собирались. Но одну вещь мы можем сделать. Не только можем, но и должны. Мы должны сделать, чтобы эта дуэль осталась единственной в истории Сороковой Мили и чтобы это было на вечные времена уроком для всех «че-чаквас'ов», какие едут вверх или вниз по Юкону. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь можете начинать.

Лон подозрительно усмехнулся, но потом лицо его просветлело, и он воскликнул:

— Отмеривай, Дэвид, пятьдесят шагов! И мы

будем стрелять, пока кто-нибудь не упадет по-настоящему. Они не посмеют этого сделать! Это просто так, шуточки янки!

Он занял свое место с веселой улыбкой на лице, но Мельмут Кид остановил его.

— Лон, ты меня давно знаешь?

— Да, порядочно.

— А ты, Бэттлс?

— В высокую воду, в июне, будет пять лет.

— А было ли хоть раз за все это время, чтобы я не сдержал своего слова? И говорил ли вам это кто-нибудь?

Оба покачали головами, поглядывая на веревку, которая лежала рядом.

— Ладно. Так если я вам обещаю что-нибудь, вы поверите?

— Поверю, как твоей подписи, — сказал Бэттлс.

— Поверю, как в спасение души и во все святые слова, — прибавил поспешно Лон Мак-Фэн.

— Так слушайте! Я, Мельмут Кид, даю вам мое слово, — а вы знаете, что это значит, — что тот из вас, который не будет застрелен, повиснет вот на этой веревке ровно через десять минут после своего выстрела.

И он отошел назад, как Пилат, умывающий руки.

Все молчали. Небо опустилось еще ниже, и на землю полетели тонкие иглы мороза — правильные геометрические фигурки, нежные и легкие, как дыхание, но которые будут лежать всю долгую полярную зиму, пока не вернется солнце. У обоих в прошлом было зарыто много разбитых надежд, зарыто с проклятием или с насмешкой, но в душе всегда оставалась все же вера в бога — в Фортуну. Но эта милая усердная богиня была на этот раз исключена из игры. Они внимательно изучали лицо Мельмут Кида, но оно было так же таинственно, как лицо Сфинкса. Когда прошло несколько минут, все почувствовали, что надо заговорить. Наконец, молчание было прервано воем собаки со стороны Сороковой Мили. В этом диком вое был какой-то невероятный пафос отчаяния, потом он перешел в протяжное рыдание и постепенно замер.

— Охота рисковать, тоже! — Бэттлс поднял воротник своей куртки, растерянно выглядывая из него во все стороны.

— Великолепно сыграно, Кид! — воскликнул Лон Мак-Фэн. — Вся выгода банкомету, а играющим ни шиша! Да? Самому дьяволу так не сыграть, и черт меня возьми, если я ввяжусь в это!

На обратном пути, пока взбирались на обледенелый берег и шли по улице до Поста, нет-нет да и раздавались подозрительные покашливания, вроде застрявших в горле смешков, и все почему-то очень часто мигали, смахивая свет с ресниц. И вдруг снова раздался вой собаки, но уже совсем близко, и в нем были новые, угрожающие ноты. Какая-то женская фигура выскочила из-за угла. Кто-то крикнул: «Вот он, вот!» Индианский мальчик, окруженный полдюжиной перепуганных собак, задыхаясь, бежал к ним со всех ног. А позади всех, ощетинившись, несся серой молнией Желтый Клык. Все бросились бежать, кроме американца. Мальчик споткнулся и упал. Бэттлс остановился на мгновение, схватил его за шиворот и бросился к штабелям дров, куда уже взобрались некоторые из его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, тоже повернул назад. Обезумевшее от страха животное сбило Бэттлса с ног и понеслось по улице. Мельмут Кид выстрелил. Желтый Клык перевернулся в воздухе, опрокинулся на спину, вскочил и одним прыжком бросился на Бэттлса.

Но этот роковой прыжок был предупрежден Лоном Мак-Фэном, который соскочил с дров и перехватил собаку на лету. Оба покатились в

снег. Лон крепко держал животное за горло на вытянутых вперед руках, а все лицо его и глаза были залиты брызгами вонючей собачьей слюны. Наконец Бэттлс, спокойно с револьвером в руке выжидавший подходящего момента, закончил схватку.

— Вот это была настоящая игра, Кид, — заметил Лон, поднимаясь на ноги и стряхивая снег с рукавов. — Тут и я заработал недурной процент.

Ночью, когда Лон Мак-Фэн, стосковавшись о всепрощающих объятиях Церкви, устремился в хижину отца Рубо, Мельмут Кид долго еще обсуждал случившееся.

— Да разве бы ты сделал? — приставал Маккензи. — Ну, предположим, они бы стреляли?

— А разве я когда-нибудь изменял своему слову?

— Нет-то нет, да я не об этом. Ты мне отвечай на вопрос. Мог бы ты или нет?

Мельмут Кид встал.

— Знаешь, Скрэф, я все время сам задаю себе этот вопрос и вот…

— Ну?

— Ну и вот — до сих пор ничего не мог ответить.

В далекой стране

Когда человек решается ехать в далекую страну, он должен быть готовым забыть очень многое из того, чему его учили с детства, и, наоборот, усвоить многие новые привычки, соответствующие новым условиям жизни; он должен оставить старые идеалы и старых богов и очень часто даже перевернуть вверх дном весь моральный кодекс, каким до этого времени руководствовался. Для людей, обладающих приспособляемостью простейших организмов, новизна такой перемены доставляет даже наслаждение; но для тех, кто уже окончательно сформировался в определенной среде, гнет изменившихся условий жизни совершенно невыносим; они сгибаются и душой и телом от непредвиденных лишений, принять которые они не могут, и этот надлом, связанный всегда с попытками противодействия, часто является для них источником самых разнообразных несчастий. Для таких лучше всего, конечно, как можно скорее вернуться опять на родину, затяжка неминуемо приведет их к гибели.

Человек, отказавшийся от европейской цивилизации и вставший лицом к лицу с первобытной

простотой Севера, может рассчитывать здесь на успех в отношении, обратно пропорциональном качеству и количеству своих безнадежно укрепившихся привычек. Если он из «подающих надежды», то, конечно, скоро заметит, что материальные удобства почти несущественны. В конце концов, замена изысканного меню грубой пищей, жестких башмаков — мягкими бесформенными мокасинами или пружинной постели — ямой в снегу — просто пустяк. Гвоздем обучения будет умение по-новому подойти ко всем вещам, но прежде всего к людям — своим товарищам. Прежняя выдержанная «воспитанность» должна будет уступить место прямоте, бескорыстию и терпимости. Этим, и только этим, он сможет добыть себе бесценную жемчужину — подлинные товарищеские отношения. Ему незачем будет говорить на каждом шагу «спасибо»; ему совсем не нужно раскрывать рта, и свою благодарность он должен доказать только на деле. Короче говоря, во всем действие должно будет заменить слово и смысл — вытеснить букву.

Когда весть о полярном золоте облетела весь мир и соблазн Севера ущемил все человеческие сердца, Картер Уэзерби бросил свое насиженное место клерка, перевел половину своих сбере-

жений на жену, а на остальное купил себе все необходимое для путешествия. По своей натуре он вовсе не являлся романтиком — романтизм был окончательно задавлен в его душе долголетней близостью к коммерческим операциям. Он просто устал от бесконечных трений на службе и надеялся, кроме того, хорошо заработать. Как и многие другие глупцы, он пренебрег путем старых пионеров Севера и в начале весны отправился в Эдмонтин; там, на свою беду, он связался с партией золотоискателей.

Собственно, ничего особенного в этой партии не было, за исключением разве ее планов. Целью ее, как и обычно, был Клондайк. Но дорога, какую они спроектировали по карте для достижения этой цели, положительно перехватывала дух у самых смелых туземцев, выросших среди опасностей и превратностей этого края. Даже Жак Баптист, сын туземной женщины из племени Чиппева и какого-то французского бродяги (он родился в хижине из оленьих шкур севернее шестьдесят шестой параллели и был выкормлен на соске из сырого сала) — даже Жак Баптист, хотя и нанялся ехать до линии вечного льда, все-таки с сомнением качал головой, когда спрашивали его совета.

Несчастливая звезда Перси Кёсферта, очевидно, стояла в своем апогее, когда он тоже присоединялся к компании аргонавтов. Он был очень обыкновенный человек, у которого размеры текущего счета в банке вполне соответствовали его культурным потребностям, а этим сказано очень много. Собственно говоря, у него не было никакого основания пускаться в такую авантюру, решительно никакого, за исключением, впрочем, чрезмерно развитого воображения, которое он принимал за прирожденный романтизм и жажду приключений. Очень и очень многие люди впадают в ту же роковую ошибку.

С первым дыханием весны партия двинулась по реке Элк-Ривер, вслед за тронувшимся льдом. Это была основательная флотилия, хорошо снабженная провиантом и сопровождаемая целой стаей так называемых «вояжеров», т. е. бродяг-метисов с их женами и детьми. Изо дня в день всем приходилось работать на лодках и челноках, бороться с москитами и всякими другими паразитами, обливаться потом и ругаться на переправах. Тяжелая работа всегда обнажает человеческую душу, и еще прежде чем озеро Атабаска осталось к югу, каждый из них успел показать себя во всем разнообразии своей окраски.

Картер Уэзерби и Перси Кёсферт оказались обжорами, лентяями и вечно ноющими брюзгами. Вся партия в целом меньше жаловалась на болезни и усталость, чем каждый из них в отдельности. Ни разу не случалось, чтобы они сами вызвались выполнить что-нибудь из тысячи и одной мелких обязанностей, какие неизбежны в пути. Если надо было принести ведро воды, лишнюю охапку дров, вымыть и вытереть посуду или перерыть багаж, чтобы найти ту или иную внезапно понадобившуюся вещь, эти прекрасные экземпляры цивилизации находили у себя вывихи, нарывы или другие заболевания, требовавшие всеобщего и неотложного внимания. Вечером они первыми уходили с работы, часто бросая ее неоконченной, а утром выходили последними — как раз перед завтраком. Они первыми садились за стол и были последними в приготовлении обеда; они первыми тянулись к чему-нибудь вкусному и никогда не замечали, что забирали чужую порцию. Когда их сажали на весла, они просто обмакивали их в воду, предоставляя лодке плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи ругали их сквозь зубы, а Жак Баптист открыто издевался над ними и посылал их к черту с утра до вечера. Впрочем, Жак Баптист не был, конечно,

джентльменом.

На Большом Невольничьем озере закупили собак с Гудзонова залива и также погрузили их в лодки вместе с запасом сушеной рыбы и другими заготовками. Челноки и лодки, увлекаемые быстрым течением Маккензи, скоро доплыли до земли Баррена.

После Большого Медвежьего озера «вояжеры», испуганные приближением совсем неведомых для них стран, стали сбегать один за другим, а когда экспедиция достигла Форта Доброй Надежды, то сбежали уже последние и самые смелые, пустившись назад по течению реки, которой они было так необдуманно доверились. Остался один Жак Баптист. Разве он не дал слова довести их до вечного льда?

От карт теперь уже не отрывались, но они оказались неточными, составленными от руки, кое-как, по слухам. Между тем надо было поторапливаться, так как летние солнцестояния уже кончились и надвигалась зима. Проплыв вдоль берега залива, через который Маккензи впадает в океан, они вошли в устье Малого Пиля. Тут начался тяжелый подъем — вверх по течению, и оба «нетрудоспособные» вели себя еще хуже, чем всегда.

Буксирный канат, и багры, и весла, и опять багры, и мели, и пороги, и переправы посуху — все эти мучения внушили одному из них полное отвращение к рискованным коммерческим операциям и раскрыли другому всю истинную ценность романтизма и необыкновенных приключений. В один прекрасный день они решительно взбунтовались и отказались работать, а когда Жак Баптист изругал их самыми последними словами, поползли прочь и хотели спрятаться. Но метис избил обоих и — окровавленных — снова поставил на работу. И тот и другой первый раз в жизни испытали, что такое насилие и побои.

Провозившись достаточно на порогах Малого Пиля, путешественники употребили остаток лета на переправу через водораздел между Маккензи и Вест-Рэтом. Эта маленькая речонка впадает в Паркюпайну, а та в свою очередь в Юкон, в том месте, где Великий северный путь пересекает Полярный круг. Но тут они были неожиданно застигнуты зимой: в один прекрасный день их лодки были затерты льдом, и им пришлось спешно переносить на берег весь багаж. В эту ночь река несколько раз замерзала и снова ломала лед; на утро она стала окончательно.

— Мы не можем быть более чем в четырехстах милях от Юкона, — решил Слопер, измеряя ногтем большого пальца расстояние по карте. Заседание совета, на котором оба «нетрудоспособные» вволю нахныкались, подходило к концу.

— Пост Гудзонова залива далеко позади. Больше постов не будет. Отец Жака Баптиста бывал здесь по делам мехопромышленной компании и даже отморозил себе два пальца на ногах.

— Черт тебя дери! — воскликнул кто-то из партии. — Неужели так и не встретим белых?

— Нет, белых больше не будет, — подтвердил назидательно Слопер. — Но от Юкона до Даусона всего пятьсот миль, а отсюда — добрая тысяча, пожалуй.

Уэзерби и Кёсферт ахнули в один голос.

— А сколько же времени понадобится на это, Баптист?

Метис подумал с минуту.

— Если будем работать, как в аду, и никто не будет отставать, — двадцать, сорок, пятьдесят дней. А если эти грудные младенцы потащатся с нами (он указал на «нетрудоспособных»), ничего не могу сказать. Может быть, когда ад промерзнет насквозь, а быть может, — и еще дольше.

Приготовили лыжи и мокасины. Кликнули

одного из товарищей, который вышел из избушки, стоявшей неподалеку от костра. Эта избушка была одной из многочисленных тайн Севера. Кто построил ее и когда? Никто не знал этого. Перед ней были две могилы с высокими кучами камней, и в них, возможно, была погребена тайна несчастных путешественников. Но кто закрыл камнями эти могилы?

Решительный момент наступил. Жак Баптист оставил на минуту возню с запряжкой, привязав непослушную собаку. Дежурный по кухне, молчаливо протестуя против перерыва в своей работе, бросил кусок сала в дымящийся котелок с бобами и подошел ближе. Слопер поднялся. Его фигура представляла смешной контраст с упитанными телами «нетрудоспособных». Желтый и слабый, приехавший из какой-то лихорадочной местности Южной Америки, он был неутомим в своих вечных скитаниях и на работе не отставал от других. Он весил, вероятно, не более девяноста фунтов, если считать вместе с охотничьим ножом, а его поседевшие волосы говорили, что весна к нему уже не вернется. Молодые упругие мускулы Уэзерби и Кёсферта были, вероятно, раз в десять больше, чем его, по объему, однако он мог бы загнать их обоих до смерти за один

день пути. Весь последний день он подбивал своих более сильных товарищей на этот тысячемильный, невообразимо трудный путь. Он был воплощением своей беспокойной расы, и тевтонское упрямство, соединенное с быстрой хваткой и предприимчивостью янки, помогало ему держать тело в полном подчинении духу.

— Пусть все, кто согласен продолжать путь на собаках, как только лед станет окончательно, скажет да!

— Да! — воскликнуло восемь голосов — восемь голосов тех, кто отлично сознавал все трудности и лишения на протяжении многих сотен верст мучительного пути.

— Кто против?

— Я, я! — первый раз оба «нетрудоспособные» были абсолютно заодно, и при том без малейшего нарушения личных интересов.

— И что вы с этим поделаете? Скажите, пожалуйста? — прибавил Уэзерби вызывающим тоном.

— По большинству! По большинству! — кричали остальные.

— Я знаю, конечно, что экспедиция может и не удастся, пожалуй, если вы не пойдете с нами, — очень мягко заметил Слопер. — Но я надеюсь,

что если мы все наляжем из последних сил, то, может быть, и обойдемся без вас как-нибудь. Что скажете, ребята?

Одобрительный гул был ответом.

— Но вот, видите… — озабоченно произнес Кёсферт. — Что же мне, собственно, тогда делать?

— Так вы не идете с нами?

— Н-нет.

— Тогда делайте, черт возьми, все, что вам угодно. Это нас не касается.

— Вычисляйте там и решайте вместе с вашим великолепным партнером, — прибавил тяжеловесный Вестернер, указывая на Уэзерби. — Когда придет время готовить обед или идти за дровами, он присмотрит, конечно, чтобы вы не сидели без дела.

— Значит, решено, — заключил Слопер. — Завтра утром мы снимаемся и первую передышку делаем в пяти милях отсюда, чтобы привести все в окончательный порядок и убедиться — не забыли ли чего.

На другой день сани уже скрипели железными полозьями, а собаки налегли на постромки, для которых они родились и в которых должны были умереть. Жак Баптист остановился рядом со Слопером, чтобы еще раз посмотреть на хижину.

Из трубы ее жалостно поднимался серый дымок. Оба «нетрудоспособные» стояли у дверей.

Слопер положил руку на плечо товарища.

— Жак Баптист, слышал ты когда-нибудь о килкенских котах?

Метис покачал головой.

— Так вот, друг ты мой, эти килкенские коты дрались до тех пор, пока от них не осталось ни шкуры, ни мяса, ни когтей — ничего! Понимаешь, — совсем ничего. Ладно. Теперь так. Эти двое работать не любят. И они не будут работать. Это мы все знаем. И вот они останутся вдвоем в этой хижине на всю зиму — очень долгую, очень темную зиму. Килкенские коты — а?

Француз в Баптисте пожал плечами, но индеец ничего не сказал. Впрочем, это движение плеч было достаточно красноречивым и почти пророческим.

Первое время в хижине все шло как по маслу. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Кёсферта сознательнее отнестись друг к другу и к своим обязанностям. Да, в конце концов, для двух здоровых людей работы было совсем немного. А возможность избавиться от побоев «собаки-метиса» вполне радовала их. Первое время каждый из них старался перещеголять товарища, и они

исполняли все свои несложные обязанности с таким рвением, что товарищи, изнывавшие в это время на трудном пути, вероятно, широко раскрыли бы глаза от удивления.

Ничего трудного и страшного не предвиделось. Лес, обступивший их с трех сторон, был неисчерпаемым запасом топлива. В нескольких шагах от хижины протекала Паркюпайна и, прорубив ее зимний покров, легко было достать кристально чистую, текучую воду. Впрочем, даже такое несложное дело скоро им надоело. Прорубь упорно замерзала, и приходилось часами обивать этот противный лед. Неизвестные строители хижины сделали сбоку нечто вроде кладовой для хранения запасов. Здесь и был сложен весь провиант, оставленный им товарищами. Пищи оказалось достаточно — без преувеличения хватило бы, чтобы откормить троих. Впрочем, в основном она была довольно грубая и не очень-то вкусная. Но сахара, во всяком случае, было вполне достаточно для двух нормальных людей; к несчастью, в этом отношении эти двое были скорее похожи на детей. Они не замедлили сделать открытие, что горячая вода, хорошо сдобренная сахаром, вещь очень недурная, и усердно поливали ею свои яблочные оладьи и мочили в ней корки хлеба. И,

конечно, кофе, чай и в особенности сухие фрукты тоже поглощали основательное количество сахара. Первое их столкновение произошло поэтому в связи с сахарным вопросом. А это вещь очень серьезная, когда двое людей, которым не уйти друг от друга, начинают ссориться.

Уэзерби любит потолковать о политике, тогда как Кёсферт, который всю жизнь только стриг купоны, предоставляя неизвестным силам заботиться об их ценности, ничего решительно не понимал в этом деле и отшучивался эпиграммами. Но клерк был слишком туп, чтобы оценить остроумие товарища, и напрасная трата красноречия раздражала Кёсферта. Он привык блистать в обществе, и полное отсутствие подходящей аудитории заставляло его почти страдать. Он чувствовал в этом какое-то личное оскорбление и бессознательно обвинял своего тупоголового товарища.

За исключением еды и других примитивных хозяйственных вопросов, у них не было решительно ничего общего — ни на одном пункте они не могли сойтись. Уэзерби был всю жизнь клерком и не знал, и не понимал ничего другого. Кёсферт — знаток в искусстве — сам писал масляными красками и не чужд был литературе.

Первый был невысокого полета и считал себя джентльменом — второй был, действительно, джентльмен и сознавал это. Следует, впрочем, заметить, что человек может быть настоящим джентльменом и не иметь ни малейшего понятия о чувстве товарищества. Клерк был настолько же чувствительным, насколько его товарищ эстетом, и его любовные похождения, по большей части выдуманные, — которые он любил размазывать на все лады, — производили на утонченного любителя искусства такое же впечатление, как аромат сточных труб. Он считал клерка грубым, нечистоплотным животным, которому место разве только в грязи вместе со свиньями, и при случае сообщил ему об этом. Тогда он услышал в ответ, что он сам желторотый сосун и паразит. Уэзерби не сумел бы объяснить, что он понимает под словом «паразит», но оно чем-то его удовлетворяло, а этого ему было вполне достаточно.

Уэзерби целыми часами распевал «Бостонского бродягу» или «Красивого юнгу», отчаянно фальшивя на каждой ноте, а Кёсферт чуть не плакал от бешенства и, наконец не вытерпев, бросался из хижины в лес. Но спасения не было. Мороз был такой, что долго выдержать не было возможности, и они снова оставались заперты в тесной

хижине вместе с кроватями, печкой, столом и всем прочим — на пространстве десять на двенадцать ярдов. Самое присутствие каждого из них являлось уже личным оскорблением другому, и они проводили время в угрюмом молчании, которое день ото дня становилось продолжительнее и злее. Очень часто брошенный одним взгляд или презрительное поджимание губ выводили из себя другого, хотя они и старались совершенно не замечать друг друга во время этих периодов молчания. И величайшее изумление вырастало понемногу в их душах: как это Господь Бог мог сотворить «такого»!

Работы не было, и досуг стал для них почти невыносим. А это, естественно, делало их еще более ленивыми. Они впали постепенно в своего рода физическую летаргию и не могли ее сбросить, так что малейшая обязательная работа возмущала их. Однажды утром, когда очередь готовить завтрак была за Уэзерби, он вылез из-под груды своих одеял и под храпение товарища зажег лампу и развел огонь. Вода в горшках замерзла, и умыться было нечем. Впрочем, это было ему безразлично. Пока вода оттаивала, он нарезал сало и принялся за ненавистное ему приготовление хлеба. Уже проснувшийся Кёсферт

посматривал на него из-под опущенных век. Разумеется, произошла бурная сцена, во время которой оба наговорили друг другу достаточно «теплых» слов, и в конце концов было решено, что каждый сам будет готовить себе завтрак. Неделю спустя Кёсферт тоже забыл умыться, что не помешало ему съесть завтрак с обычным удовольствием. Уэзерби злорадно усмехнулся. После этого происшествия глупая привычка умываться по утрам окончательно исчезла из их обихода.

Когда запас сахара и всяческих вкусных вещей стал подходить к концу, они испугались, как бы не прозевать своей порции, и из опасения, чтобы другой не съел больше, каждый из них объедался. От такого соревнования в обжорстве страдали не только сласти, но и они сами. Неподвижная жизнь и отсутствие свежих овощей испортили им кровь — и через некоторое время у них на теле стали появляться отвратительные красные прыщи. Но они не обратили никакого внимания на это предостережение. Потом начали опухать мускулы и суставы, на теле выступили черные пятна, а рот, десны и губы покрылись точно слоем густых сливок. Но общее несчастье их не сблизило, их взаимное отвращение росло по мере того, как болезнь развивалась.

Они совершенно перестали заботиться о своей внешности и сильно опустились. Хижина стала похожа на свиной хлев, кровати никогда не убирались, и подстилка из еловых веток никогда на них не менялась. Они очень жалели, что не могут целый день лежать под одеялами, потому что мороз был ужасающий и печка пожирала массу дров. Они обросли грязными волосами, а до их одежды не захотел бы дотронуться даже тряпичник. Но это их мало беспокоило. Они ведь были больны, и кроме того, никто не мог их видеть. А всякое движение причиняло им боль.

Ко всему этому прибавилась еще одна опасность — Северный Бред. Великий Холод и Великое Безмолвие породили его в декабрьскую тьму, когда солнце окончательно ушло за линию южного горизонта. Он проявился у каждого в соответствии с его характером. Уэзерби стал до крайности суеверным и против воли делал все возможное, чтобы воскресить в своей душе тени, уснувшие в соседних могилах. Это было увлекательное занятие, и мало-помалу они стали являться ему во сне, залезали к нему под одеяло и рассказывали о всех бедах и горестях, какие случились с ними при жизни. Он старался отодвинуться, чтобы избежать их холодного прикосновения; а

когда они прижимались плотнее, чтобы отогреть об него свои замерзшие члены, и рассказывали ему на ухо все, что должно еще произойти, он кричал на всю хижину. Кёсферт ничего не понимал — они давно уже перестали разговаривать друг с другом — и, разбуженный этими криками, инстинктивно хватался за револьвер. Потом он, нервно передергиваясь, садился на постель, и так, не смыкая глаз, просиживал всю ночь с дулом, направленным в сторону товарища. Кёсферт решил, что тот сходит с ума, и стал опасаться за свою жизнь.

У него болезнь приняла менее острую форму. Неизвестный человек, построивший бревно за бревном всю хижину, укрепил для чего-то на ее крыше флюгер. Кёсферт заметил, что флюгер этот всегда обращен к югу, и однажды, раздраженный его упорной пассивностью, повернул его на восток. Он ждал, не спуская с флюгера глаз. Но в воздухе не было ни малейшего движения, и флюгер остался на месте. Тогда Кёсферт повернул его к северу и дал себе клятву не трогать его до тех пор, пока ветер не повернет. Но воздух, оставаясь таким же — нездешне-спокойным, — пугал его, и часто среди ночи он вставал и бежал смотреть — не сдвинулся ли флюгер — совсем немножко;

самое маленькое уклонение успокоило бы его. Но нет: флюгер оставался неподвижным, неумолимым, как сама судьба. Воображение Кёсферта возбуждалось все больше и больше, и в конце концов эта мысль о флюгере стала для него навязчивой идеей. Иногда ему вдруг приходило в голову идти через лес, в том направлении, какое указывал флюгер, и тогда Бред окончательно завладевал его душой. Он жил теперь окруженный чем-то невидимым и непонятным, и тяжесть вечности, навалившаяся на него, казалось, готова была ежеминутно его раздавить. На Севере все оказывает такое сокрушающее действие — отсутствие жизни и движения, тьма, бесконечное, неестественное спокойствие всего окружающего, безмолвие, насыщенное призраками, и в нем — в этом безмолвии — каждое биение сердца кажется каким-то святотатством, торжественный лес, затаивший в себе что-то страшное, и, наконец, нечто невыразимое, чего нельзя определить словами.

Мир, который Кёсферт еще так недавно оставил, мир политических столкновений и грандиозных предприятий отошел куда-то совсем далеко. Изредка, правда, всплывали воспоминания — какие-то галереи и биржа, какая-то мешанина из

вечерних туалетов и социальных обязанностей, приятных мужчин и очаровательных женщин, которых он знал раньше, — воспоминания такие туманные, словно все это ему было ведомо много столетий назад на какой-то другой планете. Здесь реальными были его призраки. Стоя перед флюгером, с глазами, устремленными в полярное небо, он не мог заставить себя поверить, что существует какой-то Юг, в это самое мгновение напоенный шумом, жизнью и деятельностью. Нет, такого Юга не было, не было вовсе и людей — живых, рожденных женщинами, не было и не могло быть, чтобы кто-то там женился и выходил замуж. Позади этой черной линии горизонта тянутся опять черные пустынные пространства, а позади них — опять такие же — пустые и черные. И не было и нет солнечных стран, отяжелевших от запаха цветов. Это все у него — былые детские представления о рае. Залитый солнцем Запад, залитый благоуханиями Восток, улыбающаяся Аркадия, блаженные райские острова, — «Ха-ха-ха!» Смех рассек пустоту и испугал его. Нет, солнца не было. Вселенная, вся вселенная — мертва, холодна и черна, и живет в ней только он один. Уэзерби? Но в такие минуты Уэзерби в счет не шел. Ведь это был, в конце концов, какой-то

Калибан, чудовищное привидение, прикованное к нему, Кёсферту, с незапамятных времен в наказание за какое-нибудь забытое им преступление.

Кёсферт жил бок о бок со Смертью, окруженный мертвецами, обессиленный ощущением собственного ничтожества, раздавленный владычеством уснувших веков. Величие окружающего стирало его, уничтожало. Все вокруг было возведено в превосходную степень, за исключением его самого, — полное прекращение всякого движения, бесконечность покрытой снегом пустыни, высота неба и глубина безмолвия. Хоть бы повернулся этот чертов флюгер! Ударил бы гром, загорелся бы лес, или небо свернулось бы словно свиток, или рухнула вселенная — что-нибудь, что-нибудь! Нет, ничего. Безмолвие обступило его, и Северный Бред положил свои ледяные пальцы на его сердце.

Однажды, как какой-нибудь Робинзон, он открыл на берегу реки следы, едва заметные черточки от лапок кролика на нежной верхней снеговой корочке. Это было целое откровение. На Севере, значит, была жизнь. Он захотел найти его, этого кролика, посмотреть на него, подышать на него. Он совсем забыл о своих распухших ногах, нырял в глубоком снегу и приходил в экстаз

от своего открытия. Лес поглотил его, а кроткие полуденные сумерки быстро потухали, но он продолжал свои поиски, пока измученное тело не отказалось двигаться и он беспомощно не упал в снег. Он убедился, что следов не было, что это был один бред, — и рыдал, и проклинал свое безумие. Поздно ночью он дотащился до хижины на четвереньках, с отмороженными щеками и странно неподвижными ногами. Уэзерби неприязненно ворчал и не предложил ему своей помощи. Кёсферт колол иголкой пальцы ног и держал их перед печкой в надежде, что они отойдут. Через неделю у него открылась гангрена.

У клерка были свои заботы. В последнее время мертвецы все чаще и чаще выходили из своих могил и редко оставляли его одного, спал ли он или бодрствовал. Он всегда ждал их и всегда боялся, и не мог без дрожи проходить мимо двух могил. Однажды они пришли ночью, подняли его и погнали за дверь на работу. Он очнулся среди развороченных им камней в непередаваемом ужасе и дико бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал в снегу некоторое время, так как ноги и щеки оказались тоже отмороженными. Иногда настойчивое присутствие теней приводило его в бешенство, и он прыгал по хижине, рубил вокруг

себя воздух топором и опрокидывал все на своем пути. Во время таких припадков Кёсферт завертывался в одеяла и, взведя курок револьвера, следил за сумасшедшим, готовый выстрелить, если бы тот подошел слишком близко. Но однажды, придя в себя после окончания припадка, клерк заметил направленное на него дуло. Это возбудило его подозрительность, и с этой минуты он начал также бояться за свою жизнь. Они стали внимательно следить друг за другом и со страхом оборачивались, когда кто-нибудь из них случайно проходил за спиной другого. Подозрительность перешла мало-помалу в манию преследования, которая не оставляла их даже во сне. Из-за обоюдного страха они оставляли лампу на всю ночь, и оба, ложась спать, проверяли, достаточно ли в ней жира. Малейшего движения одного было достаточно для того, чтобы другой вскочил, и долгими молчаливыми часами они следили друг за другом из-под своих одеял, держа пальцы на спуске револьверов.

Из-за Северного Бреда, нервного напряжения и прогрессирующей цинги они потеряли всякое человеческое подобие и походили теперь на загнанных, затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели. Отмороженные пальцы

ног стали отваливаться по суставам — сначала отвалились первые, потом вторые. Каждое движение причиняло боль, но печка была ненасытна и требовала себе дань ценою пытки для несчастных изуродованных тел. Изо дня в день ей нужна была пища — в полном смысле слова, кровавая пища, — и они на коленях тащились в лес за дровами. Однажды, ползая в поисках сухого хвороста, они залезли с противоположных сторон в узкий проход под нависшими ветвями. И вдруг, совершенно неожиданно, две мертвые головы столкнулись.

Болезнь так изменила их, что узнать друг друга было невозможно. Они вскочили на ноги, крича от ужаса, и бросились бежать к дому на своих изувеченных культяпках. Столкнувшись у дверей хижины, они ныли и царапались, как звери, пока, наконец, не поняли своей ошибки.

Изредка у них бывали светлые промежутки, и в один из них они поделили поровну сахар — яблоко раздора. Каждый положил свой сахар в отдельный мешок и жадно прятал его в чулане: у каждого оставалось всего несколько чашек, и они совершенно перестали доверять друг другу. Но однажды Кёсферт ошибся. Еле двигаясь от боли, с трясущейся головой и полуслепыми глазами,

он пополз в кладовую и совершенно нечаянно вытащил мешок Уэзерби вместо своего.

Это случилось в первых числах января. Солнце уже перешло через свое самое низкое стояние, и теперь в полдень на южной стороне неба показывались желтые полоски света. На другой день после своей ошибки Кёсферт чувствовал себя лучше — и душой, и телом. Когда подошел полдень и забрезжил свет, он выполз наружу, чтобы полюбоваться мимолетным сиянием, которое было для него обещанием солнца вернуться. Уэзерби тоже чувствовал себя немного лучше и уселся рядом с ним. Они прикорнули в снегу под неподвижным флюгером и ждали.

Вокруг них застыла мертвая тишина. В других странах, когда вся природа замирает, все же ждешь движения воздуха или какого-нибудь голоска, который вот-вот затянет прерванную песню. На Севере ждать нечего. Два человека жили здесь, как два привидения, среди заколдованной тишины. Они не могли бы вспомнить ни одного звука в прошлом и не ждали звуков от будущего. Эта неземная тишина была извечна — спокойное безмолвие вечности.

Их глаза были обращены к северу. За их спинами где-то внизу, под высокими южными горами,

незримо для них катилось солнце по какому-то чужому небосклону. Они могли только следить за медленно занимающейся, неясной зарей. Бледный дымно-красный свет все разгорался. Он становился ярче, переходя из красно-оранжевого в пурпурный и шафранно-желтый. Эти отблески на северной стороне неба были так ярки, что Кёсферт не сомневался: за ними — солнце. Чудо — солнце, встающее с севера! И внезапно все краски с картины были убраны. Небо обесцветилось. Они затаили дыхание. Что это? Мелкая изморозь внезапно загорелась в воздухе, а на снегу лежало тонкое очертание флюгера. Тень! Настоящая тень! Они вскочили и поспешно повернули головы по направлению к югу. Тоненький золотой ободок чуть виднелся из-за занесенных снегом плеч горного кряжа; он улыбнулся им на одно мгновение и сейчас же исчез.

Когда они посмотрели друг на друга, в глазах их стояли слезы. Ими овладела какая-то необычайная нежность, и их неудержимо потянуло друг к другу. Солнце вернулось. Солнце завтра будет с ними опять, будет и послезавтра, и дальше, дальше… И каждый раз оно будет оставаться все дольше, и потом придет время, когда оно совсем не уйдет с неба, ни днем, ни ночью — не зайдет за

горизонт. И не будет ночи. Ледяные засовы зимы будут сломаны. И снова подует ветер, и ему будет отвечать лес. И земля будет купаться в блаженном сиянии, и жизнь вновь заиграет. Взявшись за руки, они уйдут от этого ужасного бреда и снова вернутся на Юг. Они оглянулись друг на друга, и их руки встретились — эти жалкие, изъеденные руки, опухшие и скрюченные в рукавицах.

Но обещанию солнца не удалось сбыться. Север — всегда Север, и странные силы правят здесь душой человека. И никогда не поймут их люди, не бывавшие в этой далекой стране.

Час спустя Кёсферт положил в печь кусок хлеба и стал обдумывать, что смогут сделать хирурги с его ногами, когда он вернется домой. Теперь «дом» не казался ему уже таким далеким. Уэзерби рылся в кладовке. Внезапно он разразился страшными ругательствами, которые потом странно оборвались. Тот — «другой» — украл у него сахар? И все-таки неизвестно, как бы повернулось еще все дело, если бы оба умерших не вылезли из-под камней и не стали лить ему в голову свои раскаленные слова. Потом они совсем спокойненько вывели его из кладовки, которую он даже забыл запереть. Это потому, что время пришло. Это потому, что сейчас должно было произойти

то самое, о чем они всегда рассказывали ему по ночам. Они повели его, не торопясь — так, совсем спокойненько, — к куче дров, и там они дали ему в руки топор. Потом они помогли ему отпереть дверь хижины и даже сами закрыли ее за ним — он ясно слышал, как она скрипнула и как щеколда шумно упала на свое место. И он знал, что они стоят за дверью и ждут, чтобы он сделал свое дело.

— Картер! Что вы, Картер!

Перси Кёсферт испугался, взглянув на лицо клерка, и поспешно загородился столом.

Картер Уэзерби приближался. Не торопясь, без возбуждения. И в лице его не было ни злобы, ни жалости, а скорее какое-то терпеливое послушание — тупой взгляд человека, который все равно должен что-то сделать и вот делает, — методически, не спеша.

— В чем дело, я вас спрашиваю?

Клерк двинулся назад, отрезая ему отступление к двери, но не произнес ни слова.

— В чем дело, Картер, в чем дело? Давайте обсудим…

Кёсферт быстро обдумал положение: улучив минуту, он ловким боковым движением очутился на постели, где лежал его «Смит-Вессон».

Прислонившись спиной к стене и не спуская глаз с сумасшедшего, он взвел курок.

— Картер!

Порох вспыхнул прямо в лицо Уэзерби, но он все же кинулся вперед, взмахнув топором. Топор врезался в позвоночник, и Перси Кёсферт сразу перестал ощущать свои нижние конечности. Тогда клерк навалился на него, хватая его за горло своими слабыми пальцами. Удар топора заставил Кёсферта выронить револьвер, и теперь, задыхаясь под тяжестью противника, он беспомощно шарил рукой по одеялу. Тут он вспомнил. Он просунул руку за пояс клерка и вытащил его охотничий нож. И они очень-очень крепко прижались друг к другу в этом последнем объятии.

Перси Кёсферт чувствовал, что силы оставляют его. Нижняя часть его тела уже отмерла. Мертвая тяжесть Уэзерби расплющивала его и держала неподвижным, словно капкан медведя. Хижина наполнилась знакомым запахом, и он сообразил, что это горит его хлеб. Но разве не все равно? Он ведь не понадобится ему. А в кладовке осталось еще полных шесть кружек сахара! Если бы он мог предвидеть все, что случится, он не экономил бы так последние дни. А флюгер, сдвинется он когда-нибудь или нет? Может быть, вот сейчас он

понемножку двигается? Почему бы и нет? Разве он не видел сегодня солнца? Вот он пойдет сейчас и посмотрит. Нет, сдвинуться невозможно. Никогда он не думал, что клерк такой тяжелый.

Как скоро остывает хижина! Вероятно, потух огонь. Холод наступает. Наверное, теперь ниже нуля, и дверь начинает промерзать изнутри. Он не может этого видеть, но отлично все знает по температуре воздуха — у него достаточно опыта. Вот теперь побелела нижняя петля двери. Узнают ли когда-нибудь люди, что случилось с ним? Как отнесутся к этому его друзья? Скорее всего они прочтут об этом в газете за кофе и будут потом обсуждать происшествие в клубе. Он видит их очень ясно. «Бедный Кёсферт, — шепчут они, — и совсем не плохой малый был в конце концов». Он улыбнулся похвале и пошел дальше, разыскивая турецкие бани. На улицах была знакомая толкотня. Смешно, что никто не обращает внимания на его мокасины из оленьей шкуры и дырявые немецкие носки. Лучше взять извозчика. А после ванны не худо бы зайти побриться. Нет, сначала он закусит. Бифштекс, картофель и зелень, — какое все свежее! А это что там такое? Сотовый мед — течет, как золотистая смола. Только зачем они принесли столько? Ха-ха, да ему же никогда не

съесть этого! Чистильщик сапог? Ну да, конечно. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик смотрит на него с любопытством, и Кёсферт, вспомнив о мокасинах, поспешно уходит.

Трр!.. Это, наверное, флюгер. Нет, просто в ушах шумит. Да, ничего больше — просто в ушах шумит. Иней покрыл теперь уже щеколду. Пожалуй, и верхнюю петлю. Между проконопаченными балками в потолке появляются маленькие белые точки. Как медленно они нарастают. Нет, не так уж медленно. Вот эта — совсем новая. Теперь их уже так много, что не стоит считать. Вон там две срослись вместе. А вот к ним присоединяется третья. Только теперь это уже не точки и не пятнышки. Они сливаются вместе — и похожи на простыню или на саван.

Ну, что же, — он не один. Если когда-нибудь архангел Гавриил разбудит своей трубой молчание Севера, они встанут вместе, держась за руки, и вместе подойдут к великому белому трону. И Бог будет их судить, — да, сам Бог их будет судить!

И Перси Кёсферт закрыл глаза и погрузился в сон.

За здоровье того, кто в пути

— Наливай.

— Погоди, Кид, не будет ли уж слишком? Виски и спирт — и так уж здорово. А если еще бренди и перцовку, и…

— Говорят тебе, наливай. Кто приготовляет пунш, в конце концов, я или ты? — И Мельмут Кид блаженно улыбался сквозь клубы пара. — Если бы ты прожил здесь столько, сколько я, сын мой, и питался бы все время потрохами лососины и воспоминаниями о кроликах, ты бы знал, конечно, что Рождество бывает только раз в году. А Рождество без пунша — это все равно, что заявка без золота.

— Что правда, то правда, — согласился Джим Белден Большой, приехавший со своей заявки в Мэзи-Мэй, чтобы провести Рождество с товарищами, и питавшийся последние два месяца, как всем было известно, одной олениной. — А ты не забыл, какой «хуч» ты приготовил нам на Танане?

— А… знаю, о чем ты… Ну, ребята, и посмеялись бы вы, если бы видели, как перепилось все племя! А и было-то всего-навсего только здорово пере-

бродившее пойло из сахара да кислой закваски немного. Это было еще до тебя, — сказал Мельмут Кид, обращаясь к Стэнли Принсу, молодому технику, знатоку рудничного дела, приехавшему сюда года два назад. — Ни одной белой женщины не было тогда здесь, а Мэсон задумал жениться. Отец Руфи был вождем одного из племен на Танане и, конечно, упирался, как и все племя. Безвыходно, понимаете? Ну, что тут будешь делать — я пожертвовал последним фунтом сахара. Тонкая была работа, пожалуй, и за всю жизнь такой не запомню. Посмотрели бы вы только, как они гнались потом за нами вниз по реке!

— А женщина? — спросил француз-канадец Луи Савуа, начиная интересоваться рассказом; он уже слышал кое-что об этом разбойничьем деле прошлой зимой на Сороковой Миле.

Тогда Мельмут Кид — прирожденный рассказчик — передал без всяких прикрас историю северного Локинвара. Не у одного из этих закаленных искателей приключений сердце забилось сильнее и знакомая неясная тоска потянула на солнечные пастбища Юга, где от жизни можно было взять что-то еще, кроме бессмысленной борьбы с холодом и смертью.

— Мы переправились через Юкон как раз после

первого ледохода, — закончил Мельмут Кид, — а погоня была на берегу ровно через четверть часа. Но это как раз нас спасло: начался второй ледоход, и они были от нас отрезаны. Когда, наконец, им удалось добраться до Нуклукието, весь Пост уже приготовился встретить их. А что касается брачной церемонии, это уж вы спросите отца Рубо.

Иезуит вынул трубку изо рта, но не мог ничего сказать, выражая свое настроение только многозначительными улыбками, которым дружно аплодировали и католики, и протестанты.

— Черт возьми! — восклицал Луи Савуа, путаясь в словах: его, очевидно, захватила романтичность приключения. — О, ma petite индианка, мой Мэсон храбрый. Черт возьми!

Когда жестяные кружки с пуншем первый раз обошли вокруг стола, Бэттлс Неумолкающий вскочил на ноги и затянул любимую пьяную песню:

Учитель и Ворд-Бичер —
У них такой обычай —
Ругают корень сассафраса:
— Его мы запрещаем!

Но мы-то, мы-то знаем,

Не проведет сюртук и ряса!..

Рев пьяного хора подхватил:

— Его мы запрещаем!
Но мы-то, мы-то знаем,
Не проведет сюртук и ряса!
Не проведет сюртук и ряса!..

Рискованная смесь Мельмут Кида оказывала свое действие. Все лишения и ужасы северной жизни не задавили в них горячей радости жизни — и шутки, песни, и рассказы о всевозможных приключениях перекидывались с одного конца стола на другой. Они собрались сюда из дюжины различных стран и пили за все подряд. Англичанин Принс предложил тост за «дядю Сэма», скороспелого младенца Нового Света. Янки Бэттлс пил за королеву, «да благословит ее Господь», а Савуа и Мейерс — немецкий коммерсант — чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

Тогда поднялся Мельмут Кид с кружкой пунша в руке и поглядел в замерзшее окно, на котором было по крайней мере три дюйма льда.

— За здоровье того, кто застигнут в пути сегодняшней ночью; да хватит ему провианта; да будут целы ноги у его собак; да не отсыреют его

спички!

Крак! Крак! — послышалась вдруг хорошо знакомая всем музыка собачьей плетки, потом визг мельмутовских собак и скрип полозьев около самой хижины. Разговоры замерли — все ждали, что будет.

— Опытный ездок: сначала о собаках, а уж потом о себе, — шепнул Мельмут Кид Принсу, когда послышалось щелканье зубов, волчье рычание и визг собак: их привычному слуху было ясно, что незнакомец кормит своих собак и отгоняет чужих.

Затем раздался ожидаемый стук в дверь, резкий и уверенный, — и незнакомец вошел в комнату. Ослепленный светом, он остановился на мгновение у двери, давая всем возможность разглядеть себя. Это была интересная фигура и весьма живописная в своем полярном меховом одеянии. Он был дюйма на два или на три выше шести футов, с хорошо развитой грудью и плечами; его гладко выбритое лицо стало ярко-алым от мороза; длинные ресницы и брови побелели от снега, и когда он снял свою шапку из волчьего меха, он, право, походил на сказочного царя-мороза, рожденного только сейчас волшебством ночи. Вышитый пояс с двумя крупными револьверами и охотничьим

ножом стягивал его кожаную куртку, а в руках он держал, кроме неизбежной собачьей плетки, прекрасное бездымное ружье самой новейшей конструкции. Когда он вошел, по его походке, вообще говоря, твердой и эластичной, можно было заметить, что он сильно устал.

Наступило неловкое молчание, но сердечный привет вошедшего: «здорово, ребята!» сейчас же привел всех в себя, и в следующее мгновение Мельмут Кид уже пожимал его руку. Хотя они никогда не встречались, оба достаточно слышали друг о друге и были рады познакомиться, и прежде чем приезжий успел произнести хотя бы одно слово в объяснение своего появления, он был уже представлен всем присутствующим, и в руке у него очутилась большая кружка пунша.

— Как давно проехали здесь крытые сани с тремя мужчинами и восемью собаками? — спросил он.

— Дня два тому назад. Вы за ними?

— Да, моя запряжка. Увели из-под самого носа, негодяи. Я, значит, выиграл уже два дня. Захвачу на следующем перегоне.

— Думаете, они пожалеют порох? — спросил Белден, чтобы поддержать разговор. Мельмут Кид занялся приготовлением кофе и старательно

нарезал сало и оленье мясо.

Незнакомец многозначительно погладил свои револьверы.

— Давно из Даусона?

— Выехал в двенадцать.

— Вчера в полночь?

— Сегодня.

Шепот изумления пробежал вокруг. И было от чего: теперь была полночь; значит — семьдесят пять верст трудного речного пути в течение двенадцати часов!

Разговор вскоре стал общим: вспоминали различные случаи из давнишних путешествий. Пока молодой незнакомец ел, Мельмут Кид внимательно изучал его лицо и очень скоро пришел к заключению, что это красивое, честное и открытое лицо ему, Киду, нравится. Оно было еще совсем молодое, хотя и тронутое уже резцом борьбы и тяжелого труда. Его голубые глаза, искрящиеся, когда он говорил, и мягкие, когда молчал, вероятно, делались стальными в минуты столкновений. Широкие скулы и квадратный подбородок свидетельствовали об упорстве и непреклонной воле. Но, несмотря на все эти черты могучей львиной натуры, в нем была какая-то мягкость, почти женственность, которая говори-

ла о его большой впечатлительности.

— Вот таким образом мы и сошлись со старухой, — говорил Белден, заканчивая очень пикантное повествование о своей женитьбе. — «Вот и мы, отец», сказала она. «Ну и черт с вами», ответил он ей. А потом мне: «Джим, ну, — ну, сделай что-нибудь толковое; вот мне надо вспахать сорок акров до обеда». А потом повернулся к ней и говорит: «А ты, Сали, ты иди, мой посуду». Я уж было обрадовался, но он вдруг посмотрел на меня, да как зарычит: «Иди сюда». Я так и пошел к нему, весь в муке!

— А дети у вас есть в Штатах? — спросил незнакомец.

— Нет. Сали рано умерла. Вот почему я здесь. — Белден стал задумчиво разжигать свою трубку, которая было погасла, и когда она задымилась, спросил: — А вы женаты?

Вместо ответа незнакомец открыл часы, снял их с ремня, заменявшего цепочку, и передал Белдену. Тот поправил лампу, внимательно осмотрел внутреннюю сторону крышки и с невольным восторженным восклицанием передал часы Луи Савуа. Этот несколько раз подряд воскликнул «черт возьми» и в свою очередь передал их Принсу, у которого, как все заметили, дрогнули

руки, а глаза стали необычайно нежными. Таким образом, часы переходили из одних корявых рук в другие, а на внутренней стороне их крышки была приклеена фотография женщины: одной из тех нежных, привязчивых женщин, о которых мечтают многие мужчины; у ее груди был ребенок. Те, кто еще не видел этого чуда, сгорали от любопытства; а те, кто видел, замолкали и становились задумчивыми. Все они умели смотреть в лицо голоду, болезни и внезапной смерти где-нибудь в пути, но изображение неизвестной женщины с ребенком на руках превращало их самих в женщин и детей.

— Я еще не видел малыша — мальчик, она пишет. Теперь ему уже два года, — сказал незнакомец, когда его сокровище вернулось к нему. Он пристально посмотрел на фотографию, потом захлопнул часы и отвернулся, но все успели заметить еле сдерживаемые слезы на его глазах.

Мельмут Кид предложил ему лечь на скамейку и отдохнуть.

— Разбудите меня в четыре, ровно в четыре. Только не позже. — С этими словами он лег и через минуту уже спал тяжелым сном уставшего человека.

— Ей-богу, молодец! — решил Принс. — Три

часа сна после семидесяти пяти миль на собаках, а затем опять в дорогу. Кто он такой, Кид?

— Это Джэк Уэстондель. Он приехал года три назад; работает как лошадь, но ему положительно не везет. Я никогда не встречался с ним, но Митка Чарлей много рассказывал мне о нем.

— Скверно, когда судьба забрасывает человека, у которого такая милая жена, да еще в такие молодые годы, в эту Богом забытую дыру, где каждый год стоит двух, проведенных где-нибудь в другом месте.

— Беда в том, что у него заявка скверная, а он упрям. Два раза промыл — и ничего.

Здесь разговор был прерван восклицанием Бэттлса, что инцидент исчерпан. И скоро опять грубое веселье заставило их забыть черные, долгие годы однообразной пищи и мертвящего труда.

Один Мельмут Кид как-то не мог уже больше отдаться веселью и все время тревожно поглядывал на часы. Потом он вдруг надел рукавицы и бобровую шапку и пошел рыться в кладовой.

Он не мог дождаться назначенного часа и разбудил гостя на четверть часа раньше. Молодой великан насилу поднялся, и ему пришлось растирать все тело, чтобы держаться на ногах. Он

вышел из хижины шатаясь, но собаки были уже запряжены и все готово к отъезду. Вся компания пожелала ему счастливого пути и удачной охоты, а отец Рубо, наскоро благословив его, увел всех в хижину; и не мудрено — не очень-то приятно стоять на семидесятиградусном морозе с открытыми ушами и голыми руками.

Мельмут Кид помог ему выбраться на дорогу и, горячо пожимая на прощание руку, сказал:

— Там, в санях, вы найдете сто фунтов лососиной икры. Это хватит собакам на столько же времени, на сколько хватало бы сто пятьдесят фунтов рыбы, а вы не найдете корма для собак в Пелли, как, возможно, рассчитывали. — Незнакомец посмотрел на него с удивлением, и глаза его вспыхнули. Но он не перебивал.

— Вы не достанете ни одного золотника ни для себя, ни для собак раньше, чем доедете до Файф-Фингерс, а это верных две тысячи миль. Постарайтесь потом добраться до открытой воды на Тридцатой Миле и тогда захватите большой пароход на Ле-Бардж.

— Почему вы так говорите? Разве слухи обо мне могли перегнать меня?

— Я ровно ничего не знаю. И больше — не хочу ничего знать. Знаю только, что запряжка, за кото-

рой вы гонитесь, никогда не была вашей: Ситка Чарлей продал ее этим людям прошлой весной. Но он говорил мне о вас как о честном человеке — и я верю ему. Теперь я увидел ваше лицо, и оно мне понравилось. И я видел — черт возьми, удержите же вашу соленую воду в глазах, — ну, видел вашу жену и, ну… — Кид снял рукавицу и вытащил кошелек.

— Нет, этого мне не надо, — и он судорожно сжал руку Мельмут Кида со слезами, замерзшими на щеках.

— Если так, то советую вам — не жалейте собак; лишь только какая упадет, обрезайте постромки и покупайте новую. И не скупитесь — хоть по десять долларов с фунта. Вы достанете их и в Файф-Фингерс, и в Литл-Салмон, и в Хутадинква. И еще следите за тем, чтобы ноги не были мокрые. Старайтесь, чтобы чулок хватало на перегон. А если нет — разводите огонь и меняйте в дороге.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков возвестил о прибытии новых посетителей. Дверь отворилась, и конный полисмен Северо-Западной Территории вошел в комнату в сопровождении двух погонщиков-метисов. Все они, — так же, как и Уэстондель, — были хорошо вооружены и выглядели очень усталыми. Ме-

тисы как местные уроженцы переносили путь сравнительно легко, но молодой полисмен совершенно изнемогал. Однако бульдожье упрямство его расы держало его на ногах и должно было держать до тех пор, пока он не свалится.

— Когда уехал Уэстондель? — спросил он. — Он ведь здесь останавливался, не правда ли?

Вопрос, собственно, был излишним, так как следы повествовали весьма обстоятельно. Мельмут Кид быстро взглянул на Белдена, и тот, сообразив, откуда дует ветер, отвечал неопределенно: — Да порядочно.

— Полно, дружище, говори прямо, — убеждал его полисмен.

— Вы, что же, сцапать его собираетесь, а? Он дел там наделал в Даусоне?

— Он нагрел Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч долларов; обменял их в конторе Компании на чек в Ситль, и если мы не догоним его, он, разумеется, получит по чеку. Когда он уехал?

По одному повелительному взгляду Мельмут Кида возбуждение погасло во всех глазах, и полисмен увидел вокруг себя неподвижные деревянные физиономии.

Он насел с расспросами на Принса, и хотя этому было ужасно трудно смотреть в честные, строгие

глаза земляка, он все же понес что-то несуразное по поводу трудной дороги.

Тогда полисмен обратился к отцу Рубо, который, безусловно, не мог солгать.

— Четверть часа тому назад, — ответил священник. — Но он отдыхал здесь четыре часа, и собаки тоже.

— Едет уже пятнадцать минут и отдохнул, о Боже! — бедный малый отшатнулся назад, чуть не падая от усталости и отчаяния. Он бормотал что-то о десятичасовом перегоне из Даусона и о том, что собаки загнаны.

Мельмут Кид протянул ему большую кружку с пуншем. Выпив ее, полисмен направился к двери, приказав погонщикам следовать за собой. Но теплая комната и перспектива отдыха были слишком соблазнительны, и они уперлись. Кид понимал немного их полуфранцузкий жаргон и прислушивался с тревогой.

Они божились, что собаки загнаны окончательно, что Сиваша и Бабет придется застрелить на первой миле, что остальные тоже не лучше и что во всех отношениях правильнее будет передохнуть.

— Одолжите мне пять собак, — сказал полисмен, поворачиваясь к Мельмут Киду.

Тот отрицательно покачал головой.

— Я дам вам чек в пять тысяч на капитана Константэйна. Вот мои бумаги, я уполномочен поступать по своему усмотрению.

Последовал тот же молчаливый отказ.

— Тогда я реквизирую их именем королевы!

Вопросительно улыбаясь, Кид взглянул на свой великолепный арсенал, и англичанин, почувствовав свое бессилие, повернулся к двери. Погонщики опять запротестовали, но он накинулся на них с яростью, называя бабами и собаками. Темное лицо старшего метиса вспыхнуло от гнева. Он встал и в хорошеньких выражениях пообещал полисмену путешествие на своих двоих, прибавив, что будет в восторге, когда тот свалится и останется один в снегу.

Молодой офицер собрал всю силу воли и быстро направился к двери, стараясь показать, что он уже отдохнул. Все видели, что это неправда, и оценили его гордые усилия. Ему не удалось скрыть болезненной судороги, перекосившей лицо. Обледеневшие собаки прикорнули в снегу, и было почти невозможно поднять их на ноги. Погонщики были обозлены, а потому били их жестоко, но несчастные звери только визжали и выли под ударами. Только когда отрезали Бабет

— передовую собаку, сани сдвинулись наконец с места.

— Грязное животное! Лгун! Черт возьми, вот негодяй оказался! Вор! Да хуже всякого индейца! — Было ясно, что вся компания возмущена до крайности. Прежде всего за то, что их так провели, а потом за поруганную этику Севера, где честность считается первым украшением настоящего мужчины.

— А мы еще помогали мерзавцу, когда все уже было известно! — Все глаза с упреком обернулись на Мельмут Кида, который поднялся из угла, где устраивал Бабет, и молча принялся разливать по кружкам остатки пунша.

— Холодная сегодня ночь, ребята, — очень холодная ночь сегодня, — начал он издалека свою защитительную речь. — Все вы бывали в пути, и все вы знаете, что это значит. Нельзя бить собаку, когда она упала. И потом, вы слышали только одну сторону. И я вам скажу еще, что ни вам, ни мне не приходилось ни разу есть из одного горшка или спать на одной постели с таким хорошим человеком, как Джэк Уэстондель. Прошлой осенью он отдал всю свою промывку — сорок тысяч — Джо Кастрелю, чтобы купить ему пай в Доминионе. Теперь он был бы уже миллионером.

А что сделал Кастрель, вы знаете? Уэстондель задержался в Сёркл-Сити, ухаживая за товарищем, который заболел цингой, а Кастрель в это время пьянствовал у того же Мак-Фарлэнда, пока не спустил все до последней крупинки. Его нашли потом мертвым в снегу. А несчастный Джэк лишился возможности ехать нынешней зимой к жене и ребенку, которого он еще не видел. Вы обратили внимание — он взял ровно столько, сколько прокутил его товарищ, — сорок тысяч. Ну и взял, и уехал. Что вы на это скажете?

Кид обвел глазами своих слушателей и, заметив, что выражение их лиц стало мягче, высоко поднял свою кружку.

— За здоровье того, кто в пути! Да хватит ему провизии! Да будут целы ноги его собак! Да не отсыреют его спички! И поможет ему Бог… Счастливый ему путь и…

— К черту конную полицию! — кричал Бэттлс под звон опустевших кружек.

Право священнослужителя

Это будет рассказ о человеке, не сумевшем оценить свою жену, а также о женщине, оказавшей ему слишком большую честь тем, что вышла за него замуж. Случайно в эту историю окажется впутанным один иезуитский священник, о котором говорили, что он никогда не лжет.

Священник этот был неотъемлемой собственностью страны Юкона — весьма полезной собственностью, но те двое попали сюда случайно. Они были одною из пород золотоискателей. В общем, существует два типа золотоискателей: одни несутся в центре золотого потока, другие плетутся в хвосте.

Эдвин Бентам и Грэйс Бентам были золотоискателями и, несомненно, плелись в хвосте, ибо, когда они приехали, Клондайкский 97-го года уже давно спустился вниз по реке и осел в голодном городе Даусоне. Когда Юкон закрыл свою лавочку и заснул под слоем снега в три фута, странствующая парочка оказалась у порога Файф-Фингерс, все еще на расстоянии многих дней пути от Золотого Города.

Осенью здесь было убито большое количество

скота, и отбросы лежали целыми кучами. Три «вояжера», сопровождавшие Эдвина Бентама и его жену, осмотрели эти запасы, сделали в уме маленькую арифметическую выкладку и, заметив поблескивание верного барыша, решили здесь остаться. Всю зиму они продавали кости и замерзшие кожи проголодавшимся запряжкам — и совсем дешево продавали, по доллару за фунт, почти по своей цене. Через шесть месяцев, когда солнце вернулось и Юкон ожил вновь, они надели тяжелые пояса с зашитыми в них деньгами и отправились обратно на Юг, где живут и до сих пор, рассказывая небылицы о Клондайке, которого никогда не видели.

Эдвин Бентам был от природы ленивым малым, и, если бы не жена, он, вероятно, с удовольствием присоединился бы к спекуляции мясом. Но жена, играя на его тщеславии, убедила его в том, что он сильный и вообще выдающийся человек и что такой, как он, конечно, легко преодолеет все трудности и, разумеется, добудет Золотое Руно. Ему ничего не оставалось, как стиснуть зубы, продать свою долю костей, купить сани и одну собаку и направить лыжи к Северу. Незачем упоминать, что лыжи Грэйс Бентам не отставали от него. И даже больше: проковыляв спереди три дня, муж

очутился сзади — и путь прокладывала уже жена. Впрочем, при каждой встрече позиции менялись. Таким образом, его мужское достоинство не могло быть поддано сомнению встречными, которые, как привидения, проскальзывали иногда мимо. Попадаются же и такие мужчины на свете.

Каким образом могло случиться, что такой мужчина и такая женщина соединились на всю жизнь, чтобы делить и горе и радость, — это к делу не относится. Об этом мы все и так знаем, а те, кто в это вмешиваются или хотя бы слишком близко подходят к таким вопросам, рискуют потерять один из лучших идеалов человечества, известный под названием нравственного миропорядка.

Эдвин Бентам был, собственно, мальчишкой, втиснутым по ошибке в тело взрослого человека, — мальчишкой, который с милой улыбкой мог обрывать крылья у бабочки, одно за другим, и в то же время постыдно отступать в ужасе перед каким-нибудь слабосильным парнем, раза в два меньше его ростом. Это был избалованный плакса под маской мужчины, с мужскими усами и с мужской фигурой, пролакированный самым незначительным слоем культурности и общепринятых условностей. Вот именно: это был клубмен,

пустой светский болтун; человек, который обращает социальные обязанности в грациозную забаву и несет всякий общепринятый вздор с неописуемой слащавой очаровательностью; человек, который много говорит — и плачет от зубной боли; человек, который, женившись на женщине, превращает ее жизнь в такой ад, какой не сумел бы ей уготовить и последний негодяй. Мы встречаем таких людей на каждом шагу, но редко представляем себе отчетливо, что это такое. Лучший способ узнать их до конца (кроме способа выйти за них замуж) — есть с ними из одного горшка и спать на одной постели в продолжение — ну, скажем, недели, — срока вполне достаточного.

Увидеть Грэйс Бентам — значило увидеть стройное существо, полуребенка. Узнать ее — значило узнать душу, которая раздавила сама себя и все же сохранила все очарование вечной женственности. Эта женщина поддерживала и ободряла своего мужа в его северных изысканиях, прокладывала для него дорогу в снегу, когда никто не мог этого видеть, и потом потихоньку плакала, считая себя недостаточно выносливой.

Таким образом, путешествовала эта странная парочка вниз по реке до Форта Селькирк, а затем

сто миль мрачной пустыней по реке Стюарт. А когда последние короткие дни кончились, мужчина лежал в снегу и всхлипывал, а женщина, кусая губы от невыносимой боли в ногах, уложила его в сани и помогла собаке дотащить его до хижины Мельмут Кида. Мельмут Кида не было дома, но Мейерс, немецкий коммерсант, поджарил хороший бифштекс из оленины и приготовил постель из свежих еловых веток.

Лэк, Лангэм и Паркер были крайне взволнованы, и не напрасно, если посмотреть на дело основательно.

— О Сэнди, скажи, пожалуйста, ты сумеешь отличить ссек от вырезки? Пойди к нам, посмотри, пожалуйста. — Это воззвание исходило из кладовки, где Лангэм безрезультатно сражался с непонятными для него кусками мороженой оленины.

— Поворачивайтесь же скорее с вашей стряпней! — командовал Паркер.

— Знаешь, Сэнди, будь другом, сбегай в Миссури Кэмп и займи у кого-нибудь немного корицы, — просил Лэк.

— Ну, ну, пошевеливайтесь! Почему ты… — но грохот упавших в кладовой консервов и мяса пресек строгий выговор.

— Ну, ступай теперь, Сэнди; опустишься до Миссури за минуту.

— Оставь его в покое, — перебил Паркер. — Как я буду месить тесто для бисквитов, когда стол грязный?

Сэнди остановился в нерешительности, но факт, что ведь он — «человек» Лангэма, оказался решающим. Он гордо отшвырнул в сторону кухонное полотенце и пошел помогать хозяину.

Эти многообещающие отпрыски богатых семейств явились на Север ради развлечения, с целой кучей денег, которые и прожигали, не стесняясь, и вдобавок еще с «человеком». Хорошо, впрочем, что двое из их компании отправились вверх по Белой Реке в поисках мифических залежей кварца, так что Сэнди приходилось разрываться только между тремя хозяевами, у каждого из которых были свои кулинарные пристрастия. Два раза за утро окончательный распад лагеря казался совершенно неизбежным и предотвращался только благодаря безмерной снисходительности того или другого из рыцарей круглой сковороды. В конце концов, их совместное творение — настоящий изысканный обед — было закончено. После этого они сели за игру в «разбойники», которая должна была решить, на

кого будет возложена одна очень важная миссия, и таким образом предотвратить все возможные пререкания по этому поводу.

Это счастье выпало на долю Паркера. Он причесался с пробором, надел рукавицы и медвежью шапку и направил свои стопы в хижину Мельмут Кида. Возвратился он в сопровождении Грэйс Бентам и Мельмут Кида, причем первая была очень огорчена, что ее муж не мог воспользоваться любезным приглашением, так как поехал осмотреть рудники у Гендерсон-Крика, а Кид чувствовал себя усталым после поездки вниз по реке Стюарт. Мейерс был тоже приглашен, но отказался, так как был весь поглощен интересным опытом квашения теста с помощью хмеля.

Ладно, без мужа, конечно, можно было обойтись, зато женщина — о, они не видели ни одной женщины за всю зиму, и пребывание ее здесь, одной ее, обещало новую эру в их жизни. Эти три молодые человека были людьми со средним образованием и джентльменами, но теперь они положительно дрожали над своим мясным супом, которого так долго были лишены. Возможно, что и Грэйс Бентам страдала от такого же голода; во всяком случае, этот первый веселый час после многих недель тьмы и холода значил для нее

очень много.

Но едва это удивительное первое блюдо, способ приготовления коего искусный Лэк заимствовал у своих родителей, было подано на стол, как послышался громкий стук в дверь.

— О, почему вы не входите, мистер Бентам? — спросил Паркер, вставший посмотреть, кто стучит.

— Моя жена здесь? — грубо спросил этот достойный человек.

— Здесь, конечно. Мы же вам оставили записку у Мейерса.

Паркер старался пустить в ход самые нежные ноты, внутренне изумляясь, что все это значит.

— Почему вы не входите? Мы ждали вас с минуты на минуту и вот оставили вам место. И главное, как раз вовремя: только что подали первое блюдо!

— Войди же, Эдвин, милый, — пролепетала Грэйс Бентам из-за стола.

Паркер, естественно, отодвинулся.

— Я пришел за женой, — грубо произнес Бентам, и в его интонации был неприятный привкус собственника.

Паркер задыхался. Он был на волоске от того, чтобы обрушить свой кулак в лицо противного

посетителя, но сдержался и отошел. Все встали. Лэк опустил голову и чуть не сказал:

— Неужели вы уйдете?

Затем началась обычная кутерьма прощания: — Так мило с вашей стороны… Ужасно жаль… Честное слово, бывает же так!.. Да неужели, в самом деле?.. Еще раз благодарю вас… Счастливо добраться до Даусона… — И так далее.

Ягненку помогли надеть куртку и вручили его затем хозяину-мяснику. После этого дверь захлопнулась, и они в отчаянии стояли вокруг опустевшего стола.

— Черт! — Лангэм не получил с детства достаточного образования по этой части, а потому его ругательства были слабы и однообразны. — Черт! — повторил он, смутно сознавая недостаточность этого словечка и напрасно стараясь подыскать более выразительное.

Можно смело назвать талантливой женщиной ту, которая умеет затушевывать слабые места ничтожного мужа, укреплять его неустойчивую душу своей непобедимой волей, вливать в него свою честолюбивую предприимчивость и побуждать к великим свершениям. Но еще более таланта и тактичности требуется для того, чтобы сделать это все так тонко, что вся честь останется

за мужем, а он сам искренне будет верить, что все это сделал он и только он.

Все это умела делать Грэйс Бентам. Приехав в Даусон с несколькими фунтами муки и многими рекомендательными письмами, она сделала все возможное, чтобы выпихнуть вперед своего большого младенца. Это она смягчила каменное сердце грубого варвара, который был председателем Компании, и завоевала его доверие. Но переговоры велись Эдвином Бентамом, и заявка была обещана ему. Это она таскала своего младенца вверх и вниз по ручьям и речкам, через мели и водоразделы, по самым диким заявкам. И все говорили в один голос: «Что за энергичный парень этот Бентам». Это она изучала карты и выспрашивала рудокопов, и вколачивала географические данные и всякие названия в пустую голову мужа, а все изумлялись, как он успел так хорошо узнать страну и все местные условия. В конце концов, все решили, что жена для него — обуза, и только немногие, более умные, ценили ее и жалели.

Она работала — он получал похвалы и вознаграждение. На Северо-Западной Территории замужняя женщина не может сама промывать золото либо получить заявку на берегу реки и

на кварцевые залежи. Поэтому Эдвину Бентаму пришлось пойти к комиссару золотых приисков и записать на себя заявку № 23, третья линия по Френч-Хиллю. А когда пришел апрель, они намывали по тысяче долларов в день, и впереди было еще много-много таких дней.

У подножия Френч-Хилля протекала речка Эльдорадо, и на речной заявке стояла хижина Клайда Уартона. В то время он не намывал ежедневно по тысяче долларов, но кучи нарытого песка все росли и росли, и приближалось время, когда они должны были пройти через промывные ящики и оставить на дне их в течение нескольких дней много сотен тысяч долларов. Он часто сидел в своей хижине, курил трубку и мечтал об удивительных вещах, в которых, впрочем, ни кучи драгоценного песка, ни полтонны золота в сейфе Компании не играли никакой роли.

И когда Грэйс Бентам мыла жестяные тарелки в своей хижине наверху, она часто смотрела вниз на Эльдорадо и тоже мечтала — конечно, тоже не о песке. Они часто встречались, ибо тропинки, ведущие на их заявки, пересекались, а кроме того, весной на Севере много о чем можно поговорить. Но ни разу ни один из них не открыл своего сердца ни блеском глаз, ни движением губ.

Так было вначале… Но однажды Эдвин Бентам проявил невероятную грубость. Подростки всегда грубы. К тому же, чувствуя себя королем Френч-Хилля, он вообразил о себе невесть что, забывая, насколько обязан всем жене. На этот раз Уартон слышал все, перехватил на тропинке Грэйс Бентам и высказывался весьма горячо. Грэйс почувствовала себя очень счастливой, хотя и не хотела слушать и заставила его пообещать никогда-никогда не говорить подобных вещей. Ее час еще не пришел.

Но вот солнце повернуло назад, на свою северную дорогу; черную ночь опять сменили стальные сумерки; снег стаял; вода вновь бежала по замерзшей земле; промывание золота началось снова. День и ночь желтая глина и речной песок пробегали через тонкие решета, оставляя свою дань смелым людям, пришедшим с Юга. И вот в это беспокойное, возбужденное время пришел час Грэйс Бентам.

Ко всем нам приходит этот час — ко всем, конечно, кто не слишком флегматичен. Очень многие добродетельны не потому, что у них какая-то прирожденная склонность к добру, а просто потому, что они слишком ленивы. Те из нас, кто знает минуты слабости, конечно, меня поймут.

Эдвин Бентам взвешивал намытое золото на прилавке у Форкса, — причем достаточное количество этого золота переходило через сосновый прилавок в карман трактирщика, — и вот в это время его жена спустилась с холма и скользнула в хижину Клайда Уартона. Уартон не ждал ее, но это нисколько не изменило дела. И многих горестей, и многих напрасных мучительных ожиданий можно было бы избежать, если бы этого ее поступка не заметил отец Рубо и не свернул бы в сторону от главной дороги к реке.

— Дитя мое!

— Погодите, отец Рубо. Я уважаю вас, хотя я и не вашей веры, но не становитесь между мной и этой женщиной.

— И вы понимаете, что делаете?

— Понимаю. И если бы вы были всемогущим Богом и могли бы низвергнуть меня в вечный огонь, я и тогда бы поспорил с вами.

Уартон усадил Грэйс на стул и заслонил ее с вызывающим видом.

— Вы сядете вот сюда и будете сидеть спокойно, — продолжал он, обращаясь к иезуиту. — Сначала буду говорить я, потом — вы.

Отец Рубо вежливо наклонил голову и сел. Он был человек уступчивый и научился ждать. Уар-

тон опустился на стул рядом с женщиной и взял ее руку в свои.

— Значит, вы меня, правда, любите и увезете отсюда? — Ее лицо приняло в себя все спокойствие, исходящее от этого человека, у которого она всегда могла найти теперь поддержку и защиту.

— Дорогая, вы помните, что я вам говорил тогда! Разумеется…

— Но как же вы это сделаете? А промывка?

— Неужели вы думаете о таких пустяках? Ну, например, я передам все дело отцу Рубо. Я вполне могу доверить ему расчет с Компанией.

— Только подумать! Я его никогда не увижу.

— Какое счастье!

— И уеду?.. Нет, Клайд, я не могу, я не могу…

— Уедете, уедете, конечно, уедете. Вы послушайте, как это все будет. Мы соберем кое-что и отправимся…

— А если он поедет за нами?

— Я ему переломаю ребра…

— Нет, нет! Только не драться, Клайд. Вы должны обещать мне.

— Ладно! Тогда я скажу товарищам, чтобы выгнали его с заявки. Они все видели, как он обращается с вами, и не очень-то его долюбливают.

— Нет, этого вы не должны делать. Вы не долж-

ны его обижать.

— Не понимаю. Что же тогда? Дать ему войти сюда и увести вас на моих глазах?

— Н-нет, — сказала она совсем тихо, нежно погладив его руку.

— Тогда предоставьте все дело мне и не волнуйтесь попусту. Я постараюсь не обидеть его. А он-то много беспокоился, обижены вы или нет?! В Даусон мы не вернемся. Я пошлю вперед весточку своим ребятам, чтобы провели мне лодку вниз по Юкону. А мы переберемся через водораздел и спустимся к ним по Индиан Ривер. Потом…

— А потом?

Ее головка лежала на его плече. Голоса их стали совсем тихими и нежно-ритмичными; каждое слово было лаской. Иезуит беспокойно задвигался на стуле.

— А потом? — повторила она.

— А потом мы поедем дальше и дальше, через пороги Уайт-Хорс и через Бокс-Кэнон.

— Да?

— И через Шестидесятую Милю. А потом будут озера, а потом Чилькут, Дайэ и доберемся до моря.

— Но, милый, я совсем не умею грести.

— Ах, какая глупенькая! Я возьму с собой Ситку

Чарлея. Он хорошо знает все реки и места для причала и вообще лучший знаток пути, даже среди индейцев. А у тебя будет только одно дело — сидеть в середине лодки и петь песни, и изображать из себя Клеопатру, и бороться с москитами. Нет, для москитов еще слишком рано — мы и тут в выигрыше.

— А потом, мой Антоний?

— Ну, а потом пароход в Сан-Франциско — и весь мир. Никогда больше не вернемся в эту проклятую дыру. Подумай только! Весь мир перед нами. Я продам здесь все. Мы и так достаточно богаты. Уолдверский Синдикат даст мне полмиллиона за остатки в земле, и еще столько же будет с этих куч, и еще столько же за Компанией. Мы поедем в Париж на выставку 1900 года. Мы поедем в Иерусалим, если ты пожелаешь. Мы купим дворец в Италии, и ты будешь изображать Клеопатру, сколько захочешь. Нет, ты будешь моей Лукрецией, Актеей и всем, чем захочет быть твое милое, маленькое сердце. Но ты не должна, никогда не должна…

— Жена Цезаря вне подозрений.

— Разумеется, но…

— Но разве я буду твоей женой?

— Я не об этом…

— Но ведь ты будешь любить меня совсем так же и никогда, никогда… о, я знаю, ты будешь такой, как и все. Ты устанешь, я тебе надоем и… и…

— Как ты можешь?!

— Обещай мне!

— Да, да, конечно, обещаю.

— Ты говоришь это так легко. Но как ты можешь знать? И как я могу знать? Я так мало могу дать, но это так много для меня. О Клайд, обещай мне, что никогда…

— Ну-ну, вот ты начинаешь уже сомневаться. До самого дня нашей смерти — ты это знаешь.

— Подумать! Я один раз говорила то же самое… ему… и вот…

— Ну ты не должна больше думать об этом, любимая моя девочка; никогда, никогда я…

И первый раз их дрожащие губы встретились. Отец Рубо смотрел на дорогу к реке, но ждать больше был уже не в состоянии. Он кашлянул и повернулся.

— Теперь ваша очередь, отец! — Лицо Уартона было залито огнем первого поцелуя. Голос его звенел гордым восторгом, когда он уступил право этому другому. Он не сомневался в исходе. Не сомневалась и Грэйс, и улыбка играла на ее лице, когда она посмотрела на священника.

— Дитя мое, — начал он, — сердце мое обливается кровью, когда я смотрю на вас. Это прелестный сон, но ведь он не сбудется.

— Почему, отец? Я же сказала «да».

— Вы не понимаете, что делаете. Вы не подумали о клятве, данной человеку, который называется вашим мужем. Мне приходится напомнить вам о святости этой клятвы.

— А если я вспоминаю, но все-таки откажусь?

— Тогда Бог…

— Какой Бог? У моего мужа Бог, которому я не хочу поклоняться. Богов много всяких…

— Дитя, так нельзя говорить! Нет, вы так не думаете, конечно. Я понимаю. У меня у самого тоже бывали такие минуты. — На одно мгновение он очутился в родной Франции, и лицо сидящей перед ним женщины с печальными глазами затянуло, словно туманом.

— А в таком случае, скажите, отец, разве мой Бог не отрекся от меня? Я не была хуже других женщин. Я терпела от него очень много. Почему я должна терпеть еще? Почему я не смею получить это счастье? Я не могу, я не хочу возвращаться к нему!

— Скорее вы отреклись от своего Бога. Вернитесь. Положите свою тяжелую ношу в его руки, и

тьма вокруг вас рассеется. О дитя мое…

— Нет, это все ни к чему. Сама посадила и сама буду поливать. Я пойду до конца. И если Бог накажет меня, я уж как-нибудь справлюсь. Вы, конечно, не поймете. Вы не женщина…

— Моя мать была женщиной.

— Но…

— И Христос родился от женщины.

Она не отвечала. Наступило молчание. Уартон нетерпеливо поглаживал усы и смотрел на дорогу. Грэйс уперлась локтями на стол, и ее лицо было серьезно и решительно. Улыбка исчезла. Отец Рубо нащупывал почву.

— У вас есть дети?

— Прежде я хотела, а теперь — нет. И я рада, что их нет.

— А матъ?

— Есть.

— Она вас любит?

— Да. — Ее ответы были едва слышны.

— А брат? Впрочем, он мужчина… А сестры есть у вас?

Она ответила кивком.

— Моложе вас? Намного?

— На семь лет.

— А об этом вы хорошо подумали? Да, об этом. О

вашей матери подумали? О сестре подумали? Она стоит сейчас на пороге своей женской жизни, и этот ваш дикий поступок может значить для нее очень много. Могли бы вы подойти к ней сейчас? Смотреть в ее молодое, чистое лицо, взять ее руку в свои или прижаться к ней щекой?

Его слова вызывали в ее мозгу яркие живые образы, и наконец она вскрикнула: — Не надо, не надо! — и отшатнулась, как собака, которая хочет избежать плетки.

— Но должны же вы прямо посмотреть на это все; и лучше сейчас, чем после.

В глазах его, которых она не могла видеть, была большая жалость, но на лице, напряженном и нервном, не было и тени снисхождения. Она подняла голову от стола, удерживая слезы, и старалась овладеть собой.

— Я уйду. Они не увидят меня никогда. И в конце концов забудут. Я для них словно умру. И… и я уйду с Клайдом… сегодня уйду.

Казалось, это был конец. Уартон выступил вперед, но священник остановил его движением руки.

— Вы хотите иметь детей?

Молчаливое «да».

— И молились о них?

— Часто.

— А вы подумали, что будет, если у вас будут дети, теперь?

На мгновение глаза отца Рубо остановились на человеке у окна.

Свет радости промелькнул по ее лицу. Потом она почувствовала сразу всю тяжесть того, что произойдет сейчас. Она с отчаянием подняла руку, но он продолжал.

— Можете вы представить невинного младенца у себя на руках? Мальчика? Свет отнесется мягче к девочке. Подумайте — ведь у вас самой молоко превратится в желчь! И вы сможете быть гордой и счастливой своим мальчиком, и будете смотреть на других детей?..

— О пощадите! Молчите!

— Несчастный козел отпущения за…

— Не надо! Не надо! Я вернусь. — Она упала на пол у его ног.

— Вот вырастет ваше дитя без одной дурной мысли, и когда-нибудь кто-нибудь грязно бросит ему в лицо самое любимое имя…

— Боже, Боже!

Она билась на полу. Священник вздохнул и помог ей подняться. Уартон бросился к ней, но она его остановила.

— Не подходите ко мне, Клайд. Я ухожу.

Слезы струились по ее лицу, и она не старалась вытереть их.

— После всего? Ты не уйдешь. Я не пущу тебя.

— Не трогай меня. — Она задрожала и попятилась.

— Буду! Ты моя! Слышишь, моя! — Потом он зарычал на священника. — О, какой же я был дурак, что дал вам распустить ваш глупый язык! Благодарите вашего Бога, что вы не простой смертный, а то бы я… Вы хотели воспользоваться привилегией своего сана. Ну, что ж, воспользовались! А теперь уходите из моего дома. Слышите, а то я забуду кто вы и что вы.

Отец Рубо поклонился, взял за руку Грэйс и направился к двери.

Но Уартон загородил им дорогу.

— Грэйс, ты сказала, что любишь меня.

— Да, сказала.

— А теперь?

— И теперь говорю.

— Повтори еще раз.

— Я люблю вас, Клайд, я вас люблю.

— Слыхали — вы, там? — закричал он. — И с такими-то словами вы пошлете ее назад, на вечную ложь и вечную муку с этим человеком?!

Но отец Рубо неожиданно втолкнул женщину в соседнюю комнату и запер дверь.

— Ни слова! — прошептал он Уартону, опустившись на стул в небрежной позе. — Помните, ради нее!

Вся комната вздрогнула от резкого удара в дверь, потом щеколда поднялась, и вошел Эдвин Бентам.

— Моей жены не видели? — спросил он после обмена приветствиями.

Оба отрицательно покачали головами.

— Ее следы спускаются от хижины вниз, — продолжал он испытующе. — И потом они обрываются на большой дороге, как раз против вас.

Его слушатели были на иголках.

— И вот я — я подумал…

— Она была здесь! — загремел Уартон.

Священник взглядом заставил его замолчать.

— Вы видели ее следы до самой хижины, сын мой? — Хитрый отец Рубо, — он очень старательно затоптал все следы, когда шел по тропинке час тому назад.

— Я не останавливался, не смотрел… — Его глаза подозрительно уставились на дверь, ведущую в другую комнату. Потом они вопросительно обратились к священнику. Этот покачал головой

отрицательно, но сомнения, по-видимому, не рассеялись.

Тогда отец Рубо прошептал тихую, короткую молитву и поднялся.

— Если вы сомневаетесь, ну, что же… — Он сделал вид, что хочет открыть дверь.

Священник не мог лгать. Эдвин Бентам часто слышал это и верил этому.

— Нет, отец, разумеется, нет! — возразил он поспешно. — Я только не понимал, куда это ушла жена, и подумал, что, может быть… Вернее всего, она у мистрисс Стэнтон на Френч-Гёлче. Какая славная погода, не правда ли? А новости слышали? Мука упала до сорока долларов за сто кило, и, говорят, «че-ча-квас'ы» целыми стадами отправились за ней вниз по реке. Ну, мне пора. До свидания.

Дверь захлопнулась, и из окна они видели, как он направился на Френч-Гёлч.

Несколько недель спустя, как раз после июньского половодья, два человека плыли в челноке посередине реки. Они нагнали плывущую ель и привязали к ней лодку. Это помогало парусу и увеличивало его слабую силу, как какой-нибудь буксир. Отец Рубо решил оставить верховье реки и вернуться в Минуук, к своей черной пастве. К

ним пришли белые люди, и теперь они оставили даже рыбную ловлю и отдавали слишком много времени некоему божеству, временное жилище которого было в бесчисленных черных бутылках. У Мельмут Кида тоже были кое-какие дела на низовье, и потому они путешествовали вместе.

Только один человек на всем Севере знал Павла Рубо — не отца Рубо, и это был Мельмут Кид. Только перед ним снимал священник свою официальную одежду и обнажал свою душу. И почему бы нет? Эти два человека достаточно знали друг друга. Разве не делили они между собой последний кусок рыбы, последнюю щепотку табака, последнюю и самую интимную мысль на пустынных пространствах Берингова моря, в мучительном лабиринте Большой Дельты, на ужасном зимнем пути от мыса Барроу до Паркюпайны?

Отец Рубо молчаливо дымил своей изношенной в путешествиях трубкой и смотрел на красный круг солнца, темневший дымным пятном на самом краю северного горизонта. Мельмут Кид вынул часы. Была полночь.

— Ладно, старый друг! — Кид, очевидно, продолжал прерванный разговор. — Бог, разумеется, простит эту ложь. Вот вам слова человека, кото-

рый хорошо сказал о лжи:

«Если губы ее сказали хоть слово, помни, что на твоих — печать молчания,

И пятно позора на том, кем выдана тайна.

Если Герварду тяжко, и самая черная ложь прояснит его горе, —

Лги, пока движутся твои губы и пока хоть один человек остался в живых, чтобы слушать твою ложь».

Отец Рубо вынул трубку изо рта и подумал вслух:

— Твой автор говорит правду, но не это мучит мою душу. Ложь или раскаяние — это зависит от Бога. Но все-таки, все-таки…

— Что все-таки? Ваши руки чисты…

— Не совсем! Кид, я много думал об этом, и факт остается фактом. Я знал — и все-таки заставил ее вернуться.

Звонкая песнь реполова донеслась с лесистого берега; вдали откликнулась куропатка; олень шумно фыркал, купаясь.

А два человека курили трубки и молчали.

Мудрость снежной тропы

Ситка Чарлей совершил невозможное. Быть может, другие индейцы не хуже его постигли мудрость снежной тропы, но он один постиг мудрость белого человека — честь тропы и ее закон. Однако это далось ему не в один день. Мозги туземцев туги на обобщения, и необходимо, чтобы факты повторялись часто, пока озарит настоящее понимание. Ситка Чарлей с детства постоянно вращался среди белых и мужественно решил связать свою судьбу с ними, раз навсегда отрезав себя от своего народа. Но уважая и даже обоготворяя могущество белых, он еще не разгадал самой его сущности — чести и закона. И только в результате опыта, накопленного годами, уразумел эту сущность. Чужак — он знал ее даже лучше, чем сами белые. Индеец — он совершил невозможное.

Из этого родилось у него презрение к собственному своему народу — презрение, обычно им скрываемое, но теперь вырвавшееся наружу в виде вихря многоязычных ругательств, сыпавшихся на головы Ка-Чукти и Гоухи. Они ползали перед ним, как пара ворчащих овчарок, слишком

трусливых, чтобы напасть, но недостаточно утерявших свою волчью природу, чтобы спрятать клыки. Они были некрасивы, как, впрочем, и сам Ситка Чарлей. Лица их были очень худы, а скулы усеяны безобразными струпьями; струпья эти то трескались, то снова замерзали на сильном морозе; глаза их сверкали мрачным блеском, порожденным голодом и отчаянием. Люди, находящиеся по ту сторону границы чести и закона, не заслуживают доверия. Ситка Чарлей знал это; поэтому-то он еще десять дней тому назад заставил их бросить ружья вместе с остальным лагерным скарбом. Ружья остались только у него и у капитана Эпингуэлла.

— Марш! Развести огонь, — скомандовал он, вынимая драгоценную коробку спичек и неразлучные с нею полоски сухой березовой коры.

Оба индейца угрюмо принялись за работу и стали собирать сухие ветки и валежник. Они были слабы, часто останавливались и, наклоняясь, ловили себя на бесцельных движениях или, спотыкаясь, ковыляли к месту костра, причем колени их стучали друг о дружку, как кастаньеты. После каждой принесенной охапки они с минуту отдыхали, словно от полного бессилия или смертельной усталости. Порой глаза их принимали

выражение терпеливого стоицизма и глухого страдания; а затем, казалось, «я» снова вспыхивало в них и как бы разражалось диким криком: «я, я, я жить хочу!» — доминирующей нотой всего одушевленного мира.

Легкий ветерок дохнул с юга, щипля неприкрытые части их тела, и вгонял мороз огненными иглами в их кости сквозь меха и мышцы. Поэтому, когда огонь разгорелся и на снегу оттаял влажный круг, Ситка Чарлей заставил своих упиравшихся товарищей помочь ему в установке прикрытия. То было примитивное сооружение — обыкновенное одеяло, натянутое параллельно костру с наветренной стороны и наклоненное под углом приблизительно в сорок пять градусов. Это одеяло преграждало путь холодному ветру и направляло тепло назад и вниз на тех, кто должен был укрыться под его защитой. Затем они набросали ложе из зеленых сосновых веток, чтобы тел их не касался снег. Когда эта работа была закончена, Ка-Чукти и Гоухи принялись за свои ноги. Обледенелые мокасины страшно износились от долгого путешествия, и острый лед береговых откосов изрезал их в клочья. Сиваш-ские носки были в таком же состоянии; когда они оттаяли и были сняты с ног, пальцы — почти все

изуродованные — рассказали несложную сказку снежной тропы.

Оставив их обоих просушивать обувь, Ситка Чарлей повернул назад по той же дороге, по какой пришел. У него тоже было сильное желание присесть у огня и расправить болевшие члены, но честь и закон не позволяли. Он с трудом продвигался по замерзшему полю; каждое движение вызывало протест, каждый мускул оказывал сопротивление. Там, где вода между откосами берегов затянулась коркой, ему несколько раз приходилось мучительно ускорять движения, когда хрупкий грунт под его ногами угрожающе колебался. В таких местах смерть приходила легко и быстро. Но он вовсе этого не хотел.

Его нараставшее беспокойство исчезло, когда над одной из излучин реки появились два индейца. Они спотыкались и стонали, как люди, обремененные тяжкой ношей; а между тем мешки на их спинах весили всего несколько фунтов. Он стал горячо их расспрашивать, и ответы, по-видимому, ободрили его. Он поспешил дальше. Вслед за индейцами шли двое белых, с двух сторон поддерживая женщину. Они тоже двигались, как пьяные, и члены их дрожали от утомления. Но женщина лишь слегка опиралась

на них, стараясь продвигаться вперед собственными силами. При виде ее лицо Ситки Чарлея озарилось мгновенно вспышкой радости. Он питал большое уважение к мистрисс Эпингуэлл. Он видел много белых женщин, но эта была первая, которая путешествовала с ним по снежной тропе. Когда капитан Эпингуэлл объяснил ему рискованное предприятие и предложил плату за услуги, он задумчиво покачал головой; ибо речь шла о неизведанном пути через унылые пустыни Севера, и он предвидел, что это будет одно из тех путешествий, в каких человек подвергается наибольшим испытаниям. Но когда он узнал, что жена капитана собирается сопровождать их, он начисто отказался от какого бы то ни было участия в этом деле. Будь это женщина его племени, ему было бы безразличнее… Но эти женщины с Юга… нет, нет, они были слишком мягки, слишком нежны для таких предприятий.

Ситка Чарлей не знал этого рода женщин. За пять минут перед тем ему и не снилось, что он возьмет на себя руководство экспедицией: но когда она пришла к нему со своей дивной улыбкой, со своей прямой и ясной английской речью и заговорила о деле, не упрашивая и не уговаривая, он немедленно согласился. Будь в

ее глазах слабость, просьба о сожалении, либо желание использовать прерогативы своего пола, он остался бы тверже стали. Но ее ясные глаза и ясно звенящий голос, ее полная откровенность и молчаливое утверждение равенства — все это лишило его всякого благоразумия. В тот момент он почувствовал, что перед ним женщина нового сорта. И еще раньше, чем они стали товарищами по путешествию, он понял, почему сыновья таких женщин покоряют землю и море и почему сыновья соплеменных ему женщин не могут устоять против них. Мягкая и нежная! День за днем он наблюдал за ней, усталой, изможденной, но неукротимой — и неустанно ему слышались эти слова: мягкая и нежная! Он знал, что ее ножки были рождены для ровных тропинок и земель, осиянных солнцем, что не знали они грубых мокасинов Севера, что их не целовали леденящие губы мороза. И он с изумлением наблюдал, как они целыми днями без устали и без отдыха были в движении.

Всегда у нее находились улыбка и ободряющее слово, в них она не отказывала даже последнему носильщику. По мере того как дорога становилась труднее и глуше, она, казалось, все крепла и набиралась новых сил. А когда Ка-Чукти и Гоухи

(которые хвастались, будто им известна всякая отметинка на этой дороге, как ребенку — кожаные полосы своего «тепи») наконец признались, что не знают, где находятся, она подала голос милосердия среди мужских проклятий. Она пела им в тот вечер до тех пор, пока они не почувствовали, что усталость свалилась с них и что они готовы встретить будущее с надеждой. А когда появился недостаток в пище и каждая скудная порция ревниво отмеривалась, она восстала против всех махинаций своего мужа и Ситки Чарлея, требуя и получая такой же паек, как и остальные, — не больше и не меньше.

Ситки Чарлей гордился своим знакомством с этой женщиной. Что-то новое и неизведанное вошло в его жизнь благодаря ее присутствию. До тех пор он сам себе был хозяином, поворачивался направо или налево без чьей-либо указки; он сформировал свой характер, следуя только своим импульсам, воспитал в себе мужество, не считаясь ни с чем, кроме своей воли. Теперь же он впервые почувствовал, что кто-то извне воззвал к его лучшим чувствам. Один только одобрительный взгляд ясных глаз, одно благодарное слово ясно звенящего голоса, одно легкое движение улыбчивых губ — и он шел много часов в бла-

женном опьянении. Это было новым стимулом для его мужества, ибо в первый раз в жизни он сознательно гордился своим знанием снежной тропы. Они вдвоем все время ободряли падавших духом товарищей.

Лица обоих мужчин и женщины просияли, когда они заметили его, так как, в конечном счете, он был тем посохом, на который они опирались. Но Ситка Чарлей, по своему обыкновению твердый, скрывая страдание и радость под железной невозмутимостью, спросил о состоянии остальных, сообщил им о расположении костра и продолжал свой обратный путь. Затем он встретил одного индейца, без ноши, прихрамывающего, со сжатыми губами и с глазами, отражавшими боль в ноге, в которой жизнь вела безнадежный бой со смертью. Для него было сделано все возможное, но в последний момент слабый и неудачливый должен погибнуть, и Ситка Чарлей видел, что индейцу оставалось жить лишь несколько дней. Долго продержаться он не мог, и Чарлей сказал ему несколько суровых, но ободряющих слов. Затем следовали еще два индейца, на которых он возложил обязанность помогать Джо, — четвертому белому члену экспедиции. Они покинули его. Ситка Чарлей одним взглядом угадал по

коварно затаенной упругости их движений, что они, в конце концов, сбросили с себя его власть. Поэтому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказание вернуться на поиски покинутого он увидел блеск охотничьих ножей, выхваченных из ножен. Жалкое зрелище: трое истомленных людей, бросающие свои последние силы в лицо могучей Пустыни. Но двое отступили под свирепыми ударами прикладом и вернулись, как побитые собаки к своре. Два часа спустя, ведя между собой Джо и сопутствуемые Ситкой Чарлеем, замыкавшим шествие, они подошли к огню, где остальные члены экспедиции сгрудились под прикрытием навеса.

— Несколько слов, друзья, прежде чем мы ляжем спать, — сказал Ситка Чарлей, после того как индейцы проглотили свои скудные порции пресного хлеба. Он говорил с ними на их языке, предварительно сообщив белым суть своей речи.

— Несколько слов, друзья, для вашего же блага, чтобы вы могли остаться в живых. Я дам вам закон. Каждый, кто его нарушит, умрет. Повинен в этом будет только он один. Мы миновали Холмы Молчания и сейчас идем по верховьям Стюарта. Быть может, через одну, а не то через несколько

ночевок — во всяком случае в свое время, — мы доберемся до Юкона, где у людей есть много пищи. Поэтому будем лучше соблюдать закон. Сегодня Ка-Чукти и Гоухи, которым я приказал пролагать след, позабыли, что они мужчины, и убежали, как трусливые дети. Правда, они забыли, забудем и мы. Но впредь пусть помнят! А если случится, что они опять забудут, то…

Он небрежным, но угрожающим жестом схватился за ружье.

— Завтра они будут нести муку и следить за тем, чтобы белый человек Джо не оставался лежать на дороге. Чашки муки сосчитаны. Если к вечеру окажется нехватка хотя бы в одну унцию… Поняли? Были сегодня и другие забывчивые. Оленья Голова и Тройной Лосось бросили белого человека Джо в снегу. Пусть больше не забывают. С рассветом они пойдут вперед и будут пролагать след. Итак, вы знаете закон… Смотрите же в оба, чтобы его не нарушить!

Ситка Чарлей был не в силах сохранить сомкнутую линию. От Оленьей Головы и Тройного Лосося, пролагавших след впереди, до Ка-Чукти, Гоухи и Джо линия растянулась на милю с лишним. Все они спотыкались, падали и отдыхали кому когда казалось необходимо. Все они

напрягали последние остатки сил, влачились вперед, пока силы не истощались. Каждый раз, как человек падал, он был твердо убежден, что больше не встанет. И все же он поднимался снова и снова. Воля побеждала, и тело подчинялось ей; но каждая победа превращалась в трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже полз вперед на коленях. Он редко отдыхал, так как знал, какой штраф взыскивает мороз. Даже губы мистрисс Эпингуэлл под конец застыли в каменной улыбке, и глаза ее смотрели, ничего не видя. Часто она останавливалась, прикладывая к сердцу руку в перчатке; у нее кружилась голова, и она тяжело дышала.

Белый человек Джо перешагнул предел страданий. Он больше не просил, чтобы его оставили в покое, не молил о смерти. Он был спокоен и доволен в своем безболезненном и бредовом состоянии. Ка-Чукти и Гоухи грубо тащили его вперед, причем на долю его выпадало немало свирепых взглядов и пинков. Им это казалось венцом справедливости. Сердца их были горьки от ненависти, тяжелы от страха. Почему они должны отягощать свою силу его слабостью? Ведь это была смерть. А если нет… они помнили о законе Ситки Чарлея и о ружье. По мере того

как день угасал, Джо стал все чаще падать; его так трудно становилось поднимать, что они все больше и больше отставали. Порой они все трое валились в снег — так утомлены были индейцы. А между тем на спинах их были и жизнь, и сила, и тепло. Мешки с мукой заключали в себе всю их жизненную потенцию. Они не могли не думать об этом, и в том, что произошло, не было ничего удивительного.

Они свалились подле бурелома, где тысячи саженей хвороста как бы сами просили спички. Рядом во льду была прорубь. Ка-Чукти посмотрел на дерево и на воду, то же сделал и Гоухи, а затем они посмотрели друг на друга. Ни одного слова не было произнесено. Гоухи зажег огонь; Ка-Чукти наполнил небольшую кружку водой и согрел ее. Джо разглагольствовал о вещах из иного мира на непонятном для них языке. Они намешали муки в горячую воду, пока не получилась густая жижица, и выпили много кружек этого напитка. Джо они не угощали, но его это не трогало. Его вообще ничто не трогало — даже его мокасины, дымившиеся среди угольев.

Кристальная снежная завеса падала вокруг них, мягко лаская и закутывая их в тесно облегающие белые одежды. И теперь их ноги могли бы

еще протоптать много следов, если бы судьба не отнесла тучи в сторону и воздух снова не стал бы прозрачен. Десятиминутная отсрочка могла бы их спасти. Но Ситка Чарлей, оглянувшись назад, увидел колонку дыма, поднимавшуюся над костром… и догадался. Он взглянул вперед на тех, кто были надежны, и на мистрисс Эпингуэлл.

— Итак, мои добрые друзья, вы опять позабыли, что вы мужчины. Хорошо. Очень хорошо. Будет меньше животов, требующих корма.

С этими словами Ситка Чарлей снова завязал мешок с мукой и взвалил его на спину поверх своей собственной ноши. Он расталкивал Джо до тех пор, пока боль не прорвалась сквозь блаженство бедняги и не подняла его на нетвердые ноги. Затем он вытолкнул его на тропу и указал ему направление. Оба индейца попытались улизнуть.

— Стой, Гоухи! И ты также, Ка-Чукти! Или мука дала твоим ногам столько силы, что они могут опередить быстрокрылый свинец? Не думайте, что вы сумеете обмануть закон. Будьте мужчинами хоть напоследок и радуйтесь, что умираете с полным брюхом. Марш! Прислонитесь спиной к дереву, плечом к плечу. Ну, марш!

Оба спокойно повиновались, ибо только будущее пугает человека, а не настоящее.

— У тебя, Гоухи, есть жена и дети и юрта из оленьей кожи в земле Чиппева. Какова твоя последняя воля на этот счет?

— Дай ты ей то, что принадлежит мне, как сказал капитан, — простыни, бусы, табак и коробку, издающую странные звуки, по обычаю белых людей. Скажи, что я умер на тропе, но не говори — как.

— А ты, Ка-Чукти, у которого нет ни жены, ни ребенка?

— У меня есть сестра, жена фактора в Кошиме. Он бьет ее, и она несчастна. Дай ей то, что мое по контракту, и скажи ей, что ей хорошо бы вернуться к своему племени. Если ты встретишь ее мужа, помни — убить его было бы добрым делом. Он бьет, а она боится.

— Рады ли вы умереть по закону?

— Рады.

— Тогда прощайте, мои добрые товарищи. Да воссядете вы перед полными горшками в теплых юртах, прежде чем угаснет день!

С этими словами он поднял ружье, и многократное эхо разбило молчание. Едва оно замолкло, как другие ружья заговорили в отдалении. Ситка Чарлей вздрогнул. Выстрел был не один, а ведь в экспедиции было еще только одно ружье. Он

бросил беглый взгляд на людей, лежавших так спокойно, странно и злобно улыбнулся мудрости снежной тропы… и поспешил навстречу людям с Юкона.

Жена короля

I

В старину, когда Север был еще молод, социальные и гражданские добродетели были немногочисленны и весьма просты. Когда бремя домашних забот становилось слишком тягостным и тихая грусть у камелька превращалась в непрерывный протест против мрачного одиночества, южные искатели приключений, за неимением лучшего, платили установленную цену и взамен получали туземных жен. Для женщин это было как бы предвкушением царствия небесного, так как — надо отдать справедливость белым проходимцам — они лучше обращались с женами и больше заботились о них, чем их краснокожие соперники. Белые, конечно, тоже были довольны такого рода сделкой; радовались и индейцы. Продав своих дочерей и сестер за шерстяные одеяла и устарелые ружья, променяв свои теплые меха на тонкий коленкор и дрянной виски, дети природы скоро и беззаботно умирали от истощения и иных заболеваний, связанных с благодатью высшей цивилизации.

В дни этой аркадской простоты Кол Галбрэт странствовал по тем местам и заболел на низовьях реки. Это было освежающим событием в жизни добрых сестер Святого Креста, которые дали ему убежище и лекарство, хотя им и не снилось, какой горячий эликсир вливается в его жилы от прикосновения их мягких рук и от нежного ухода. Кола Галбрэта стали волновать странные мысли, не покидавшие его, пока он не остановил своих взоров на Мэдилайн, одной из барышень Миссии. Однако он ничем не выдавал себя и терпеливо выжидал удобный момент. С наступлением весны он окреп, и когда солнце пустилось в небесах по золотому кругу, а по всей стране расплескалась радость и забилась жизнь, он напряг свое еще слабое тело и уехал.

Мэдилайн — барышня в Миссии — была сиротой. Ее белый отец однажды не уступил дороги серому медведю и погиб. Тогда ее мать, индианка, за неимением мужчины, который бы наполнил ее кладовую на зиму, пустилась на рискованный эксперимент и решилась переждать до движения лососей с пятьюдесятью фунтами муки и двадцатью пятью солонины. После этого маленькая Чук-Ра появилась на свет с помощью добрых сестер и должна была впоследствии носить дру-

гое имя.

Но у Мэдилайн все же еще были родные, ближайшим из которых считался забулдыга-дядя, разрушавший свои жизненные силы непомерным количеством привезенного белыми людьми виски. Каждый день он пытался вознестись в обитель богов, и, сообразно этому, ноги его искали кратчайшего пути к могиле. В трезвом виде он испытывал ужасные муки. Совести у него не было. Вот к этому-то престарелому прощалыге и явился Кол Галбрэт с официальным визитом, и в последовавшем затем разговоре они извели много слов и много табака. Были произнесены взаимные обещания, и в результате старый язычник захватил несколько фунтов сухой лососины, сел в свое каноэ из березовой коры и поплыл по направлению к Миссии Святого Креста.

Свету не дано знать, какие обещания он дал и что именно он наврал (сестры ведь никогда не сплетничают), но, когда он возвращался, на его черноватой груди висело медное распятие, а в каноэ сидела его племянница Мэдилайн. В ту же ночь была отпразднована пышная свадьба и потлач, так что в следующие два дня никто в деревне не ловил рыбы. Но уже наутро после свадьбы Мэдилайн отряхнула со своих мокасинов прах

низовьев реки и вместе с супругом, отпихиваясь баграми, перебралась на жительство к верховьям, в местность, именуемую Лоуэр-Коунтри. И во все последующие годы она была хорошей женой, делила с мужем все тяготы и варила ему пищу. Она не позволяла ему сбиться с пути, пока он не научился копить золотой песок и упорно работать. Наконец он разбогател и построил барак в Серкл-Сити; и так велико было его счастье, что люди, навещавшие его в семейном кругу, сильно ему завидовали.

Но Север начинал входить в возраст, и появились прелести цивилизации. До сих пор Юг посылал только своих сыновей; теперь же он изрыгнул новое нашествие — дочерей. Они не были ни сестрами, ни женами, но им удалось вбить мужчинам в головы новые идеи и наладить строй всей жизни согласно своим привычкам. Туземные женщины уже не сходились для плясок, не кружились с шумом по центральной площади в добром старом Вирджиниа-риле и не наслаждались веселым «Дэн Тэккером». Они снова впали в свой национальный стоицизм и жалобно наблюдали из бараков за нравами белых сестер.

Затем новое нашествие последовало через горы с плодоносного Юга. На этот раз появились жен-

щины, получившие большую власть в стране. Слово их было законом, а закон их был стальным. Они сурово относились к женам-туземкам, в то время как первые пришелицы смягчились и вели себя смиренно. Нашлись трусы, которые устыдились своего сожительства с дочерьми этой страны и стали глядеть с отвращением на своих темнокожих детей, но были и другие — мужчины, которые остались верными и гордились своими туземными браками. Когда вошло в обычай разводиться с женами-туземками, Кол Галбрэт сохранил свое мужское достоинство и в результате почувствовал на себе тяжелую руку женщин, позже всех пришедших, меньше всех знавших, но управлявших страной.

В один прекрасный день Эппер-Коунтри, которая лежит много выше Серкл-Сити, была объявлена богатой местностью. Собачьи упряжки возвестили об этом Соленым Водам. Нагруженные золотом суда повезли приманку по Тихому Океану; кабели и провода пели об этом; и мир впервые услышал о реке Клондайк и побережьях Юкона.

Кол Галбрэт спокойно жил все эти годы. Он был для Мэдилайн хорошим мужем, и она принесла ему благословение. Но со временем им овладело

какое-то недовольство. Он испытывал смутную тоску по людям своего племени, по жизни, из которой был исключен, — неопределенное, порой охватывающее человека желание порвать со всем и снова пережить зарю жизни. А между тем вниз по реке шли дикие слухи о чудесном Эльдорадо, яркие описания города, палаток и землянок и комические рассказы про разных «че-ча-квас'ов», прибывавших массами и ставивших вехи по всей стране. Серкл-Сити вымер. Все ушли вверх по реке и образовали новый, удивительный мир.

Кол Галбрэт, в конце концов, тоже забеспокоился и пожелал убедиться во всем собственными глазами. Поэтому после промывки он отвесил на больших весах Компании две сотни фунтов песка и взял чек на Даусон. Он поручил надзор за своим рудником Тому Диксону, поцеловал на прощание Мэдилайн, обещал вернуться до первого ледохода и взял билет на пароход.

Мэдилайн ждала — прождала все три месяца, пока светило солнце. Она кормила собак, уделяла много времени маленькому Колу, смотрела, как умирало короткое лето и как солнце пустилось в свой далекий путь к Югу. Она много молилась, по обычаю сестер Святого Креста. Темные дни

наступили, а с ними появилась и ледяная кора на Юконе, и короли Серкл-Сити возвращались на зимнюю работу в рудниках, но Кола Галбрэта не было. Правда, Том Диксон получил письмо: его люди привезли ей на санках новый запас сухой сосны на зиму. И Компания получила письмо, ибо собачьи упряжки привезли для кладовых Мэдилайн самую лучшую провизию, причем Компания уведомила, что ее кредит неограничен.

Во все времена мужчина считался главной причиной женских страданий. Мужчины держали язык за зубами, поругивая лишь одного из своих отсутствующих собратьев; что же касается женщин, они не думали им в этом подражать. Поэтому Мэдилайн без излишних проволочек услыхала странные вести о похождениях Кола Галбрэта и, между прочим, о некой греческой танцовщице, которая будто бы играет с людьми, как дети с куклами. Мэдилайн же была индианкой, и у нее не было ни одной подруги, у которой она бы могла спросить разумного совета. Она поочередно то молилась, то строила какие-то планы. Но однажды ночью она решилась, запрягла собак и, крепко привязав к саням маленького Кола, тайком выбралась из города.

Хотя Юкон еще не был закован, береговой лед

все нарастал, и с каждым днем река все больше превращалась в мутный ручеек. Только тот, кто сам это проделал, может знать, что вынесла Мэдилайн во время перехода в сто миль по береговому льду; никто другой не поймет тех трудностей и мучений, с какими она преодолела еще двести миль по крепкому льду, образовавшемуся после того как река замерзла по-настоящему. Но Мэдилайн была индианкой — со всем этим она справилась, и вот однажды вечером раздался стук в дверь Мельмут Кида. Кид накормил свору изголодавшихся собак, уложил спать здорового мальчугана и затем обратил свое внимание на утомленную женщину. Стягивая с нее обледенелые мокасины, он слушал ее рассказ и покалывал острием ножа ее ноги, чтобы узнать, до какой степени они отморожены.

Несмотря на исключительную мужественность Мельмут Кида, душа его была мягка и женственна, благодаря чему он мог завоевать доверие рычащего волкодава либо исторгнуть исповедь из самого холодного сердца. Но не он этого искал. Сердца сами раскрывались перед ним, как цветы перед солнцем. Известно было, что сам отец Рубо исповедовался ему, а мужчины и женщины Северной земли непрерывно стучались к нему

в дверь — дверь, у которой щеколда никогда не закладывалась. По мнению Мэдилайн, он не мог поступить неправильно или ошибиться. Она знала его с того самого времени, как связала свою судьбу с народом своего отца; и ее полудикому уму представлялось, что в нем сосредоточилась мудрость всех веков, что между его прозорливостью и будущим не могло быть преграждающей завесы.

Вся страна жила ложными идеалами. Общественное мнение Даусона не совпадало с воззрениями более ранней эпохи, и быстрый расцвет Севера таил в себе много нехорошего. Мельмут Кид видел это и знал насквозь Кола Галбрэта. Он знал также, что поспешность — мать всех зол, а кроме того, собирался дать хороший урок и пристыдить этого человека. Поэтому в ближайший вечер были призваны на совет Стэнли Принс, молодой рудничный эксперт, и Джэк Харрингтон Счастливый со своей скрипкой. В ту же ночь Бэттлс, который многим был обязан Мельмут Киду, запряг собак Кола Галбрэта, привязал к санкам Кола Галбрэта младшего и удрал в темноту по направлению к реке Стюарт.

II

— Так! Раз-два-три, раз-два-три. Теперь обратно. Нет, нет! Начинай снова, Джэк. Смотрите — вот так!

Принс показывал па, как человек, способный руководить котильоном.

— Итак: раз-два-три, раз-два-три. Назад! Ага! Вот так уже лучше. Попробуйте снова. Знаете, вы не должны смотреть себе под ноги. Раз-два-три, раз-два-три. Шаги помельче! Ведь вы не идете с шестом за собаками! Повторите еще раз. Вот так! Так и надо. Раз-два-три, раз-два-три.

Принс и Мэдилайн кружились и кружились в нескончаемом вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтобы увеличить пространство. Мельмут Кид сидел на скамье, подперев коленями подбородок, и с большим интересом наблюдал. Подле него сидел Джэк Харрингтон, пиликал на скрипке и следил за танцорами. Это обучение тремя мужчинами одной женщины создавало единственную в своем роде ситуацию. Самой патетической чертой обучения был, без сомнения, тот деловой вид, с которым они его выполняли. Ни одного атлета для поединка, ни одну овчарку для запряжки не тренировали так упорно, как ее.

Но они работали над хорошим материалом, ибо Мэдилайн, в противоположность большинству женщин своей расы, не приходилось в детстве носить большие тяжести и работать на снежных тропах. Вдобавок она была хорошо сложена и стройна, как ива, и обладала большой грацией, которой до сих пор никто не замечал. Вот эту-то грацию трое мужчин и старались подчеркнуть и оформить.

— Беда в том, что ее учили танцевать шиворот-навыворот, — бросил Принс сидящим на скамье, после того как усадил на стол свою запыхавшуюся ученицу. — Она быстро усваивает, но все-таки я мог бы достигнуть большего, если бы она никогда в жизни не протанцевала ни одного па. Но объясни мне, Кид, я не могу понять вот этого…

Принс повторил своеобразное движение плеч и головы, которое портило походку Мэдилайн.

— Ее счастье, что она была воспитана в Миссии, — отвечал Мельмут Кид. — Нагрузка, знаешь… и таскание тяжестей на голове… Другим индианкам тяжко приходится. Но она не ходила под ношей, пока не вышла замуж, да и тогда только в первое время. Видела и она плохие времена с этим своим супругом: они вместе пережили голод на Сороковой Миле.

— Сумеем ли мы эту привычку вытравить?

— Не знаю. Быть может, помогут продолжительные прогулки с тренерами. Во всяком случае, чего-нибудь можно будет достигнуть, не правда ли, Мэдилайн?

Она утвердительно кивнула головой. Если Мельмут Кид, который все знает, говорит это, — значит, так и есть. Это было все, что она знала.

Она подошла к ним, горя желанием начать снова. Харрингтон осматривал ее так внимательно, словно лошадь на ярмарке. По-видимому, зрелище было не безнадежно, ибо он спросил, внезапно заинтересованный:

— Что же получил этот ваш оборвыш-дядя?

— Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок «хуча». Ружье поломанное. — Она произнесла это с досадой, как будто ей было обидно, что ее девичество было так низко оценено.

Она хорошо говорила по-английски, подражая в говоре своему мужу, но все же чувствовался индейский акцент — злоупотребление странными гортанными звуками. Ее инструкторы взялись даже за исправление этого недостатка, и не без успеха.

Скоро Принс обнаружил новое обстоятельство.

— Говорю тебе, Кид, — сказал он, — она не мо-

жет выучиться танцевать в мокасинах. Суньте ей ноги в туфли, а тогда — с богом, на паркет… Фью!

Мэдилайн подняла ногу и с сомнением оглядела свой бесформенный мокасин домашней работы. В прежние зимы, как в Серкл-Сити, так и на Сороковой Миле, она не одну ночь протанцевала в такой обуви, и тогда это не возбуждало никаких нареканий. Но теперь… теперь, если что-нибудь было не так, — об этом должен был знать Мельмут Кид, а не она.

А Мельмут Кид, действительно, знал и, кроме того, обладал верным взглядом. Поэтому он надел фуражку и варежки и спустился с холма, чтобы нанести визит мистрисс Эпингуэлл. Ее муж, Клод Эпингуэлл, — крупный государственный чиновник, считался важным лицом в городе. Однажды на губернаторском балу Кид обратил внимание на ее стройную маленькую ножку. Зная, что она столь же умна, как и красива, он не постеснялся попросить ее о небольшом одолжении.

После его возвращения Мэдилайн на несколько минут исчезла в смежной комнате. Когда она появилась вновь, Принс был ошеломлен.

— Клянусь Юпитером! — пролепетал он. — Кто бы мог подумать. Маленькая волшебница! Однако, сестрица…

— Английская женщина, — прервал его Мельмут Кид, — с английской ножкой. Эта девушка происходит от расы с маленькими ступнями. Мокасины только расширили ее ноги, но она не обезобразила их в детстве беготней за собаками.

Но это объяснение не сумело унять восторгов Принса. Коммерческий инстинкт Харрингтона был задет за живое, и, глядя на очаровательную форму ступни и сгиба, он мысленно повторял возмутительный список: «одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок „хуча“».

Мэдилайн была женой короля — короля, на чьи желтые сокровища можно было купить два десятка разодетых по моде кукол. И все же ее ноги никогда не знали другой обуви, кроме красной дубленой оленьей кожи. Сначала она с опаской оглядывала изящные туфельки из белого шелка; но она быстро поняла чисто мужское восхищение, какое светилось в глазах у мужчин. Лицо ее озарилось гордостью: на одно мгновение она была опьянена своим женским очарованием, но затем пробормотала с возрастающим презрением:

— А ружье поломанное…

Тренировка продолжалась. Ежедневно Мельмут Кид уводил ее гулять, чтобы исправить

походку и укоротить шаг. Узнать ее едва ли могли, ибо Кол Галбрэт и остальные старожилы были словно затерянные дети в толпе чужаков, наводнивших страну… А кроме того, у северного мороза острое жало, и нежные южные женщины, для защиты своих щек от его поцелуев, предпочитали носить парусиновые маски. С закрытым лицом и телом, укутанным в беличью «парку», мать и дочь могли бы встретиться на узкой тропинке и не узнать друг друга.

Учение быстро продвигалось вперед, вначале — медленно, но затем неожиданно пошло быстрее. Началось это с того момента, когда Мэдилайн примерила белые шелковые туфли и, так сказать, обрела самоё себя. В это мгновение она впервые стала гордиться своим ренегатом-отцом, независимо от того чувства достоинства, какое могло у нее быть. До сих пор она считала себя женщиной-чужеземкой низшей породы, вознесенной милостями своего повелителя. Муж казался ей богом, который вознес ее без всяких особых заслуг с ее стороны на свою божественную высоту. Но она никогда не забывала (даже после рождения маленького Кола), что она не принадлежит к его народу. Подобно тому, как он был богом, женщины его племени были богинями. Она могла себя

им противопоставлять, но никогда с ними себя не сравнивала. Быть может, близкое знакомство рождает презрение. Как бы то ни было, она, наконец, поняла этих непоседливых белых людей и взвесила их на правильных весах. Конечно, сознательно проанализировать она не могла, но все же в таких вопросах обладала чисто женской чуткостью. В тот вечер — с туфлями — она оценила внезапное, откровенное восхищение своих трех друзей; и впервые в жизни сравнение напрашивалось само собой. Речь шла, правда, только о ступне и сгибе, но… но сравнение, естественно, не могло остановиться на этом пункте. Она судила о себе по мерке своих белых сестер, пока их божественность не оказалась поколебленной. В конце концов, ведь они были только женщинами. Так почему же ей не подняться до их уровня? При этом она узнала, чего ей недостает, и из сознания своих слабостей выросла ее сила. Так упорно добивалась она своего, что ее три учителя часто до глубокой ночи удивлялись вечной тайне женственности.

Между тем приближались святки. Через неровные промежутки времени Бэттлс посылал с реки Стюарт вести о здоровье маленького Кола. Скоро они должны были уже вернуться. Не раз случай-

ный посетитель, услыхав плясовую музыку и ритмическое притоптывание, входил в дом, но заставал только пиликающего Харрингтона и остальных двух друзей, отбивающих такт или шумно спорящих из-за спорного па. Мэдилайн никто никогда не видел, так как она сломя голову убегала в смежную комнату.

В один из таких вечеров Кол Галбрэт ввалился в дом. Только что пришли утешительные вести с реки Стюарт, и Мэдилайн превзошла самоё себя не только в отношении походки, движений и грации, но и в женском лукавстве. Они затеяли остроумную словесную дуэль, и она блестяще защищалась; затем, поддаваясь временному опьянению своей силой, она задирала их, покоряла и увлекала. И инстинктивно они преклонились не перед ее красотой, умом или остроумием, а перед чем-то невыразимо женственным, чему мужчина покоряется, но чего он не умеет назвать. Комната сотрясалась от смеха и топота, когда они с Принсом кружились; Харрингтон выводил самые невероятные фиоритуры, в то время как Мельмут Кид, окончательно предоставленный самому себе, ухватил метлу и предавался безумному круговращению на свой риск и страх.

В этот момент дверь затряслась от сильного стука, и их быстрые взгляды заметили, как отодвигается засов. Но они уже пережили немало таких ситуаций. Харрингтон не оборвал ни одной ноты. Мэдилайн стрелой вылетела через открытую дверь во внутреннюю комнату; метла с шумом полетела под лавку; и в тот самый момент, когда Кол Галбрэт и Луи Савуа просунули свои головы в дверь, Мельмут Кид и Принс, обнявшись, кружились по всей комнате в диком шотландском вальсе.

Вообще говоря, индейские женщины не имеют привычки падать в обморок, но Мэдилайн была теперь ближе к обмороку, чем когда-либо в жизни. Целый час она просидела, сгорбившись на полу, слушая тяжелые голоса мужчин, то нараставшие, то ниспадавшие, словно гром. Как знакомые ноты слышанных в детстве мелодий, струились ей в душу все переливы голоса мужа, волнуя сердце и заставляя колени дрожать, пока она в полуобморочном состоянии не прислонилась к двери. Хорошо, что она не видела и не слышала его ухода.

— Когда вы думаете вернуться в Серкл-Сити? — просто спросил Мельмут Кид.

— Я еще мало думал об этом, — отвечал тот. —

Полагаю, что не раньше ледохода.

— А Мэдилайн?

При этом вопросе Кол покраснел и быстро опустил глаза. Мельмут Кид мог бы почувствовать к нему презрение, если бы меньше знал людей. Но теперь в нем все возмущалось против жен и дочерей, которые явились в эту землю и, не довольствуясь тем, что узурпировали места туземок, вселяли нечистые помыслы в головы мужчин и покрывали их позором.

— Я думаю, что ей хорошо живется, — поспешно отвечал король из Серкл-Сити и добавил, как бы извиняясь: — Я, знаете, поручил охрану своих интересов Тому Диксону, и он следит за тем, чтобы она получала все, что ей нужно.

Мельмут Кид положил свою ладонь на его руку и внезапно прервал его речь. Они вышли из дома. Над их головами северное сияние с пышной расточительностью щеголяло своими изумительными красками. У их ног расстилался сонный город. Где-то далеко собака подала одинокий голос. Король опять заговорил, но Кид сжал его руку, приглашая к молчанию. Звуки умножились. Одна за другой собаки подхватывали лай, и наконец многоголосый хор заполонил ночной воздух. Тому, кто впервые слышит эту колдов-

скую песню, впервые открывается и величайшая тайна Севера. Для того же, кто слышал ее, она звучит, как торжественный погребальный звон над потраченными усилиями. В ней — плач истязаемых душ, ибо в нее внедрилось наследие Севера, страдание неисчислимых поколений, напоминание живым и реквием по заблудшим овцам человечества.

Кол Галбрэт слегка вздрогнул, когда лай стал замирать, переходя в полуподавленные всхлипывания. Кид ясно читал его мысли и вместе с ним переживал все тяжелые дни невзгод и голодовок, и с ним же была терпеливая Мэдилайн, разделявшая страдания и опасности, никогда не отчаиваясь, никогда не жалуясь. Сетчатка его ума трепетала от целой вереницы картин, суровых и отчетливых; а десница Прошлого тяжелыми перстами сжала его сердце. Это был психологический момент. Мельмут Кид совсем уже был готов пойти со своей последней карты и выиграть игру, но урок пока еще был бы слишком слаб, и он решил переждать. Минуту спустя они пожали друг другу руки, и украшенные бусами мокасины короля, скрипя вниз по холму, вызывали громкие протесты оскорбленного снега.

Мэдилайн в своем оцепенении мало походила

на то шаловливое существо, чей смех за час перед тем был так заразителен и чей живой румянец и блестящий взгляд на время заставили ее учителей позабыть обо всем. Слабая и бессильная, сидела она в кресле в том же положении, в каком усадили ее Принс и Харрингтон. Мельмут Кид сердился. Так никогда ничего не выйдет. Когда придет момент свидания с супругом, она должна повести себя уверенно. Совершенно необходимо, чтобы она проделала все на манер белых женщин, иначе победа окажется вовсе не победой. Поэтому он говорил с ней сурово, не смягчал выражений и посвящал ее в слабости своего пола, пока она не поняла, что мужчины в сущности — простофили, а слово женщины для них — закон.

За несколько дней перед праздником Мельмут Кид вторично посетил мистрисс Эпингуэлл. Она быстро произвела смотр своим дамским тряпкам, нанесла продолжительный визит товарному отделению Компании и вернулась вместе с Кидом, чтобы познакомиться с Мэдилайн.

Затем наступил период, какого барак еще никогда не переживал. Во время кройки, примерки, приметывания, шитья и бесчисленных других удивительных и неведомых операций мужчины-заговорщики почти всегда выгонялись вон. В

такие дни бар раскрывал перед ними свои двойные, укрепленные против ветра двери. Все трое так часто наклонялись друг к другу и поднимали так много странных тостов, что зеваки уже учуяли запах неведомых россыпей, скрывающих неисчислимые богатства. И всем было известно, что несколько «че-ча-квас'ов» и, по крайней мере, один сторожил держали свое снаряжение наготове, позади стойки бара, готовые бежать по их следам в любой момент.

Мистрисс Эпингуэлл была способной женщиной. Поэтому, когда она вернула Мэдилайн ее воспитателям в самый день праздника, та оказалась настолько изменившейся, что они даже испугались. Принс накинул на нее одеяло с Гудзонова залива, отдав комический реверанс, — впрочем, скорее настоящий, чем притворный, а Мельмут Кид, ведя ее под руку, почувствовал, как тяжело ему будет играть свою привычную роль ментора. Харрингтон, у которого список покупок все еще не выходил из головы, тащился в арьергарде и ни разу в течение всей дороги до города не открывал рта. Когда они подошли к заднему входу бара, они сняли с плеч Мэдилайн одеяло и расстелили его на снегу. Выбравшись из мокасинов Принса, она прошла по одеялу в

новых шелковых туфельках. Маскарад был во всем разгаре. Она колебалась, но они толкнули дверь и ввели ее внутрь. Затем сами обежали кругом, чтобы войти через главный вход.

III

— Где Фреда? — спрашивали старожилы, в то время как «че-ча-квас'ы» столь же энергично вопрошали, кто такая Фреда. Имя ее, точно жужжание, наполняло бальный зал. Оно было у всех на устах. Седеющие «парни из кислого теста» (поденные работники на приисках, гордые своим званием) либо смотрели покровительственно на щеголеватых неженок и красноречиво лгали — ведь эти «парни из кислого теста» специально созданы для того, чтобы играть в мяч с истиной, — либо бросали на них дикие взгляды, полные возмущения по поводу их невежества. Около сорока королей с верховьев и низовьев состязались между собой; каждый считал, что находится на верном пути, и подкреплял свою догадку желтым песком своего королевства. Пришлось дать помощника весовщику, на котором лежала тяжелая обязанность взвешивать мешки, в то время как несколько игроков, державших в руках законы Фортуны, записывали ставки и

определяли фаворитов.

Которая же была Фреда? Раз за разом казалось, что греческая танцовщица обнаружена, но каждое открытие вносило панику в круг игроков и приводило к бешеной регистрации все новых и новых ставок со стороны тех, кто хотел себя обеспечить. Мельмут Кид заинтересовался состязанием, тем более, что его приход был встречен бурными возгласами кутил, знавших его за настоящего парня. Кид хорошо разбирался в походке и умел узнавать голоса; его выбор пал на чудесное создание, искрившееся в костюме «Северного Сияния». Но гречанка была слишком хитра даже для его прозорливости. Большинство охотников за золотом, по-видимому, высказывалось за «Русскую Боярышню», которая была самой грациозной во всем зале, а потому не могла быть не кем иным, кроме Фреды Молуф.

Во время кадрили разразилась буря восторга. Наконец-то ее открыли! На прежних балах, во время grand-rond, Фреда исполняла неподражаемое па с одной ей доступной вариацией. Когда объявили эту фигуру, «Русская Боярышня» выполнила это единственное в своем роде ритмическое движение. Целый хор возгласов («я же вам говорил!») потряс могучие стропила крыши… как

вдруг заметили, что «Северное Сияние» и еще одна маска, под названием «Дух Полюса», исполнили па так же хорошо. А когда два близнеца — «Собаки Солнца» и «Королева Мороза» сделали то же, весовщику дали еще одного помощника.

Бэттлс ворвался прямо со снежной тропы в самый разгар возбуждения и налетел на них, как зимний ураган. Его оттаявшие брови превратились в водопады; его обледенелые усы, казалось, были унизаны брильянтами и отражали свет радужными лучами, а пляшущие ноги скользили по ледышкам, приставшим к его мокасинам и немецким носкам. Северный танец — нечто совершенно непринужденное, ибо люди со снежных троп и приисков потеряли всякую разборчивость, если она когда-либо у них была. Только в высшем чиновничьем кругу условности еще сколько-нибудь соблюдались. Здесь же кастовые различия потеряли всякое значение. Миллионеры и нищие, погонщики собак и полисмены брались за руку с «дамами из центра» и кружились в хороводе, выкидывая самые замечательные коленца. Примитивные в своих удовольствиях, буйные и неотесанные, они проявляли не грубость, а скорее неуклюжее рыцарство, столь же подлинное, как и самая

утонченная вежливость.

В поисках греческой танцовщицы Кол Галбрэт устроился так, чтобы попасть в одну группу с «Русской Боярышней», на которую пало всеобщее подозрение. Но после того как он протанцевал с ней один круг, он готов был побиться об заклад на все свои миллионы не только, что она не Фреда, но и что рука его когда-то уже лежала на ее талии. Где и когда, — этого он сказать не мог. Но интригующее чувство чего-то знакомого так его мучило, что он обратил все свои старания на выяснение ее личности. Мельмут Кид, по его мнению, сделал бы лучше, если бы ему в этом помог, вместо того чтобы пригласить «Боярышню» на несколько туров и говорить ей что-то серьезное заглушенным голосом. Но усерднее всех ухаживал за «Русской Боярышней» Джэк Харрингтон. Один раз он отвел Кола Галбрэта в сторону, принялся строить самые дикие догадки относительно того, кто она такая, и утверждал, что он выиграет. Это раззадорило короля Серкл-Сити, ибо мужчина по природе своей — не одноженец, и он позабыл сразу о Мэдилайн и о Фреде для новых поисков.

Вскоре распространилась весть, что «Русская Боярышня» — не Фреда Молуф. Интерес возрастал. Дело становилось загадочным. Они знали

Фреду, хоть и не могли ее найти. Здесь же было нечто, что они нашли, но чего не знали. Даже женщины не могли ее распознать, а они знали каждую хорошую танцовщицу в городе. Многие принимали ее за даму из чиновничьего круга, решившуюся на безумную эскападу. Некоторые утверждали, что она исчезнет перед тем, как начнут снимать маски. Другие были в такой же мере уверены, что это репортерша канзасской газеты «Звезда», приехавшая описать их за девяносто долларов со столбца. А весовщики неустанно работали.

В час ночи все пары собрались в зал. Маски стали снимать среди взрывов веселья и смеха, точно в толпе беззаботных детей. Не было конца охам и ахам, когда поднималась маска за маской. «Северное Сияние» оказалось коричневой негритянкой, доход которой от стирки белья достигал пятисот долларов в месяц. Близнецы «Собаки Солнца» обнаружили усы на своих верхних губах и были опознаны: они оказались братьями — владельцами крупных приисков на Эльдорадо. Медленнее других размаскировывалась пара — Кол Галбрэт и «Дух Полюса». Напротив них стоял Джэк Харрингтон с «Русской Боярышней». Все уже сняли маски, а греческой танцовщицы все

еще не было. Все взоры обратились на эту группу. Кол Галбрэт в ответ на крики толпы поднял маску своей дамы. Прекрасное лицо и блестящие глаза Фреды засияли перед ними. Поднялась буря, но скоро утихла благодаря захватывающей таинственности «Русской Боярышни». Ее лицо все еще было закрыто, и Джэк Харрингтон боролся с ней. Танцоры от возбужденного ожидания хихикали и поднимались на цыпочки. Он резко дернул ее за изящную маску, и тогда… тогда раздался взрыв негодования со стороны веселящихся. Над ними подшутили. Они протанцевали весь вечер с туземкой, на которой лежало табу.

Но те, кто ее знал (а их было немало), быстро положили этому конец, и в зале воцарилось молчание. Кол Галбрэт подошел к Мэдилайн большими шагами и сердито заговорил с ней на чинукском жаргоне. Но она сохранила спокойствие, по-видимому позабыв о том, что являлась мишенью всех взглядов, и отвечала ему по-английски. Она не выказывала ни страха ни гнева, и Мельмут Кид трясся от удовольствия при виде ее благовоспитанной уравновешенности. Король чувствовал, что он высмеян, разбит наголову; его вульгарная сивашская жена переросла его.

— Пойдем, — наконец сказал он. — Пойдем

домой!

— Извини, — отвечала она, — но я обещала поужинать вместе с мистером Харрингтоном. А кроме того, ведь и танцы еще не кончились.

Харрингтон предложил ей руку, чтобы увести ее. Она выказывала явное намерение повернуть супругу спину, а в это время Мельмут Кид придвинулся ближе. Король Серкл-Сити был огорошен. Дважды его рука протянулась к поясу, и дважды Кид наклонялся, готовясь к прыжку. Но уходящая пара безопасно добралась до двери в столовую, где устрицы продавались по пяти долларов за порцию. Толпа вздохнула, разбилась на пары и последовала за ними. Фреда надулась и вошла в столовую вместе с Колом Галбрэтом. Но у нее было доброе сердце и хорошо подвешенный язык, и она стала раскрывать для него устрицы. Что она говорила — это неважно. Но его лицо попеременно то бледнело, то краснело, и он несколько раз свирепо выругал самого себя.

В столовой поднялся настоящий содом от криков и шума, но сразу прекратился, когда Кол Галбрэт подошел к столу своей жены. С момента, когда маски были сброшены, многие держали пари на кругленькие суммы, чем все это кончится. Все наблюдали с интересом, затаив дыхание.

Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисавшей скатертью на коленях у него покоился «Смит-Вессон». Мэдилайн подняла глаза случайно, без всякого любопытства.

— Могу я… могу я просить вас на следующий танец? — пролепетал король.

Жена короля бросила взгляд на свой наряд и кивнула головой.

Северная Одиссея

I

Сани пели свою вечную жалобную песню вместе со скрипом сбруи и дребезжанием колокольчика вожаков, но люди и собаки были утомлены и не издавали ни звука. Тропа была покрыта свежевыпавшим снегом. Они уже отъехали далеко, а между тем собаки, нагруженные камнеподобными кусками замороженной оленины, упорно прижимались к непротоптанной поверхности и не отставали с чисто человеческим упрямством. Тьма уже спускалась, но нечего было и думать о разбивке лагеря на эту ночь. Снег мягко падал сквозь неподвижный воздух — не хлопьями, а мелкими замерзшими кристаллами изящной формы. Было очень тепло — не больше десяти градусов ниже нуля, — и люди чувствовали себя хорошо. Мейерс и Бэттлс подняли наушники, а Мельмут Кид снял варежки.

Собаки уже днем были утомлены, но теперь они стали обнаруживать новую силу. Самые коварные из них стали проявлять какое-то беспокойство и протестовать против уз упряжи.

Они сопели, навострили уши и злились на своих более флегматичных братьев, подгоняя их многочисленными легкими укусами в зад. Те, словно дети, заражались их беспокойством и помогали распространять эту заразу дальше. Наконец вожак передних саней испустил резкий радостный крик, глубже вошел в снег и налег на ошейник. Остальные собаки последовали за ним. Постромки натянулись, санки понеслись вперед, а люди напирали на шесты и ускоряли бег, чтобы не попасть под ноги вьючных псов. Усталости целого дня словно и не было, и они стали криками подгонять собак. Животные отвечали радостным лаем. Они неслись сквозь сгущавшуюся тьму шумным галопом.

«Джи! Джи!» — кричали люди по очереди, когда их сани, наклоняясь, как корабли под ветром, свернули с тропы.

Затем — еще пробег в сто ярдов до затянутого пергаментом, освещенного окна, которое рассказывало свою сказку о родной хижине, о потрескивании юконской печки и дымящихся котелках с чаем. Но хижина подверглась нашествию. Около шестидесяти собачьих глоток зарычали угрожающим хором, и столько же мохнатых тел бросилось на собак, везших первые

сани. Дверь распахнулась, и человек, одетый в пурпурную форму северо-западной полиции, по колено вошел в гущу рассвирепевших животных, спокойно рассыпая успокоительные удары тяжелым концом хлыста. После этого люди пожали друг другу руки; таким образом Мельмут Кид был встречен в своей собственной хижине чужим человеком.

Стэнли Принс, который должен был его встретить — а на нем лежала обязанность заботиться об упомянутой выше юконской печи и горячем чае, — хлопотал вокруг гостей. Их было что-то около дюжины, — совершенно неописуемая толпа, едва ли не самая странная, когда-либо служившая королеве для охраны законности и перевозки почты. Все они были самого различного происхождения, но совместная жизнь создала из них единый тип — тип сухой и жилистый, с мускулами, развившимися на снежных тропах, с обожженными лицами и невозмутимыми душами, глядевшими прямо вперед ясным и неуклонным взором. Они ездили на собаках королевы, вселяли страх в душу ее врагов, ели ее скудный рацион — и были счастливы. Они жили подлинной жизнью, совершали подвиги, переживали романтические приключения, сами

о том не зная.

И чувствовали они себя совсем как дома. Двое из них растянулись на койке Мельмут Кида, распевая песенки, которые пели их французские предшественники в те дни, когда они впервые вступили на Северо-Западную землю и женились на индианках. Койка Бэттлса подверглась такому же нашествию, и три-четыре дюжих «гостя» уместились с ногами на его одеялах, слушая рассказ одного, который служил в речной бригаде под начальством Уолслея, когда тот пробивал себе путь в Хартум. А когда он кончил, один ковбой стал рассказывать о дворах и королях, о лордах и леди, которых он видел, когда Бэффало-Билль совершал турне по европейским столицам.

В углу двое метисов — бывшие товарищи по проигранной кампании — чинили сбрую и говорили о временах, когда Северо-Запад горел огнем восстания и Льюис Риль был королем.

Грубые остроты и еще более грубые шутки летели от одного к другому, а о великих опасностях на тропах и реках говорили как о вещах обыденных только для того, чтобы вспомнить о каком-нибудь юмористическом замечании или забавном происшествии. Принс увлекся этими неувенчанными героями, свидетелями того, как

делалась история, — людьми, которые принимали все великое и романтическое как слишком обычное и повседневное. Он угощал их своим драгоценным табаком с беспечной расточительностью, и падали ржавые цепи с воспоминаний, и воскрешались специально для него давно забытые странствия.

Когда разговор замер и путники, набив последние трубки, развернули туго скрученные спальные мешки, Принс обратился к своему товарищу за дальнейшими справками.

— Кто такой ковбой, ты знаешь, — отвечал Мельмут Кид, принимаясь за развязывание своих мокасинов. — Нетрудно также обнаружить британскую кровь в его соседе по постели. Что же касается остальных, то все они — дети прежних «coureurs du bois», смешанных с бог знает сколькими другими кровями. Те двое у двери принадлежат к поколению метисов времени усмирения. Этот парень, опоясанный шерстяным шарфом, — обрати внимание на его брови и скулы, — явный шотландец, выросший в дымном жилище своей матери. А тот красивый малый, что подложил куртку под голову, — это французский метис, — ты слышал его говор? Видишь ли, когда метисы восстали под предводительством

Риля, тогда чистокровки держались в стороне, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— А что представляет собой этот мрачный парень там у печки? Я готов поклясться, что он не говорит по-английски. Он весь вечер не раскрывал рта.

— Ошибаешься: он неплохо знает английский. Следил ли ты за его глазами, когда он слушал? Я следил. Но остальным он ни сват ни брат. Когда они говорили на своем patois, можно было видеть, что он ничего не понимает. Я и сам ума не приложу, кем бы он мог быть. Давай попытаемся узнать.

— Подбросьте-ка парочку поленьев в печку! — крикнул Кид, возвысив голос и глядя прямо на того, о ком шла речь.

Тот немедленно повиновался.

— В него где-то вколотили дисциплину, — заметил Принс тихо.

Мельмут Кид кивнул головой, снял носки и стал пробираться к человеку, лежавшему у печки. Там он повесил свою влажную обувь среди двух десятков таких же пар.

— Когда вы думаете прибыть в Даусон? — спросил он испытующе.

Человек несколько мгновений изучал его,

прежде чем ответить:

— Говорят, семьдесят миль. Так? Ну, стало быть, дня через два.

Можно было заметить лишь весьма слабый иностранный акцент, но не было ни неуверенности, ни нехватки в словах.

— Бывали вы прежде в этих местах?

— Нет.

— Северо-Западная Территория?

— Да.

— Родились там?

— Нет.

— Ну так где же, черт возьми, вы родились? Вы не из этих?

Мельмут Кид показал жестом на всех погонщиков и на обоих полисменов, улегшихся на койке Принса.

— Откуда вы взялись? Я видел такие лица, как ваше, но никак не могу припомнить, где.

— Я знаю вас, — сказал тот вместо ответа, переводя разговор на другое.

— Каким образом? Видели меня когда-нибудь?

— Нет. Ваш товарищ, тот священник в Пэстилике, много времени тому назад. Он спросил меня, видел ли я вас — Мельмут Кида. Он дал мне пищу. Слышали вы от него обо мне?

— О! Вы тот парень, который обменял шкурки выдры на собак?

Человек кивнул головой, вытряхнул свою трубку и показал свое нежелание продолжать беседу тем, что завернулся в свой мех. Мельмут Кид погасил жировую лампу и полез под одеяло, рядом с Принсом.

— Ну! Кто же он такой?

— Не знаю. Каким-то образом замял разговор и замкнулся, как раковина. Но все же это парень, достойный твоего любопытства. Я слыхал о нем. Все побережье дивилось на него лет восемь тому назад. Есть в нем, знаешь, что-то таинственное. Он пришел с Севера в середине зимы, пройдя много миль вдоль Берингова моря, и спешил так, точно дьявол гнался за ним по пятам. Никто не слыхал, откуда он пришел, но, должно быть, он явился издалека. Он был страшно утомлен, когда получил пищу от шведского миссионера в Заливе Головина, и осведомился о дороге на юг. Мы слышали об этом после. Затем он покинул береговую полосу и направился прямо через Нортон-Сунд. Ужасная погода, снежные бураны и сильные ветры; но он пробрался там, где тысяча других не могла не погибнуть. Он пропустил стоянку св. Михаила и добрался до Пэстилика. Потерял все,

кроме двух собак, и почти умирал от голода.

Он так спешил дальше, что отец Рубо снабдил его провизией, но не мог дать ему собак, ибо сам только и ждал моего приезда, чтобы отправиться в путь. Мистер Улисс был слишком умен, чтобы пуститься в дорогу без животных, и рыскал по окрестностям в течение нескольких дней. У него в санях лежал тюк великолепно выделанных шкурок выдры, — знаешь, морской выдры, которая идет на вес золота.

В Пэстилике жил старый Шейлок, русский купец, у которого было несколько собак, годных для живодерни. Торговались они недолго, но когда чужак снова отправился на юг, перед ним бежала большая свора собак. Мистер Шейлок приобрел шкуры. Я видел их, они великолепны. Мы вычислили и определили, что он заработал на собаках не меньше пятисот долларов за каждую. И это не потому, чтобы иностранец не знал цен на морскую выдру; он — индеец особого сорта, и немногое сказанное им показывает, что он повертелся среди белых.

После того как лед сошел с морских берегов, пришла весть с острова Нунивака, что он заезжал туда за провиантом. Затем он исчез из виду, и теперь я впервые за восемь лет слышу о нем. Итак,

откуда он приехал? И что там делал? И почему оттуда уехал? Он — индеец; был он неизвестно где; он научился дисциплине, необычной для индейца. Вот еще одна загадка Севера, которую тебе предстоит разгадать, Принс.

— Большое спасибо. Но у меня и без того довольно дела, — отвечал тот.

Мельмут Кид уже заснул и тяжело дышал, а молодой горный инженер вперил взор прямо в темноту и ждал того странного возбуждения, которое всегда приходило перед тем, как он впадал в забытье. И когда он, наконец, заснул, его мозг продолжал работать, и он, по своему желанию, тоже совершал путь сквозь белую неизвестность, пробивался вместе с собаками по бесконечным тропам и видел людей, живущих, трудящихся и умирающих, как и подобает людям.

На следующее утро, за несколько часов до зари, погонщики и полисмены двинулись в Даусон. Но власти, следящие за интересами ее величества и управляющие судьбами самых незначительных ее подданных, не дали почтарям отдохнуть. Через неделю они появились на реке Стюарт, нагруженные письмами для Соленых Вод. Собаки их, правда, были заменены свежими, но все же это были только собаки.

Люди надеялись на какое-нибудь убежище, где бы они могли отдохнуть. Кроме того, Клондайк был новой частью Севера, и им хотелось хоть краем ока взглянуть на Золотой Город, где драгоценный песок струился рекой и танцевальные залы чуть не рушились от непрерывных кутежей. Но они сушили свои носки и курили вечерние трубки с тем же увлечением, что и при первом посещении; только кое-кто из более дерзких носился с мыслью о дезертирстве и возможности перейти черзв неисследованные Скалистые горы на восток, а там по долине реки Маккензи достигнуть знакомой местности около Чипеуайэна. Двое-трое даже решили вернуться к себе домой по этой дороге, когда истечет срок их службы. И они принялись строить планы на будущее, обдумывая это рискованное предприятие, как горожанин обдумывал бы воскресную прогулку за город.

Человек со шкурками выдры казался очень взволнованным, хотя почти не принимал участия в дискуссии; наконец он отвел в сторону Мельмут Кида и некоторое время говорил с ним шепотом. Принс бросал в их сторону любопытные взоры, но тайна еще более сгустилась, когда оба они надели шапки и варежки и вышли за дверь.

Когда они вернулись, Мельмут Кид поставил на стол весы, отвесил шестьдесят унций золота и переложил их в мешок чужеземца. Затем к ним присоединился начальник погонщиков, и с ним заключили какую-то сделку. На следующий день отряд ушел вверх по реке, но человек с выдрами захватил несколько фунтов провизии и повернул назад, в сторону Даусона.

— Я не знал, что мне делать, — сказал Мельмут Кид в ответ на расспросы Принса. — Бедняга по той или иной причине хотел бросить службу, — по-видимому, это было для него весьма важно, хотя он и не говорил, в чем дело. Видишь ли, это так же, как в армии: он подписал контракт на два года, и единственное средство избавиться — это откупиться. Он не мог дезертировать и затем жить тут, а ему почему-то приспичило остаться в этой местности. Он сказал, что решился на это, когда попал в Даусон. Но никто его не знает, у него нет ни цента за душой, и я — первый человек, с которым он перемолвился словом. Поэтому он переговорил с вице-губернатором и условился с ним на тот случай, если он получит от меня денег… взаймы, понимаешь. Он сказал, что уплатит в течение года и, если я захочу, поведет меня на богатейшее место. Он его еще не видел, но знает,

что оно богатое.

Вот поди ж ты! Когда он вышел со мною на двор, он чуть не плакал. Клянчил и уговаривал, ползая передо мною по снегу, пока я его не поднял; болтал, как сумасшедший. Клялся, что он добивался этой цели много-много лет и теперь не может вынести разочарования. Я спрашивал, какая это цель, но он не хотел говорить. Он сказал, что они могут перевести его на другой участок санного пути, так что он попадет в Даусон только через два года, а тогда будет слишком поздно. Никогда в жизни не видел, чтобы человек так себя вел. А когда я согласился помочь ему, мне опять пришлось тащить его из снега. Я велел ему смотреть на это как на продовольственный вклад в его дело. Ты думаешь, он согласился на это? Нет, сударь! Он клялся, что отдаст мне все, что найдет; сделает меня богаче, чем может вообразить самый жадный человек… и тому подобные пустяки. Обычно человеку, который вкладывает свою жизнь и свой труд взамен материального вклада, очень трудно бывает расстаться даже с половиной того, что он нашел. За этим что-то скрывается, Принс, заметь себе это. Мы еще услышим о нем, если он останется в здешних местах…

— А если не останется?

— Тогда мое добродушие будет посрамлено, и я потеряю шестьдесят с лишним унций.

Вместе с долгими ночами пришла и стужа, и солнце начало свою старую игру в прятки вдоль южной снеговой линии, прежде чем пришли какие-либо вести о вкладе Мельмут Кида.

Но вот в одно темное утро, в начале января, тяжело нагруженная собачья запряжка подкатила к его хижине на низовьях реки Стюарт. Человек с выдрами явился, а рядом с ним шел другой — из тех, способ отливки которых боги теперь уже позабыли. Люди никогда не говорили о смелости и удаче, чтобы не назвать имени Акселя Гундерсона; ни один рассказ у лагерного костра о силе, выдержке и отваге не обходился без упоминания о нем. А когда разговор начинал угасать, его снова раздували рассказами о женщине, которая делила с ним судьбу.

Как уже замечено, при создании Акселя Гундерсона боги вспомнили свою прежнюю сноровку и сработали его по типу тех людей, которые рождались во дни молодости вселенной. Ростом в семь футов, он возвышался, подобно башне, в своем живописном костюме, сразу обличавшем в нем короля Эльдорадо: грудью, шеей и конечностями он напоминал исполинов. Для того, чтобы вы-

держать триста английских фунтов его костей и мускулов, лыжи его должны были быть на добрый ярд длиннее, чем у прочих людей. Лицо его, грубо обтесанное, с наморщенным лбом и массивными скулами, с немигающими бледно-голубыми глазами, само рассказывало о человеке, не знавшем никакого другого закона, кроме закона силы. Покрытые ледяными инкрустациями волосы его, цвета спелой ржи, точно дневным светом озаряли ночь и волною падали на его медвежью куртку. Морской навык смутно чувствовался в его походке, когда он опускался по узкой тропе, перегоняя собак; и он ударил рукоятью хлыста в дверь Мельмут Кида, словно северный морской король, во время набега на южные земли властно требующий пропуска в замок.

Принс засучил рукава на своих женственных руках и месил кислое тесто, непрестанно бросая взгляды на трех гостей — таких гостей, какие вряд ли еще когда-либо приходили под чей-нибудь кров. Чужеземец, которого Мельмут Кид прозвал Улиссом, все еще интриговал его; но главный его интерес теперь сосредоточивался на Акселе Гундерсоне и его жене. На ней отразился день, проведенный в пути, ибо она изнежилась в уютных хижинах с тех пор, как

ее муж разбогател, — и теперь она устала. Она отдыхала, прислонившись к его огромной груди, как стройный цветок к стене, лениво отвечая на добродушное подшучивание Мельмут Кида и приводя кровь Принса в странное волнение случайным взглядом своих глубоких темных глаз. Ибо Принс был молод и здоров, и долгие месяцы почти не видел женщин. А она была старше его и к тому же индианка. Но она не походила на тех туземных женщин, с какими он встречался: она много путешествовала, побывала, между прочим, и в его городе, как он понял из разговора, знала много из того, что знали женщины его расы, и еще много такого, чего они, естественно, знать не могли. Она могла состряпать блюдо из провяленной на солнце рыбы или устроить постель на снегу; а наряду с этим мучила их танталовыми муками, подробно рассказывая о тонких обедах, и вызывала странную тоску в их желудках упоминанием о некоторых яствах, которые почти изгладились у них из памяти. Она знала нравы северного оленя, медведя и маленького голубого песца, а также диких амфибий северных морей. Она искусилась в мудрости лесов и потоков, и повесть, начертанная людьми, птицами и зверями на нежной корочке снега, была для нее откры-

той книгой; и при всем том Принс мог уловить одобрительное подмигивание, когда она прочла устав лагеря. Эти правила были сочинены неистощимым Бэттлсом в те времена, когда кровь еще кипела; они отличались своей изящной простотой и юмором. Принс всегда поворачивал их к стене перед приходом дам. Но кто мог ожидать, что эта туземная женщина?.. Ну, да теперь уже было поздно.

Так вот какова была жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава прошли по всему Северу рука об руку со славой ее мужа! За столом Мельмут Кид поддразнивал ее с фамильярностью старинного приятеля, а Принс тоже, преодолев робость первого знакомства, присоединился к нему. Но она сумела постоять за себя в неравном бою, в то время как ее муж, более туго соображающий, только одобрял ее. Он очень гордился ею: каждый взгляд его и каждое движение обнаруживали, какое важное место в его жизни она занимает. Человек с выдрами ел молча; в веселой схватке о нем позабыли, и задолго до того, как другие поели, он встал из-за стола и вышел на двор к собакам. Вскоре и его товарищи по путешествию натянули свои перчатки и «парки» и последовали за ним.

Снег не шел в течение многих дней, и сани скользили по хорошо утоптанной тропе к Юкону, точно по гладкому льду. Улисс вел первые сани; со вторыми шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мельмут Кид с желтокудрым гигантом гнали третью запряжку.

— Это только попытка, Кид, — сказал Аксель, — но я думаю, что здесь будет дело. Он никогда там не был, но рассказывает правдоподобную историю; он показал мне старую карту, о которой я слышал, когда был в Хутенэ много лет назад. Я хотел, чтобы вы пошли с нами; но он — странный человек и поклялся, что просто-напросто бросит все к черту, если еще кто-нибудь войдет в дело. Когда я вернусь, я вам первому сообщу и поставлю вашу веху рядом с моей, а кроме того, возьму вас в половинную долю при постройке поселка.

— Нет! Нет! — воскликнул он, когда тот попытался прервать. — Я веду это дело и, когда вернусь, мне потребуется два ума. Если все пойдет гладко, это будет второй Крипль-Крик. Слышите, человече? Второй Крипль-Крик! Это не песчаный прииск, понимаете, а кварц, и если мы будем правильно его разрабатывать, мы его используем весь — миллион за миллионом. Я и прежде слыхал об этом месте, да и вы слыхали. Мы построим

город… тысячи рабочих… хорошие водные пути… пароходные линии… товарное движение… пароходы местного сообщения… быть может, железная дорога… лесопилки… электрическая станция… свой банк… коммерческая компания… синдикат… Тольки держите язык за зубами, пока я не вернусь.

Сани остановились там, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Широкое пространство — бесконечное снежное море — расстилалось далеко на неведомый Восток. Лыжи были сняты с саней. Аксель Гундерсон пожал руку спутникам. Его большие подбитые лыжи погружались на добрых пол-ярда в мягкую, как пух, поверхность, утаптывая снег так, чтобы собаки бежали не проваливаясь. Жена шла по следу за санями, обнаруживая большую опытность в обращении с неуклюжей обувью. Тишина нарушилась прощальными ободрениями; овчарки завизжали, и человек с выдрами своим кнутом беседовал с непокорной собакой.

Через час поезд стал походить на длинную черту, проведенную карандашом по огромному листу белой бумаги.

II

Однажды ночью, много недель спустя, Мельмут Кид и Принс занимались решением шахматных задач с разорванного листка старого журнала. Кид только что вернулся из своих владений в Бонанце и отдыхал, готовясь к долгой охоте на оленей. Принс тоже провел на россыпях и тропах почти всю зиму и изголодался по одной неделе благословенной жизни в хижине.

— Заслонись черным офицером и дай шах королю. Нет, так не выйдет. Смотри, при следующем ходе…

— Зачем выдвигать пешку на два квадрата. Ее возьмут en passant и уберут слона с дороги.

— Погоди! Образуется прорыв и…

— Нет, она защищена. Валяй! Увидишь, что выйдет.

Было очень интересно. Кто-то успел дважды постучать в дверь, пока Мельмут Кид крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и что-то ввалилось в комнату. Принс окинул это существо одним взглядом и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся в его глазах, заставил Мельмут Кида быстро повернуться. Он тоже был ошеломлен, хотя повидал на сво-

ем веку немало страшного… Существо вслепую заковыляло к ним. Принс стал пятиться назад, пока не добрался до гвоздя, на котором висел его «Смит-Вессон».

— Господи, что это такое? — шепнул он Мельмут Киду.

— Не знаю. Похоже, что с голода и от мороза… — отвечал ему Кид, отходя в противоположный конец комнаты.

— Берегись. Оно, может быть, бешеное! — предупредил он, возвращаясь на место после того как запер дверь.

Нечто подошло к столу. Яркий свет жировой лампы привлек его взор. Это его забавляло, и оно разразилось каким-то старческим кудахтаньем, очевидно, означавшим веселое настроение. Затем он — ибо это существо было мужчиной — неожиданно отклонился назад, одернул свои кожаные штаны и запел песню, которую поют матросы, вертя кабестан, в то время как море ревет им в уши.

Янки едут вниз по речке…
Двинь, ребята. Двинь, двинь!
Кто ж у них за капитана?..
Двинь, ребята. Двинь, двинь!

Донатан Джонс из Каролины…

Двинь, ребята!..

Он неожиданно умолк, проковылял с чисто волчьим рычанием к полке с мясом и, прежде чем они могли воспротивиться, вцепился зубами в кусок сырой солонины. Между ним и Мельмут Кидом завязалась свирепая борьба, но безумная сила покинула его так же быстро, как и вселилась. И он, ослабев, отдал свою добычу. Общими усилиями они усадили его на табурет, и он всем корпусом навалился на стол. Небольшая доза виски подкрепила его, так что он мог погрузить ложку в сахарницу, поставленную перед ним Мельмут Кидом. После того как он слегка утолил голод, Принс, содрогаясь, поднес ему кружку слабого мясного сока.

Глаза странного существа сверкали мрачным безумием, которое то вспыхивало, то угасало при каждом глотке. На лице его почти не было кожи. Изможденное, с провалившимися щеками, это лицо весьма мало напоминало человеческое. Мороз полосовал его, и каждое новое дыхание вечного холода оставляло на полузалеченных рубцах новый слой струпьев. Эта сухая, жесткая поверхность была кроваво-черного цвета и

изборождена болезненными трещинами, обнажавшими сырое, красное мясо. Кожаная одежда его была грязна и в лохмотьях, а опаленный и прожженный по одному боку мех показывал, что он лежал на костре.

Мельмут Кид указал на место, где выдубленная на солнце кожа была отрезана полоска за полоской — ужасный знак голодовки.

— Кто вы такой? — тихо и отчетливо произнес Кид.

Человек не обратил на это никакого внимания.

— Откуда вы идете?

— Янки едут вниз по речке, — прозвучал писклявый ответ.

— Без сомнения, бедняга пришел вниз по реке, — сказал Кид, тряся его и стараясь привести в сознание.

Но человек вскрикнул от прикосновения и прижал руку к своему боку, очевидно, от боли. Он медленно поднялся на ноги, все еще налегая на стол.

— Она смеялась надо мной… так… с ненавистью в глазах… и она… не хотела… пойти…

Его голос ослабел, и он готов был упасть навзничь, если бы Мельмут Кид не ухватил его за

руки и не прокричал:

— Кто, кто не хотел пойти?

— Она. Унга. Она смеялась и ударила меня… так и так… А потом…

— Ну?

— А потом…

— А что — потом?

— А потом он лежал совсем тихо… в снегу — долгое время… Он все еще… там… в снегу…

Кид и Принс растерянно поглядели друг на друга.

— Он — в снегу?

— Она… Унга. Она взглянула на меня с ненавистью в глазах. А потом…

— Ну, ну…

— А потом она взяла нож. Вот так… и — раз, два… Она ослабела. Я шел очень медленно. А в том месте много золота, очень много золота.

— Где Унга?

Из всего того, что Мельмут Кид узнал, можно было заключить, что она умирает где-нибудь на расстоянии мили от дома. Он дико тряс человека и раз за разом повторял:

— Где Унга? Где Унга?

— Она… в… снегу…

— Продолжайте! — Кид жестоко сжимал кисть

его руки.

— И… я… был бы… в снегу… но… я… должен был… заплатить… долг. Это — тяжело… я должен был… заплатить… долг… заплатить долг… я… должен был…

Односложный лепет прекратился, когда он порылся в кармане и вынул мешочек из лосиной кожи.

— Долг заплатить… пять фунтов… золота… за вклад… Мель… мут… Киду… я…

Истомленная голова упала на стол, и Мельмут Кид уже не мог ее поднять.

— Это Улисс, — сказал он спокойно, бросая мешочек с золотым песком на стол. — Я думаю, с Акселем Гундерсоном и его женой все кончено. Давай сунем его под одеяло. Он — индеец: выживет, а тогда расскажет еще что-нибудь.

Когда они срезали с него одежду, на груди его обнаружились две незажившие ножевые раны, нанесенные умелой рукой.

III

— Я расскажу о том, что произошло, на свой манер; но вы меня поймете. Я начну сначала и расскажу о себе и о женщине, а потом о мужчине.

Человек с выдрами перешел поближе к печке, как делают все люди, которые долго были лишены огня и боятся, что дар Прометея может исчезнуть в любой момент. Мельмут Кид усилил огонь в жировой лампе и повернул ее так, чтобы свет ее падал на лицо рассказчика. Принс перегнулся всем корпусом через край койки и тоже стал слушать.

— Я — Наас, вождь и сын вождя, рожденный между закатом и восходом, среди темных волн, в отцовском умиаке. Всю ночь мужчины работали веслами, а женщины вычерпывали волны, заливавшие нас, и мы сражались с бурей. Соленая влага замерзала на груди моей матери, пока дыхание ее не прекратилось вместе с непогодой. Но я, — я возвысил свой голос над ветром и бурей… и остался в живых. Мы жили на Акатане…

— Где? — спросил Мельмут Кид.

— Акатан, что среди Алеутских островов, — Акатан, что позади Чигника, позади Кардалака, позади Унимака. Итак, я говорю, мы жили на Акатане, что лежит посреди моря, на краю света. Мы добывали из соленого моря рыбу, нерпу и выдру, и дома наши подпирали друг друга на скалистой полосе, между опушкой леса и желтой бухтой, где лежали наши каяки. Нас было

немного, и мир был очень мал. На востоке были чужие земли, острова, подобные Акатану. И мы думали, что весь свет — одни только острова, и были спокойны.

Я не походил на людей своего племени. В песке бухты валялись искалеченные мачты и покоробленные волнами планки такого судна, каких мой народ никогда не строил. И я помню, что на самой вершине острова стояла сосна, никогда раньше не росшая там, — гладкая, прямая и высокая. Говорили, что два человека взобрались на эту вышку, повертелись вокруг нее, и много дней наблюдали смену дня и ночи. Эти два вышли из моря на той лодке, куски которой валялись в бухте. Они были белы, как вы, и слабы, как дети, когда нерпа уходит и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я знаю об этом от старых мужчин и старых женщин, которые слышали это от своих отцов и матерей. Эти чужие белые люди сначала не могли освоиться с нашими обычаями. Но затем они окрепли от рыбы и тюленьего жира и стали жестоки. И они построили себе каждый по дому и взяли себе наших женщин; и со временем пошли у них дети. Так родился тот, кто стал отцом моего отца.

Я сказал уже — я не походил на свой народ,

потому что я носил в себе чужеземную кровь тех белых людей, которые вышли из моря. Говорят, что у нас были другие законы перед приходом этих людей; но белые были жестоки и воинственны и сражались с нашими людьми до тех пор, пока у нас не стало людей, которые бы осмелились биться с ними. Тогда они сделались вождями, отняли у нас наши старые законы и дали нам новые, и человек стал сыном своего отца, а не своей матери, как было у нас в обычае. И они постановили также, чтобы первородный сын получал все, чем владел его отец, а остальные братья и сестры должны были сами зарабатывать, чтобы не умереть. И дали нам еще другие законы. Они показали нам новые способы ловить рыбу и убивать медведей, живущих глубоко в лесу, и научили нас откладывать большие запасы на случай голода. И все это было хорошо.

Но когда они стали вождями и уже не было людей, которые могли бы противостоять их гневу, тогда начали они, эти странные белые люди, сражаться друг с другом. И тот, чью кровь я ношу в себе, всадил свое длинное копье на глубину руки в тело другого. Их дети возобновили бой, и дети их детей; и была между ними большая ненависть и много черных дел еще и в мое время,

так что в каждой семье оставалось только по одному человеку, чтобы передать дальше кровь тех, что жили до него. В моем роду я был один; от другого человека оставалась только девушка, Унга, которая жила со своей матерью. Ее отец и мой отец однажды ночью, оба, не вернулись с рыбной ловли; но после они были выброшены на берег большим приливом и крепко держали друг друга в объятиях.

Народ удивился, так как была вражда между обоими домами, и старики качали головами и говорили, что вражда будет продолжаться, если от нее родятся дети и от меня родятся дети. Они твердили мне это еще в детстве, до тех пор, пока я не поверил и не стал смотреть на Унгу как на врага: ведь она должна была стать матерью детей, которые будут враждовать с моими детьми. Я думал об этом изо дня в день, и когда дорос до отроческих лет, начал спрашивать, почему это должно быть так. А они отвечали: «Мы не знаем, но так поступали ваши отцы». А я удивлялся, почему же те, что придут, должны продолжать вражду уже отошедших, и не мог найти в этом смысла. Но народ говорил, что это должно быть так, а я был только отроком.

И еще они говорили, что я должен спешить,

чтобы моя кровь была старше и окрепла прежде ее крови. Это было легко, так как я был вождем, и народ смотрел на меня снизу вверх благодаря деяниям и законам моих отцов и богатству, которым я владел.

Любая девушка пришла бы ко мне, но я не находил ни одной по сердцу. А старики и матери советовали мне торопиться, так как в это время охотники уже предлагали большую плату за Унгу, а если ее дети окрепнут раньше моих, то мои наверно умрут.

Но я все не находил девушки — вплоть до одной ночи, когда я возвращался с рыбной ловли. Солнце светило вот так низко и прямо в глаза; ветер гулял на свободе, и каяки бежали вперегонку с белыми гребнями. Как вдруг каяк Унги перегнал меня, и она поглядела на меня вот так, а ее черные волосы развевались, как ночная туча, и щеки были влажны от брызг. Как сказано, солнце светило прямо в глаза, а я был еще отроком. Но каким-то образом мне все стало ясно, и я понял, что это кровь призывает кровь. Когда она пронеслась вперед, то на расстоянии двух ударов весел она оглянулась — поглядела так, как только эта женщина, Унга, умела глядеть, — и я опять понял, что это был призыв крови. Народ закричал, когда

мы обогнали ленивые умиаки и оставили их далеко за собой. Но она быстро работала веслами, а мое сердце было как надутое брюхо паруса, и я не мог ее обогнать. Ветер становился все свежее, море все белело, и, прыгая, как тюлени, с наветренной стороны корабля, мы неслись по золотой тропинке солнца.

Наас нагнулся так, что едва не соскользнул со стула, — в позе гребца, мысленно снова переживая гонку. Где-то там, сквозь печку, видел он подпрыгивающий каяк и развевающиеся косы Унги. Голос ветра звенел у него в ушах, и запах соли освежил ноздри.

— Но она пристала к берегу и, смеясь, бежала по песку к дому своей матери. И великая мысль пришла мне в ту ночь — мысль, достойная того, кто был вождем всего акатанского народа. Поэтому, когда взошла луна, я спустился к дому ее матери и поглядел на богатства Яш-Нуша, нагроможденные перед дверью, — богатства Яш-Нуша, сильного охотника, который задумал стать отцом детей Унги. Другие молодые люди тоже сваливали там свои богатства — и затем убирали их снова; и каждый юноша приносил большую кучу, чем предыдущий.

Я же улыбнулся луне и звездам и пошел к

своему дому, где было сложено мое добро. И я нагромождал свои богатства, пока моя куча не стала на все пальцы руки выше, чем куча Яш-Нуша. Здесь была рыба, вяленая на солнце и прокопченная, и сорок тюленьих шкур, и двадцать мехов (каждая шкура была завязана у морды и туго наполнена жиром), и еще шкуры медведей, которых я убивал в лесу, когда они по весне выходили из берлог. Были тут бусы и одеяла, и красные одежды, которые я выменял у народов, живших на Востоке. И я глядел на кучу Яш-Нуша и смеялся, ибо я был вождь на Акатане, и мое богатство было больше, чем богатство всех юношей, а мои отцы совершали подвиги и давали законы и на вечные времена вложили свое имя в уста народа.

И вот, когда настало утро, я спустился к бухте, поглядывая краем ока на дом матери Унги. Мой дар еще стоял нетронутым. А женщины улыбались и говорили друг другу хитрые слова. Я удивлялся, потому что такой цены никто до сих пор не предлагал, а ночью я увеличил груду и рядом с нею положил каяк из хорошо выдубленных шкур; каяк этот никогда еще не плавал по морю. Но днем он был на месте, на посмешище всем мужчинам. Мать Унги была лукава, а я рассердился — ведь позор покрыл меня перед всем

моим народом. Итак, в эту ночь я прибавил еще, пока куча не стала огромной, и втащил на нее мой умиак. А стоил он целых двадцати каяков. И на утро груды уже не было.

Тогда я стал готовиться к свадьбе, и даже народ, живший на Востоке, прибыл на пир, когда был дан знак потлача. Унга была старше меня на четыре солнца по нашему летосчислению. Я был только отроком, но я был вождем и сыном вождя, а остальное неважно.

Но какой-то корабль показал свои паруса над гладью океана и становился все больше, по мере дыхания ветра. С его желобов стекала прозрачная вода, а люди суетились и упорно работали у насосов. На носу стоял могучий человек, следивший за глубиной воды и отдававший приказания громовым голосом. Глаза его были бледно-голубого цвета глубоких вод, а на голове — грива, как у морского льва. Волосы же его были желты, как солома на юге, или льняные веревки, которые плетут корабельщики.

В последние годы мы издали видали корабли, но это был первый, зашедший в Акатанскую бухту. Праздник прервался, женщины и дети разбежались по домам, а мы, мужчины, натянули свои луки и ждали с копьями в руках. Но когда пе-

редние лапы судна нащупали бухту, чужие люди не обратили на нас внимания и занялись своим делом. Когда прилив кончился, они накренили шхуну и зачинили большую пробоину на ее дне. Поэтому женщины снова выползли из домов, и пир продолжался.

Когда прибой опять начался, чужеземцы спустили шхуну в глубокую воду и затем присоединились к нам. Они принесли подарки и вели себя дружелюбно, поэтому я дал им место на пиру и от широты своего сердца предложил им дары, какие дарил всем гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был вождем на Акатане.

Тот, с гривой морского льва, был тоже здесь — такой высокий и сильный, что каждый ждал, не затрясется ли земля от его шагов. Он долго, не отрывая глаз, смотрел на Унгу, со скрещенными руками — вот так — и оставался с нами, пока солнце не ушло и не пришли звезды. Затем он спустился вниз, к своему кораблю. После этого я взял Унгу за руку и повел ее в свой дом. И там началось пение и великий смех, а женщины говорили хитрые слова, по обычаю женщин в такое время. Но мы не обращали внимания. Затем народ оставил нас одних и разошелся по домам.

Еще не смолк последний шум, когда вождь

чужеземцев вошел в дверь. У них были черные бутылки. Мы пили из них и развеселились. Вы понимаете, я был только отроком и прожил всю жизнь на краю света. Поэтому кровь стала, как огонь, а сердце сделалось легким, словно пена, летящая с волны на утесы. Унга сидела молча в углу среди шкур, с расширенными глазами, как кажется, от страха. А тот, с гривой морского льва, глядел на нее и долго не отрывал глаз. Затем вошли его люди с тюками товаров, и он нагромоздил передо мною такое богатство, какого не было на всем Акатане. Тут были ружья, большие и малые, порох и заряды, и раковины, и блестящие топоры, и стальные ножи, и хитрые орудия, и странные вещи, подобных которым я никогда не видел.

Когда он знаками показал мне, что все это — мое, я решил, что он великий человек, раз такой щедрый. Но он также показал мне, что Унга должна уйти с ним на его корабль. Вы понимаете? Унга должна была уйти с ним на его корабль! Кровь моих отцов вдруг закипела во мне, и я хотел пронзить его своим копьем. Но дух, сидевший в бутылках, украл силу у моих рук, и он схватил меня за шею — вот так, и ударил головой о стену дома. И я ослабел, как новорожденный ребенок,

и мои ноги не захотели больше меня держать. Унга закричала, когда он потащил ее к двери, и цеплялась руками за все вещи в доме, пока они все на нас не упали. Затем он взял ее на свои большие руки, а когда она дергала его за желтые волосы, он смеялся, как смеется самец нерпы во время течки.

Я пополз к бухте и стал созывать свой народ. Но народ боялся. Только Яш-Нуш был мужчиной, а они били его веслом по голове, пока он не упал лицом в песок и больше не двигался. И они подняли паруса под звуки своих песен, и корабль отплыл вдоль по ветру.

Народ говорил, что это хорошо, потому что не будет больше борьбы кровей на Акатане, но я не говорил ни слова, выжидая полнолуния; тогда я нагрузил свой каяк рыбой и жиром и ушел на восток.

Я видел много островов и много народов, и я, живший на краю света, узнал, что свет очень велик. Я говорил знаками, но они не видели ни шхуны, ни человека с гривою морского льва, и все время указывали на восток. И я спал в неудобных местах, и ел противную пищу, и встречался со странными людьми. Многие смеялись, потому что считали меня пустоголовым; но иногда

старые люди поворачивали мое лицо к свету и благословляли меня, а очи молодых женщин становились мягкими, когда они расспрашивали меня о чужом корабле и об Унге, и о людях с моря.

Таким путем, через грозные моря и великие бури, прибыл я в Уналаску. Там я увидел две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. Поэтому я переправился на восток, а свет становился все обширнее. И на острове Упамоке не было никакой речи о корабле, и на Кадиаке, и на Атогнаке. И так я попал однажды в скалистую землю, где люди выдалбливали в горе большие пещеры. Там была и шхуна, но не та, какую я искал, и люди нагружали ее камнями, которые они выламывали. Это мне казалось ребячеством, потому что весь свет сделан из камня; но они дали мне пищу и поставили на работу. Когда шхуна сидела глубоко в воде, капитан дал мне денег и велел уходить.

Я спросил, куда они едут, и он указал на юг. Я сделал знак, что хочу ехать с ними; он сперва посмеялся, но потом, так как людей не хватало, взял меня для помощи при корабельных работах. Так научился я говорить по-ихнему, и натягивать канаты, и сворачивать тугие паруса при внезап-

ных шквалах, и отбывать свою смену у рулевого колеса. Но это не было мне чуждо, потому что кровь моих отцов была кровью мореходцев.

Я думал, что будет легко найти того, кого я искал, раз уж я попал к его собственному народу; но когда мы однажды подъехали к берегу и плыли через узкий проход в порт, я увидел почти столько же шхун, сколько у меня пальцев на руках. Другие корабли стояли у пристаней на протяжении нескольких миль, скученные, как мелкие рыбки; а когда я пошел мимо них, расспрашивая о человеке с гривой морского льва, они смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что они прибыли из самых далеких стран.

И я пошел в город и начал смотреть в лицо каждого человека, но они были подобны треске, косяком идущей вдоль берега, и я не мог счесть их. И шум донимал меня до тех пор, пока я вовсе перестал слышать, и голова у меня закружилась от большого движения. Так шел я все дальше и дальше по землям, которые обжигали горячие лучи солнца, где богатые жатвы лежали на полях, где большие города были полны мужчинами, живущими, как женщины, с лживыми речами в устах и с сердцами, черными от жажды золота. А в это время мой народ на Акатане охотился и ло-

вил рыбу и был счастлив от мысли, что свет мал.

Но взгляд очей Унги, возвращавшейся с рыбной ловли, всегда был со мной, и я знал, что найду ее, когда придет мое время. Она шла предо мной по тропинкам сквозь вечернюю мглу или увлекала меня за собою по тучным полям, влажным от утренних рос; а глаза ее обещали так много, как может обещать только Унга — женщина.

Так обошел я тысячи городов. Иные люди были добры и давали мне пищу, иные смеялись, а иные ругали. Но я держал язык за зубами и шел по странным дорогам, и видел странные вещи. Порой я, вождь и сын вождя, работал на людей — людей с грубой речью и твердых как сталь, которые выжимали золото из пота и горя своих ближних. И все же ни слова не узнал я о том, что искал, пока не вернулся назад к морю, как тюлень к скалистому островку. Но то был другой порт, в другой стране, лежавшей к северу. И здесь я услыхал смутные рассказы о желтоволосом мореходце и узнал, что он — охотник за тюленями и что он уплыл в то время в океан.

Тогда я нанялся на тюленью шхуну вместе с ленивыми сивашами и поплыл по его непроторенному следу к северу, где охота была во всем разгаре. Мы провели в дороге много уто-

мительных месяцев и говорили со многими корабельщиками и много слышали о диких поступках того, кого я искал, но ни разу не повстречали его на море. Мы направились к северу, вплоть до островов Прибылова, и убивали тюленей в бухте целыми стадами, и втаскивали их теплые тела на корабль, пока по нашим желобам не заструились сало и кровь, и ни один человек не мог оставаться на палубе. Потом погнался за нами корабль, который стрелял в нас из больших пушек. Но мы все натягивали паруса, пока море не залило и не вымыло дочиста нашу палубу и мы не скрылись в тумане.

Говорили, что пока мы убегали со страхом в сердце, желтоволосый мореходец пристал к Прибыловым островам, прямо к фактории, а пока часть его людей справлялась со служащими Компании, остальные выгрузили со складов десять тысяч свежих шкур. Я говорю, что это слух, но я ему верю, ибо в то время, когда я странствовал по берегу, ни разу его не встречая, северные моря были полны рассказов о его необузданности и отваге, пока все три народа, чьи земли находятся в тех краях, не стали рыскать за ним на своих кораблях. И я слышал также об Унге, потому что капитаны громко восхваляли ее, и она постоянно

была с ним. Она переняла обычаи его народа, говорили они, и была счастлива. Но я знал лучше — знал, что ее сердце стремится назад к ее собственному народу у желтой бухты на Акатане.

Итак, прошло много времени, когда я вернулся к гавани, которая лежит у узкого прохода. Там я узнал: он пересек пояс великого океана, чтобы охотиться за нерпой на восток от теплой земли, что тянется к югу от русских морей. И я, успевший стать моряком, сел на корабль с людьми его племени и поехал вслед за ним на охоту за нерпой. И здесь было несколько кораблей с этой новой земли. Но мы взяли стадо тюленей с фланга и гнали его к северу в течение всей весны того года. А когда самки понесли плод и пересекали русские воды, наши люди стали роптать и очень боялись. Ибо там был туман, и каждый день люди пропадали со шлюпок. Они не хотели работать; поэтому капитан повернул корабль назад, по тому же пути, по которому приплыл.

Но я знал, что желтоволосый мореходец был бесстрашен и что он не отстанет от стада даже до русских островов, куда мало кто решается заходить. Поэтому я взял челнок и темной ночью, когда вахтенный прикорнул на фок-мачте, поплыл один к теплой, длинной земле. И я пошел

на юг, чтобы в заливе Иеддо встретить людей, необузданных и бесстрашных. И девушки в Иошиваре были малы и блестящи как сталь, и приятно было на них смотреть; но я не мог остановиться, так как знал, что Унга плывет у скалистых островов Севера.

Люди в заливе Иеддо сошлись со всех концов земли и не имели ни добра ни двора, а плавали под японским флагом. И с ними я поплыл в богатые бухты Медного острова, где наши солильни наполнялись шкурами. И в этом спокойном море мы не встретили людей, пока не были готовы к отплытию.

И вот однажды туман рассеялся от резкого ветра, и мы увидели, что на нас несется шхуна, а прямо за нею, в ее кильватере, дымящиеся трубы русского военного судна. Мы стали убегать по ветру, а шхуна подходила все ближе, подвигаясь на три фута в то время, как мы делали два. А на корме ее стоял человек с гривою морского льва и смеялся от избытка своей жизненной силы. И Унга была тут — я сразу узнал ее, но он послал ее вниз, когда над поверхностью моря заговорили пушки. Как я уже сказал, они делали три фута против наших двух, пока мы не увидели их зеленого руля, поднимавшегося при каждом прыжке. А я

стоял, шатаясь, у рулевого колеса и, обращенный спиной к русским пушкам, посылал проклятия. Ибо мы знали, что он хочет обогнать нас, чтобы удрать, пока нас поймают. И те сбивали наши мачты, пока мы не стали носиться по воле ветра, как раненая чайка. А он ушел за полосу горизонта — он и Унга.

Что могли мы сказать? Свежие шкуры сами за себя говорили. Поэтому они повезли нас в русский порт, а затем в глухую местность, где заставили нас работать в соляных копях. И некоторые умерли, а некоторые… не умерли.

Наас стянул одеяло со своих плеч, обнаруживая рубцеватую и корявую кожу, отмеченную легко узнаваемыми следами кнута. Принс поспешно прикрыл его, ибо смотреть на это было не очень приятно.

— Тяжело было нам жить там; иногда люди убегали на юг, но всегда возвращались. Поэтому, когда мы, пришедшие из Иеддо, поднялись ночью и отняли у стражи ружья, — мы двинулись на север. И земля эта была очень обширна, с равнинами, окруженными водой, и большими лесами. И пришли холода, и почва покрылась снегом, а никто из людей не знал дороги. Много утомительных месяцев мы странствовали по бескрайнему

лесу… Я теперь уже не помню, потому что пищи было мало, и мы часто ложились, чтобы умереть. Наконец мы дошли до холодного моря, но только троим из нас довелось взглянуть на него. Один, выехавший из Иеддо, был капитаном, и он знал наизусть расположение больших земель и того места, где люди могут переправляться из одной земли в другую по льду. И он повел нас… я не знаю как… это продолжалось так долго… пока осталось только двое. Когда же мы пришли к тому месту, то нашли пятерых из того чужого народа, который живет в той местности, и у них были собаки и шкуры; а мы были очень бедны. Мы сражались в снегу до тех пор, пока они умерли и капитан умер, а шкуры и собаки стали моими. Тогда я перебрался по льду, который уже вскрывался, и некоторое время плавал на льдине, пока западный ветер не вынес меня к берегу. Затем — залив Головина, Пэстилик и священник… А там — на юг, на юг, к теплым солнечным странам, где я странствовал раньше.

Но море больше не приносило выгоды, и те, кто плавал за нерпой, получали мало прибыли при большом риске. Команды рассеялись; капитаны и матросы больше не говорили ничего о тех, кого я искал. Поэтому я удалился от океана,

никогда не отдыхающего, и остался на суше, где деревья, дома и горы всегда сидят на одном месте и не двигаются. Я путешествовал далеко и узнал много вещей и даже способ писать и читать по книгам. Это хорошо, что я так делал, так как мне думалось, что Унга, должно быть, знает все это, и что я когда-нибудь, когда придет время… мы… вы понимаете… когда придет время.

Так я блуждал, как те маленькие рыбки, которые распускают парус по ветру, но не могут управлять рулем. Мои глаза и уши всегда были открыты, и я бывал среди людей, которые много путешествуют, ибо я знал, что им стоило только увидеть тех, кого я искал, чтобы сохранить их в памяти.

Под конец пришел человек, только что сошедший с гор, с обломками скалы, в которых золото лежало кусками величиной с горошины. И он слышал, он встречал, он знал их. Они были богаты, говорил он, и жили в том месте, где вытаскивали золото из земли.

Это было в дикой стране и очень далеко; но со временем я пришел в лагерь, скрытый между гор, где люди работали день и ночь, далеко от взгляда солнца. И все же время еще не пришло.

Я прислушивался к разговорам. Он уехал — они

уехали, как говорили, в Англию, чтобы объединить людей с большими деньгами — образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он больше походил на старый замок. Ночью я влез через окно, чтобы видеть, как он с ней обращается. Я ходил из комнаты в комнату, и мне казалось, что так должны жить короли и королевы — так все было хорошо. И все они говорили, что он обращается с нею, как с королевой, а многие недоумевали, из какого же она племени, потому что в жилах ее текла другая кровь и она отличалась от акатанских женщин; но никто не знал, кто же она. Да, она была королевой. Но я был вождем и сыном вождя, и я заплатил за нее несчетнное количество шкур, лодок и бус.

Но зачем столько слов? Я был моряк и знал пути кораблей по морю. Я последовал за ними в Англию и затем в другие страны. Иногда я слышал о них рассказы, иногда читал в газетах. Но ни разу я не мог приблизиться к ним, потому что у них было много денег, и они ездили быстро, а я был беден. Затем их постигла неудача, и богатство ускользнуло от них, как завитушка дыма. Газеты в то время были полны этим; но потом о них уже ничего не стало слышно, и я узнал, что они вернулись туда, где еще можно было добывать

золото из земли.

Они были выброшены из мира, ибо теперь были бедны. Так странствовал я от лагеря к лагерю на север, до самого Кутенэ, где напал на след: они приходили и уходили, одни говорили — туда, другие — сюда; наконец, третьи сказали, что они пошли к побережьям Юкона. И я пошел по той и той дороге, все время переходя с места на место, так что, казалось, мне должен надоесть мир, который так велик. Но в Кутенэ я шел с одним метисом из северо-западных земель по скверной тропе, по длинной тропе… Метис был близок к смерти, когда настала голодовка. Он прежде ходил на Юкон по неизвестному пути через горы, и когда почувствовал, что его час приближается, он дал мне карту и открыл тайну одного места, и поклялся своими богами, что там много золота.

Затем люди толпами потянулись на север. Я был бедным человеком, я продал себя в погонщики собак. Остальное вы знаете. Я встретил его и ее в Даусоне. Она не узнала меня, ибо я в те времена был отроком, а ее жизнь с тех пор была такова, что у нее не было времени вспоминать о том, кто заплатил за нее неслыханную цену.

Ну, хорошо. Вы выкупили меня со службы. Я вернулся, чтобы повести дело по-своему. Ибо я

долго ждал, и теперь, когда он был у меня в руках, мне было не к спеху. Как сказано, я имел в виду повести дело по-своему, так как я перечитывал свою жизнь и вспоминал холод и голод в бесконечном лесу у русских морей. Как вы знаете, я повел его на восток — его и Унгу — на восток, куда многие уходили, но откуда мало кто возвращался. Я повел его на урочище, где кости и проклятия людей лежат подле золота, которое им не досталось.

Путь был долог, и тропа не протоптана. Наши собаки были многочисленны и много ели. И сани наши не могли служить нам после наступления весны. Мы должны были вернуться раньше, чем тронется река. Поэтому мы то там, то тут зарывали припасы, чтобы облегчить свои санки и устранить опасность голодовки на обратном пути. В Мэк-Квестшене было три человека, и около них мы устроили кладовую; так же мы поступили в Майо, где помещался охотничий лагерь с дюжиной жителей Пелли, перебравшихся через горы с юга. После этого, идя все дальше на восток, мы уже не встречали людей. Только спящая река, неподвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как сказано, путь был долог, и тропа не протоптана. Иногда мы делали не более восьми или

десяти миль в день, а ночью спали как убитые. И ни разу им не пришло в голову, что я — Наас, вождь Акатана, судья беззаконных.

Теперь мы рыли маленькие ямы для провианта, и легко было ночью возвращаться по протоптанному следу и менять их место так, что можно было подумать, будто припасы расхищены росомахами. Затем еще есть места, где река образует пороги: там вода своевольна и сносит лед, и съедает его ниже по течению. На таком месте сани, которые я вел, провалились, и собаки тоже; а он и Унга думали, что это несчастный случай — и ничего больше. А на санках было много провизии; там же были самые сильные собаки. Но он смеялся, так как жизнь в нем была сильна, и давал мало пищи остальным псам, пока нам не пришлось вырезать их из упряжки одного за другим, и кормить ими их же товарищей. «Мы пойдем домой налегке, — говорил он, — переходя от ямы к яме без саней и собак». Это было правильно, так как провизия у нас почти истощилась, и последняя собака издохла в упряжке в ту самую ночь, когда мы добрались до золота и до человеческих костей и проклятий.

Чтобы достигнуть этого места — карта говорила правду — в сердце великих гор, — мы должны

были выдалбливать во льду ступени по отвесной скале. Мы искали позади ее долину, но долины не было. Снег расстилался далеко — гладкий, как большие хлебородные равнины, и повсюду вокруг нас могучие горы просовывали свои белые главы между звездами. И в середине этого странного плоскогорья, которое должно было быть долиной, земля и снег круто спускались вниз, к самому сердцу земли. Если бы мы не были моряками, наши головы закружились бы; но мы стояли на краю бездны и искали способа спуститься в нее. И вот, с одной стороны — с одной только стороны, стена обвалилась так, что спуск походил на наклон палубы во время кормовой качки. Я не знаю, почему это случилось, но это было так.

«Это пасть ада, — сказал он. — Давайте спустимся вниз».

И мы спустились. А на дне оказалась хижина, построенная каким-то человеком, из бревен, которые он накидал туда сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали в ней поодиночке в разные времена, и на кусках березовой коры, которые валялись там, мы прочитали их последние слова и проклятия. Один умер от цинги; у другого товарищ похитил последнюю пищу и порох и

тайно бежал; третий был изувечен лысомордым медведем; четвертый охотился за добычей и умер с голоду и т. д. Они не хотели покинуть золота — и умерли подле него. А бесценное золото, которое они собрали, желтело на полу хижины, словно в волшебном сновидении.

Но душа у него была тверда и разум ясен — у того человека, которого я завел так далеко. «У нас нечего есть, — сказал он, — мы только посмотрим на это золото, откуда оно берется и много ли его здесь. Затем мы быстро уйдем, раньше чем оно ослепит нас и украдет разум. Таким образом, мы сумеем когда-нибудь вернуться сюда с большим запасом пищи и завладеть всем».

Поэтому мы осмотрели большую жилу, проходившую по стене колодца, как подобает настоящей жиле; и мы измерили ее, и проследили ее сверху донизу, и всадили вехи для заявки, и пометили их в знак нашего права. Тогда, с коленями, дрожащими от голода, со слабостью в желудках и с сердцами, готовыми выпрыгнуть через рот, вскарабкались мы в последний раз по отвесной стене и повернули обратно.

На последнем перегоне мы волокли Унгу и часто падали, но, наконец, достигли ямы с провизией. И вот… там провизии не было. Это было

ловко сделано, потому что он подумал, что это росомахи; и он проклял их и своих богов. Но Унга была смела и положила свою руку в его, так что я отвернулся, чтобы сдержать свое сердце. «Мы отдохнем у костра, — сказала она, — до утра, и наберем силы из своих мокасинов». Поэтому мы разрезали верхние края наших мокасинов на узкие полоски и варили их полночи, чтобы разжевать и проглотить их. А наутро мы заговорили о нашей судьбе. Ближайшая яма была в пяти днях пути. Мы не могли до нее добраться. Нам нужно было найти добычу.

«Мы пойдем на охоту», — сказал он.

«Да, — сказал я, — мы пойдем на охоту».

И он решил, чтобы Унга оставалась у костра и берегла силы. И мы ушли: он — на поиски оленя, а я — к тому месту, куда я перенес провизию. Но я ел мало, чтобы они не заметили во мне большой силы. А к вечеру он много раз падал по пути в лагерь. А я притворялся, что очень страдаю от усталости, спотыкаясь на своих лыжах, точно каждый шаг был моим последним шагом. И мы набирались силы у своих мокасинов.

Он был великий человек. Его душа поддерживала его тело до последнего часа. И он не плакал громко, разве только о судьбе Унги.

На второй день я последовал за ним, чтобы не пропустить конца. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он чуть не умер; но наутро слабо выругался и снова вышел на охоту. Он был будто пьяный. Я внимательно наблюдал за ним, ожидая, что он сдастся. Но у него была сила сильного, и душа его была душой великана, потому что она поддерживала его тело в течение этого изнурительного дня. Он застрелил двух птармиганов, но не захотел их есть. Огня не требовалось; они и так давали жизнь; но он думал об Унге, и повернул к лагерю.

Он уже не шел, а полз по снегу на руках и коленях. Я подошел к нему и прочитал смерть в его глазах. Он бросил ружье и понес птицу в зубах, как собака. Я шел рядом с ним на ногах. И он смотрел на меня в минуты отдыха и удивлялся, что я так силен. Я видел это, хотя он уже не разговаривал, а когда его губы двигались, они двигались беззвучно.

Как сказано, он был великий человек, в сердце моем была жалость, но я перечитывал свою жизнь и вспоминал холод и голод в бесконечном лесу у русских морей. А кроме того, Унга была моей, и я заплатил за нее неслыханную цену шкурами, лодками и бусами.

Так прошли мы через белый лес, а Безмолвие тяжело налегало на нас, как мутный морской туман. И духи прошлого носились над нами в воздухе; и я увидел желтую бухту на Атакане, и каяки, вперегонку возвращавшиеся с рыбной ловли, и дома на опушке леса. И люди, сделавшиеся вождями, были тут законодатели, кровь которых я носил в себе и с кровью которых я обвенчался с Унгой. Да, и Яш-Нуш шел подле меня, с влажным песком в волосах, и в руках у него все еще было боевое копье, которое сломалось, когда он упал. И я понял, что время пришло, и увидел обещание в глазах Унги.

Как сказано, мы шли таким образом по лесу, пока дымный запах костра не ударил нам в ноздри. И я склонился к нему и вырвал птармиганов из его рта. Он повернулся на бок и стал отдыхать, а рука, на которой он лежал, медленно поползла к ножу, висевшему на бедре. Но я отнял у него нож, улыбаясь ему в лицо. Даже тогда он не понял. Тогда я стал представлять, точно я пью из черных бутылок и нагромождаю на снегу кучу всякого добра, и переживал снова все, что произошло в мою брачную ночь. Я не говорил ни слова, но он понял. И все-таки он не испугался. На губах его появилась усмешка холодного гнева, и он снова

собрал свои силы, когда узнал об этом. Было уже недалеко, но снег был глубок, и он тащился очень медленно. Однажды он так долго лежал, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Иногда в них светилась жизнь, а иногда — смерть. А когда я отпускал его, он снова полз. Так мы пришли к костру.

Унга тотчас же прильнула к нему. Его губы двигались беззвучно, затем он указал на меня, чтобы Унга могла понять. А после этого он долгое время лежал на снегу очень тихо. И до сих пор он там, на снегу.

Я не говорил ни слова, пока не зажарил птармиганов. Тогда я заговорил с ней на ее родном языке, которого она не слыхала много лет. Она выпрямилась — вот так, — и ее глаза расширились от удивления. И она спросила, кто я такой и где научился этому говору.

«Я — Наас», — сказал я.

«Ты? — спросила она. — Ты?» — и подползла близко, чтобы взглянуть на меня.

«Да, — отвечал я. — Я — Наас, вождь Акатана, последний в моем роду, как ты — последняя в твоем».

И она засмеялась. Клянусь всем, что я перевидал, и подвигами, которые я совершил, я не хотел

бы вторично услышать такой смех. Он вгонял озноб в мою душу, когда я сидел там, в Белом Безмолвии, наедине со смертью и с женщиной, которая смеялась.

«Подойди, — сказал я, так как думал, что она помешалась. — Поешь этой пищи и двинемся в путь. Отсюда далеко идти до Акатана».

Но она спрятала лицо в его желтой гриве и смеялась так, что, казалось, небеса не могли вынести этого смеха. Я думал, что она обрадуется при виде меня, и поспешил вернуться к воспоминаниям прежних дней; но выходило как-то не так. «Пойдем, — крикнул я, с силой схватив ее за руку. — Путь далек и мрачен. Поспешим».

«Куда?» — спросила она, садясь и переставая смеяться. «На Акатан», — ответил я, ожидая, что лицо ее прояснится при мысли об этом. Но оно сделалось похожим на его лицо — со своей усмешкой холодного гнева.

«Да, — сказала она, — мы пойдем рука об руку на Акатан, ты и я. И будем жить в грязных хижинах и есть рыбу и сало, и наплодим целый выводок — выводок, которым мы будем гордиться все дни нашей жизни. Мы позабудем обо всем мире и будем счастливы, очень счастливы. Это хорошо, очень хорошо. Идем! Поспешим! Идем

назад на Акатан».

И она провела рукой по его желтым волосам и улыбнулась нехорошей улыбкой. И в глазах ее не было обещания.

Я сидел молча и удивлялся странности женщин. Я вернулся к той ночи, когда он оттаскивал ее от меня, а она кричала и дергала его за волосы — за волосы, с которыми она сейчас играла и не хотела расстаться. Тогда я вспомнил про выкуп, который дал за нее, и про долгие годы ожидания; и я обхватил ее крепко и потащил ее от него так же, как он сделал тогда. Но она упиралась так же, как в ту ночь, и боролась, как кошка за своего котенка. А когда костер был между нами и им, я отпустил ее, и она села и начала слушать. И я рассказал ей обо всем, что было в промежутках, обо всем, что случилось со мной в чужих морях, обо всем, что совершил я в чужих землях, обо всех моих поисках и голодных годах и об обещании, которое я носил в себе с самого начала. Да, я рассказал ей все, даже то, что произошло между мной и этим человеком в тот самый день и во дни еще недавние. И пока я говорил, я видел, как в глазах у нее нарастает обещание, яркое и большое, как наступление зари. И я прочел в них жалость и женскую нежность, любовь, сердце и

душу Унги. И я снова был отроком, потому что ее взгляд был взглядом Унги, когда она бежала со смехом от бухты к дому своей матери. И не стало жестокого беспокойства и голода и ожидания. Время пришло. Я почувствовал призыв ее груди, и казалось, что я должен прислониться к ней головой и позабыть обо всем. Она раскрыла мне свои объятия, и я прижался к ней.

Затем вдруг гнев вспыхнул в ее очах; рука ее была у моего бедра. И раз, и другой она ударила ножом.

«Пес! — засмеялась она и бросила меня в снег. — Свинья!» А затем стала смеяться, пока не послышался треск Безмолвия, и пошла к своему мертвецу.

Как я сказал, она ударила ножом раз и другой, но она была слаба от голода, и мне не суждено было умереть. И все же я намеревался остаться на месте и смежить глаза в последнем сне вместе с теми, чьи жизни пересеклись с моею и повели мои ноги по неведомым тропам. Но на мне лежал долг, который не позволял мне отдохнуть.

А путь был далекий, мороз лютый, и мало пищи. Пелли не настреляли оленей и расхитили мою кладовую. Так же поступили и трое белых людей, но они лежали худые и мертвые в своей

хижине, когда я проходил мимо.

После этого я ничего не помню до того времени, пока не пришел сюда и не нашел пищи и огня — много огня.

Окончив рассказ, он пригнулся к печке совсем близко, как бы ревниво. Долгое время тени от жировой лампы разыгрывали трагедии на стене.

— А Унга? — вскричал Принс, весь еще под сильным впечатлением рассказа.

— Унга? Она не захотела есть птармиганов. Она лежала, обняв руками его шею, глубоко спрятав лицо в его желтые волосы. Я близко придвинул костер, чтобы она не чувствовала холода, но она отползла в другую сторону. Я и там развел костер. Правда, это мало помогло, потому что она не хотела есть. И вот так лежат они до сих пор, там, на снегу.

— А вы? — спросил Мельмут Кид.

— Я не знаю. Но Акатан — мал, и у меня нет желания вернуться и жить на краю света. Да и от жизни теперь мало толка. Я могу пойти к Константину; он закует меня в кандалы, и затем они натянут веревку — вот так — и я крепко засну. Впрочем… нет. Я не знаю…

— Но, Кид, — запротестовал Принс, — ведь это — убийство.

— Молчи! — закричал Мельмут Кид, — ибо есть вещи, которых нам не понять… Кто здесь прав, кто виноват, мы решить не в силах; и не нам их судить.

Наас еще ближе придвинулся к печке. Спустилось Великое Безмолвие, а видения перед глазами трех людей появлялись и исчезали.

ДЕТИ МОРОЗА



В дебрях севера

Утомительный путь по чахлой тундре — и за последними зарослями в самом сердце Барренса[2] путник найдет обширные леса и ласково смеющуюся природу. Но мир только теперь начинает знакомиться с Севером. Из смельчаков, время от времени забирающихся в эти края, ни один не вернулся назад и не мог поведать миру обо всем, что видел.

Что ж! Барренс — это Барренс, бесплодная арктическая пустыня, мрачная, холодная родина мускусного быка и тощего полярного волка. Итак, Эвери Ван Брант увидел перед собой унылое безлесное пространство, едва одетое лишаями и мхом. Пробираясь к северу, он достиг областей, никем не обозначенных на карте, и очутился среди несказанно богатых хвойных лесов, населенных неведомыми племенами эскимосов. Ван Брант намеревался проникнуть в эти неисследованные области — к этому его влекло честолюбие, заполнить пустые места на карте условными обозначениями горных цепей, водных бассейнов

---

[2] notes: 2
Barren — бесплодный. *(Прим. ред.)*

и извилистыми линиями рек; он с восторгом представлял себе эти неведомые леса и селения туземцев.

Эвери Ван Брант, или — определяя полностью его общественное положение — профессор Геологического института Э. Ван Брант был помощником начальника экспедиции и с группой участников этой экспедиции прошел миль пятьсот вверх по притоку Телона.

Теперь он вел свой отряд в одно из необследованных туземных поселений. За ним тащились восемь человек — двое из них были из Канады, французы по происхождению, а остальные — стройные крисы из Манитобы. Он один был чистокровным англосаксом, и его горячая кровь бурлила, призывая следовать традициям расы. Клайв и Гастингс, Дрэк и Ралэй, Генгест и Горса витали в его памяти, как бы сопровождая его, и он торжествовал при мысли, что первым из людей своей расы он входит в это далекое северное селение; спутники заметили, что усталость его прошла, и он бессознательно ускорил шаг.

Все население деревни высыпало навстречу: впереди шли мужчины, угрожающе сжимая в руках луки и копья, за ними робко жались женщины и дети. Ван Брант поднял правую руку

— понятный всем народам знак мира. Жители селения ответили ему тем же. Но вдруг, к его досаде, от толпы отделился одетый в звериные шкуры человек и, протянув ему руку, сказал:

— Алло!

Человек этот зарос бородой, щеки и лоб его были покрыты бронзовым загаром, но Ван Брант сразу узнал в нем соплеменника.

— Кто вы? — спросил он, пожимая протянутую ему руку. — Андрэ?

— Кто это — Андрэ? — спросил в свою очередь незнакомец.

Ван Брант пристально поглядел на него:

— Черт побери, вы, должно быть, давно здесь?

— Пять лет, — ответил тот, и в глазах его блеснул гордый огонек. — Но что мы стоим, пойдемте, потолкуем.

— Пусть идут за мной, — ответил он на взгляд, брошенный Ван Брантом на свой отряд. — Старик Тантлач позаботится о них. Идемте!

Он повернулся и зашагал. Ван Брант следовал за ним. Шли они по селению. Обтянутые оленьими шкурами жилища располагались в причудливом беспорядке, в зависимости от неровностей почвы. Ван Брант оглядел опытным взглядом селение и сделал подсчет.

— Двести человек, не считая детей, — заметил он.

Спутник кивнул:

— Около этого. А вот и мое жилище. Я поставил его в стороне — это гораздо удобнее. Садитесь! Когда ваши люди приготовят еду, я с вами поем. Я забыл вкус чая… Пять лет его не видел… А табак у вас есть?.. Благодарю! И трубка? Чудесно! Теперь еще спичку, и посмотрим, потеряло ли курение свою прелесть.

Он старательно зажег спичку и оберегал пламя, словно оно было единственным на свете, затем втянул в себя дым. Задержав его на несколько мгновений, он, наслаждаясь, медленно выпустил его. Затем откинулся назад. Лицо его смягчилось, и глаза слегка затуманились Он глубоко вздохнул, ощущая безмерное блаженство:

— Замечательно! Прекрасная штука!

Ван Брант сочувственно кивнул:

— Пять лет, говорите?

— Да, пять лет. — Он снова вздохнул. — Вам, полагаю, хотелось бы узнать, как это я попал сюда, что со мной было, и все такое. Мне почти нечего рассказывать. Я отправился из Эдмонтона за мускусными быками и, как и Пайк с остальными ребятами, потерпел неудачу, потерял спутников

и все припасы. Приходилось голодать, бывало очень скверно — это уж как полагается, я ведь один остался изо всей партии, — пока я ползком не добрался сюда, к Тантлачу.

— Пять лет, — задумчиво бормотал Ван Брант, словно стараясь что-то припомнить.

— В феврале исполнилось пять лет. Я перешел Грэт Слэв очень рано, в мае…

— Значит вы… Фэрфакс? — прервал его Ван Брант.

Собеседник кивнул.

— Погодите… Джон — кажется, верно — Джон Фэрфакс?

— Как вы узнали? — лениво спросил Фэрфакс, пуская дым кольцами.

— Газеты были полны этим, когда Преванш…

— Преванш! — внезапно привскочил Фэрфакс. — Мы потеряли его в горах.

— Но он выбрался оттуда и спасся.

Фэрфакс снова откинулся и продолжал пускать кольца дыма.

— Рад слышать, — задумчиво сказал он. — Преванш был молодцом и никогда не думал об опасности. Вы говорите, он спасся? Что ж, я очень рад…

Пять лет… Эта мысль сверлила мозг Ван Бран-

та, и невольно перед ним возник образ Эмилии Саутвейс. Пять лет… Стая каких-то диких птиц пролетела низко над землей, но, заметив человеческое жилье, повернула на север и исчезла в лучах тлеющего солнца. Ван Брант хотел проследить их полет, но солнце слепило ему глаза. Он посмотрел на часы — было около часа ночи. Облака на севере пылали, и кроваво-красные лучи озаряли мрачные леса зловещим светом. Воздух был тих и неподвижен, и самые слабые звуки доносились с ясностью призывного сигнала. Крисы и путешественники-канадцы поддались чарам этой тишины и переговаривались между собой, понизив голос до шепота, а повар старался не шуметь котелком и сковородкой. Где-то плакал ребенок, и из глубины леса подобно серебряной нити тянулось заунывное женское причитание:

— О-о-о-о-о-а-аа-а-а-аа-а-а-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а…

Ван Брант вздрогнул и зябко потер руки.

— И они считали меня погибшим? — медленно спросил его собеседник.

— Что ж… вы не возвращались, и ваши друзья…

— Скоро забыли, — Фэрфакс вызывающе рассмеялся.

— Почему вы не выбрались отсюда?

— Отчасти из-за нежелания, отчасти по не зависящим от меня обстоятельствам. Видите ли, Тантлач, когда я с ним познакомился, лежал здесь со сломанной ногой — сложный перелом кости, — и я привел его в надлежащий вид. Я здорово ослабел и мне требовался хороший отдых. Я был первым белым человеком в их краях. Естественно, им я показался очень мудрым. Я научил их разнообразным вещам. Между прочим, обучил их и военной тактике: они покорили четыре соседних селения и стали хозяевами этой страны. Они дорожили мной настолько, что, когда я отдохнул и хотел возвращаться, они и слышать об этом не хотели. Они оказались очень гостеприимными, приставили ко мне стражу, следившую за мной днем и ночью. Тантлач просил меня остаться, обещая щедрое вознаграждение, а так как мне в сущности было безразлично, где жить, я согласился.

— Я встречался с вашим братом в Фрейбурге. Мое имя — Ван Брант.

Фэрфакс подался вперед и пожал ему руку:

— Вы были другом Билли, да? Бедняга Билли! Он часто говорил мне о вас.

— Странное место встречи, не правда ли? — прибавил он, оглядывая окружающую обстановку

и прислушиваясь к заунывному причитанию женщины. — Ее мужа загрыз медведь, и она теперь горюет.

— Животная жизнь! — поморщился с отвращением Ван Брант. — После пяти лет такой жизни цивилизация покажется вам, верно, очень привлекательной. Что вы на это скажете, а?

На лице Фэрфакса выразилось полнейшее безразличие.

— Право, ничего не могу вам сказать. В сущности, они очень порядочные люди и живут по своему разумению. К тому же они поразительно искренни. Ничего сложного — простое чувство не дробится здесь на тысячу утонченных переживаний. Любовь, страх, ненависть, злоба и счастье — все здесь выражается просто и откровенно. Может быть, это животная жизнь, но живется легко. Кокетства и ухаживаний они не знают. Если вы понравились женщине, она вам это попросту скажет. Если она вас возненавидит, не постесняется об этом вам сообщить. Если вам хочется, вы можете ее побить, но все дело в том, что она ясно себе представляет, чего вы от нее хотите, а вы знаете, чего она хочет от вас. Ни ошибок, ни взаимных недоразумений. Это имеет свою прелесть после лихорадки цивилизации. Нет, жизнь здесь

очень приятна, — прибавил он, помолчав. — Мне лучшей не надо, и я здесь останусь.

Ван Брант задумчиво опустил голову, и по губам его пробежала едва заметная улыбка. Ни кокетства, ни ухаживаний, ни взаимных недоразумений! Видно, Фэрфакс не легко переживал то, что Эмилия Саутвейс по недоразумению попала в лапы медведя. А надо признаться, что Карлтон Саутвейс был недурным медведем!

— Но вы все-таки уйдете со мною, — уверенно заявил Ван Брант.

— Нет, не уйду.

— А я думаю, что уйдете.

— Жизнь здесь очень легка и приятна, — решительно повторил Фэрфакс. — Я понимаю всех, и все понимают меня. Лето сменяется зимой, времена года представляются пятнами света и тени — словно перед нами изгородь, через которую проникают солнечные лучи. Время идет, и жизнь проходит, а затем… поминки в лесу и полная тьма. Прислушайтесь!

Он поднял руку, — серебряная нить женской печали прорезала мертвую тишину. Фэрфакс тихо начал подпевать:

— О-о-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а-аа-а-о-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а…

— Вы слышите? Представляете себе, а? Опечаленных женщин, погребальные причитания, меня с белыми волосами патриарха? Я завернут в звериные шкуры. Мое охотничье копье со мной… Кто скажет, что это не прекрасный конец?

Ван Брант холодно поглядел на него.

— Фэрфакс, вы сошли с ума. За пять лет такой жизни всякий ошалеет, а вы сейчас находитесь в нездоровых, гибельных условиях. А кроме того — Карлтон Саутвейс умер.

Ван Брант набил трубку и закурил ее, исподтишка наблюдая за собеседником. Глаза Фэрфакса сверкнули, кулаки сжались, и он привстал, но затем его мускулы ослабли, он сел и задумался. Майкель — повар Ван Бранта — подал знак, что еда приготовлена. Ван Брант движением руки отложил трапезу. Молчание тяжело нависло над ними, и он медленно вдыхал лесные ароматы — запах болот и увядших трав, смолистый аромат сосновых шишек и игл и дым очагов. Фэрфакс дважды безмолвно поглядел на него, но затем не выдержал:

— А… Эмилия?..

— Вдова, вот уже три года.

Снова наступило долгое молчание, наконец Фэрфакс с простодушной улыбкой нарушил его:

— Полагаю, что вы правы, Ван Брант. Я уйду с вами.

— Я был уверен в этом. — Ван Брант положил руку ему на плечо. — Конечно, знать ничего нельзя, но я думаю — в ее положении… ей делали предложения…

— Когда вы двинетесь в путь? — прервал его Фэрфакс.

— Когда мои люди отоспятся. Кстати, пойдем-те-ка поедим, Майкель, верно, сердится.

После ужина, когда крисы и канадцы, завернувшись в одеяла, сладко храпели, двое мужчин сидели у тлеющего костра. Им надо было о многом переговорить — политика, войны, научные экспедиции, подвиги и деяния людей, общие друзья, браки, смерти, — словом, все события за пять лет представляли интерес для Фэрфакса.

— Итак, испанский флот был блокирован в Сант-Яго, — говорил Ван Брант, когда молодая женщина легко прошла перед ним и остановилась рядом с Фэрфаксом. Она быстро взглянула на Фэрфакса, затем перевела тревожный взгляд на Ван Бранта.

— Дочь вождя Тантлача, принцесса в своем роде, — пояснил, покраснев, Фэрфакс. — Одна из причин, побудивших меня остаться. Том, это Ван

Брант — мой друг.

Ван Брант протянул ей руку, но женщина не шевельнулась, сохраняя суровую неподвижность статуи, соответствующую всему ее облику. Ее черты не смягчились, ни один мускул ее лица не дрогнул. Она смотрела ему прямо в глаза проницательным, испытующим взором.

— Она ничего не понимает, — рассмеялся Фэрфакс. — Ей в первый раз приходится знакомиться с моими друзьями... На чем вы остановились? Ах да! Итак, испанский флот был блокирован в Сант-Яго...

Том села на землю рядом с Фэрфаксом и снова впала в неподвижность, словно бронзовая статуя, лишь глаза ее перебегали с одного лица на другое, выпытывая правду. Под этим немым вопрошающим взглядом Эвери Ван Брант стал нервничать. В середине оживленного рассказа о сражении он внезапно ощутил горящий взгляд черных глаз, запутался и с трудом поймал нить своего рассказа. Фэрфакс, обняв руками колени и отложив трубку, внимательно вслушивался в его слова, торопил, когда тот медлил или запинался, и рисовал себе картину того мира, о котором старался забыть в течение пяти лет.

Прошел час, другой — и Фэрфакс нехотя под-

нялся:

— Итак, Кронье влопался, а? Ладно, подождите минутку, я сбегаю к Тантлачу. Он, верно, вас ждет, и я устрою вам встречу утром, после завтрака. Это вам удобно, не правда ли?

Он скрылся за соснами, и Ван Брант невольно поглядел прямо в горящие глаза Том. «Пять лет, — подумал он, — а теперь ей не больше двадцати. Поразительное существо!» Она была эскимоска, и можно было бы ожидать, что нос ее окажется совсем плоским, но он не был ни плоским, ни широким. «Смотри, Эвери Ван Брант, перед тобой орлиный нос с тонкими ноздрями — нос, какой бывает у леди белой расы, и уж несомненно есть капля индейской крови, — поверь, Эвери Ван Брант. И не нервничай — она тебя не съест, она всего лишь женщина, и к тому же — красивая!»

Тип восточной женщины, а не эскимоски. Большие прекрасные глаза широко открыты и лишь слегка напоминают о монгольском происхождении. «Том, ты — редкое, выдающееся явление! Среди этих эскимосов ты — чужая, даже если твой отец и принадлежал к их племени. Откуда пришла твоя мать? Или твоя бабушка? Том, дорогая, ты — красавица, ледяная, застывшая красавица с лавой Аляски в крови — прошу тебя, не гляди на

меня, не старайся выпытать мои мысли...»

Он рассмеялся и встал. Ее настойчивый взгляд смущал его. Какая-то собака бродила среди мешков с провизией. Он хотел убрать их в безопасное место до возвращения Фэрфакса. Но Том, запрещая, протянула руку и, глядя на него в упор, встала.

— Ты? — сказала она на арктическом наречии, общепонятном от Гренландии до мыса Барроу. — Ты?

Выражение ее лица пояснило все, что заключалось в этом «ты». Это был вопрос о том, почему он сюда пришел, какое отношение имеет к ее мужу, и еще многое другое.

— Брат, — отвечал он на том же наречии, указывая жестом на юг. — Мы братья — твой муж и я.

Она покачала головой:

— Нехорошо, что ты сюда пришел.

— Я высплюсь и уйду.

— А мой муж? — быстро спросила она.

Ван Брант пожал плечами. В нем шевельнулось смутное чувство стыда — стыда за кого-то или за что-то — и гнева против Фэрфакса. Румянец залил его щеки при взгляде на юную дикарку. Она была истинной женщиной. В этом заключалось все — женщина. Снова и снова та же проклятая

история, древняя, как праматерь Ева, и юная, как первый луч любви, блеснувший в очах молодой девушки.

— Мой муж! Мой муж! Мой муж! — пылко повторяла она; лицо ее потемнело, и в ее глазах он увидел неистовую нежность Вечной Женщины, Женщины-Самки.

— Том, — серьезно начал он по-английски. — Ты родилась в северных лесах и питалась мясом и рыбой, боролась с холодом и голодом и жила простой жизнью. А на свете существуют вещи очень сложные — ты их не знаешь и понять не можешь. Ты не знаешь воспоминаний об уюте далекой жизни и не поймешь тоски по лицу прекрасной женщины. А та женщина, Том, прекрасна и благородна. Ты была женой этого человека и ты ему отдалась вся, но твоя душа слишком проста для него. Слишком мал твой мир и прост, а ведь он пришел из другого мира. Ты его никогда не понимала и не можешь понять. Таков закон. Ты держала его в своих объятиях, но сердце этого человека, радовавшегося незаметной смене времен года и мечтавшего о варварском конце, никогда не принадлежало тебе. Мечта, туманная греза — вот чем он был для тебя. Ты тянулась к манящему образу и ловила тень; ты отдала себя

человеку и делила свое ложе с призраком. То же случалось в старину с дочерьми смертных, когда боги находили их прекрасными. Том, Том, я не хотел бы оказаться на месте Джона Фэрфакса, чтобы в бессонные ночи увидеть рядом с собой не золотую головку женщины, а темные косы самки, покинутой в лесах Севера.

Хотя она ничего не понимала, но так напряженно вслушивалась в его речь, словно от нее зависела ее жизнь. Имя мужа она разобрала и воскликнула на своем наречии:

— Да! Да! Фэрфакс! Мой муж!

— Бедная маленькая дурочка, как он мог быть твоим мужем?

Но она не понимала по-английски и думала, что он ее высмеивает. Ее лицо пылало немым, безрассудным гневом самки, и ему казалось, что она, как пантера, готова к прыжку.

Он выругался про себя и стал наблюдать, как гнев ее угасал и на лице появилось выражение мольбы — мольбы женщины, забывшей о своей силе и мудро прибегающей к слабости и беспомощности.

— Он мой муж, — кротко сказала она. — Я другого не знала. Я не могла знать другого. И не может быть, чтобы он от меня ушел.

— Кто говорит, что он от тебя уйдет? — резко спросил Ван Брант, раздраженный и обессиленный.

— Скажи ему, чтобы он не уходил от меня, — мягко отвечала она, и в голосе ее послышалось рыдание.

Ван Брант сердито толкнул ногой головешку костра и сел.

— Ты должен ему сказать. Он мой муж. Перед всеми женщинами он мой муж. Ты велик и силен, ты видишь, как я слаба. Смотри, я у ног твоих. От тебя зависит моя жизнь. Помоги мне!

— Вставай! — Он грубо поставил ее на ноги и сам встал. — Ты женщина. Тебе нельзя валяться в грязи у ног мужчины.

— Он мой муж!

— Да простит Христос всем мужчинам, — пылко воскликнул Ван Брант.

— Он мой муж! — повторяла она умоляюще.

— Он мой брат! — отвечал он.

— Вождь Тантлач — мой отец. Он правит пятью селениями. Я прикажу найти в пяти селениях девушку по твоему вкусу, и ты будешь жить со своим братом в полном довольстве.

— Я отдохну и уйду.

— А мой муж?

— Вот идет твой муж. Слышишь?

Из темного леса доносилось веселое пение Фэрфакса.

Как клубы черных туч затеняют ясный день, так песня Фэрфакса убила на ее лице жизнь и радость.

— Это язык его племени, — сказала она. — Это язык его племени. — Она повернулась легким, гибким движением молодого животного и скрылась в лесу.

— Все устроено, — воскликнул, появляясь, Фэрфакс. — Его высочество примет вас после завтрака.

— Вы ему все сказали? — спросил Ван Брант.

— Нет. Я ему ничего не скажу, пока у нас все не будет готово.

Ван Брант с тяжелым чувством поглядел на своих спящих спутников.

— Я буду рад, когда мы будем за сотни миль отсюда, — сказал он.

Том подняла шкуру над входом в юрту отца. С ним сидело двое мужчин, и все трое с любопытством посмотрели на нее. Но лицо ее было бесчувственно, и, войдя, она спокойно и безмолвно подсела к ним. Тантлач барабанил пальцами по рукоятке копья, лежащего на его коленях, и

лениво следил за движениями солнечного луча, проникшего через отверстие в шкурах. Справа, у его плеча, прикорнул Чугэнгэтт — шаман. Оба они были стариками, и усталость долгих лет жизни и борьбы виднелась в их глазах. Но против них сидел молодой Кин, любимец всего племени. Его движения были быстры и легки, и его черные глаза испытующе перебегали с одного старика на другого. И в глазах этих был вызов.

Все молчали. Время от времени проникали звуки извне, и издали слабо доносились — словно тени голосов — крики играющих детей. Собака просунула голову над порогом, хищно прищурилась, с ее белых клыков стекала пена. Постояв немного, она заворчала, как бы приглашая обратить на нее внимание, но, испуганная неподвижностью человеческих фигур, опустила голову и уползла. Тантлач равнодушно поглядел на свою дочь:

— Что у тебя с твоим мужем?

— Он поет чужие песни, — отвечала Том, — и лицо его стало другим.

— Да? Он говорил с тобой?

— Нет, но лицо у него другое, и в глазах новый огонек, и он сидит с Пришельцем у костра, и они все говорят, говорят без конца.

Чугэнгэтт прошептал что-то на ухо своему господину, и Кин, подавшись вперед, ловил слетавшие с его губ слова.

— Его зовет что-то в далекие края, — продолжала она, — и он сидит и прислушивается и отвечает песней на языке своего племени.

Снова Чугэнгэтт зашептал, снова Кин подался вперед, и Том замолчала, пока ее отец кивком головы не разрешил ей продолжать.

— Ты знаешь, о Тантлач, что дикие гуси, лебеди и маленькие утки рождаются здесь, на Севере. Но мы знаем, что они улетают в неведомые края перед лицом мороза. И хорошо знаем, что они всегда возвращаются, когда показывается солнце и освобождаются реки. Они всегда возвращаются туда, где родились. Родная земля зовет их, и они летят на ее зов. А теперь иная земля зовет, и зовет к себе моего мужа; это его родная земля, и он хочет отозваться на ее зов. Но он мой муж. Перед всеми женщинами — он мой муж.

— Хорошо ли это, Тантлач? Хорошо ли? — спросил Чугэнгэтт, и в голосе его зазвучали угрожающие ноты.

— Да, это хорошо! — смело воскликнул Кин. — Земля зовет своих детей, и все земли зовут своих детей домой. Дикие гуси, лебеди и маленькие ут-

ки слышат призыв, услышал его и Чужестранец, который слишком долго задержался у нас. Ему пора вернуться к себе. Он также услышал голос своего племени. Гуси спариваются с гусями, и лебедь никогда не спаривается с маленькой уткой. Нехорошо, если бы лебедь стал спариваться с маленькой уткой. И нехорошо, когда чужестранцы получают в жены наших женщин. Поэтому — пусть этот человек уйдет в свою страну, к своему племени.

— Он мой муж, — отвечала Том. — И он великий человек.

— Да, он великий человек, — Чугэнгэтт поднял голову с быстротой, напоминавшей о былой юношеской силе. — Он великий человек, он дал тебе силу, о Тантлач, и дал тебе могущество, и теперь тебя боятся по всей стране, боятся и трепещут. Он очень мудр, и его мудрость нужна нам. Он научил нас вести войну, защищать свое селение и нападать в лесу. Он ввел порядок в нашем совете и показал, как обсуждать дела и как обходить врагов обещаниями. Он научил нас ловить хитрыми ловушками дичь, собирать запасы пищи и хранить ее долгое время. Он лечил болезни и раны, полученные на охоте или на войне. Ты был бы хромым стариком, Тантлач, если бы к нам

не попал этот Чужестранец и не вылечил твоей ноги. Когда мы не знали, как поступить, мы шли к нему, и его мудрость всегда нам помогала. У нас могут появиться новые затруднения, и нам будет нужна его мудрость. Мы не можем отпустить его. Плохо будет, если мы позволим ему уйти.

Тантлач продолжал барабанить пальцами по древку копья, не подавая виду, что все это слышал. Том тщетно всматривалась в его лицо, а Чугэнгэтт весь съежился и поник, словно прожитые годы снова придавили его своей тяжестью.

— Лучше меня нет охотника! — Кин сильно ударил себя в грудь. — Я сам убиваю для себя дичь. Я радуюсь жизни, когда выхожу на охоту. Я радуюсь, когда ползу по снегу за крупным оленем и когда я изо всей силы натягиваю лук и пускаю быструю, смертоносную стрелу в сердце оленя — я радуюсь. Добыча других охотников никогда не бывает так вкусна, как моя. Я радуюсь жизни, радуюсь своей ловкости и силе. Я радуюсь, ибо сам добиваюсь всего, что мне нужно для жизни. Какая иная цель может быть в жизни? Зачем жить, если я недоволен собою и тем, что я делаю? И потому, что я доволен и радуюсь, я иду охотиться и ловить рыбу. А становлюсь сильнее потому, что охочусь и ловлю рыбу. Мужчина, что сидит в

своем жилище, греясь у костра, не будет сильным и смелым. Он не радуется, поедая мою добычу, и не наслаждается жизнью. Он не живет! Итак, я думаю, что будет лучше, если Чужестранец уйдет. Его мудрость не делает нас мудрыми. Когда он ловок и искусен, какая нужда нам быть ловкими и искусными? Ведь если нужда приходит, мы идем к нему за советом. Мы едим мясо его добычи, но оно невкусно. Его мудрость дает нам успех, но этот успех не дает радости. Мы не живем, когда он заботится о нас. Мы жиреем и становимся подобными женщинам. Мы боимся работы и забываем, как доставлять себе все, что нужно для жизни. Пусть этот человек уйдет, о Тантлач, и мы снова станем мужчинами! Я — Кин, мужчина, и я сам хожу на добычу!

Тантлач бросил на него пустой, ничего не выражающий взгляд. Кин ждал решения вождя, но губы старика не дрогнули, и он повернулся к своей дочери.

— То, что дано, нельзя отнять, — заговорила она. — Я была девочкой, когда явился среди нас Чужестранец — мой супруг. Я не знала мужчин и не знала обычаев мужчин, мое сердце знало лишь детские игры, когда ты, Тантлач, ты призвал меня к себе и отдал Чужестранцу. Ты, Тантлач! И ты

отдал меня этому человеку и дал этого человека мне. Он мой муж. Он спал у меня на груди, и его нельзя от меня оторвать.

— Хорошо, если бы ты помнил, о Тантлач, — вмешался Кин, бросая многозначительный взгляд на Том, — хорошо, если бы ты помнил: то, что дано, не может быть взято обратно.

Чугэнгэтт выпрямился.

— Устами твоими, Кин, говорит неразумная юность. Что касается нас с тобой, о Тантлач, мы старики и мы все понимаем. Мы тоже, бывало, глядели в глаза женщинам, и наша кровь пылала странными желаниями. Но годы охладили наш пыл, мы оценили хладнокровие; мы знаем, что молодое сердце легко разгорается и склонно к безрассудным поступкам. Мы знаем, что Кин был угоден твоим очам. Мы знаем, что ты обещал ему Том, когда она была еще ребенком. Но потом настали новые дни, к нам пришел Чужестранец, и мы мудро рассудили — ради общего блага нарушить обещание и отнять Том у Кина.

Старый шаман замолчал и посмотрел на Кина.

— И да будет известно, что я — Чугэнгэтт — посоветовал нарушить обещание.

— Я не принял на свое ложе никакой другой женщины, — сказал Кин. — Я сложил себе очаг,

готовил пищу и скрежетал зубами в одиночестве.

Чугэнгэтт движением руки дал понять, что его речь еще не кончена.

— Я старик, и слова мои мудры. Хорошо быть сильным и держать в руках власть. Еще лучше отказаться от власти, если так нужно для общего благополучия. В прежние годы я сидел с тобою рядом, Тантлач, и мой голос был первым в совете, и моего мнения спрашивали во всех делах. И я был силен и могуч. Я был величайшим человеком после Тантлача. Затем явился Чужестранец, и я увидел, что он искусен, мудр и велик. Он был мудрее и искуснее меня, и я понял, что он принесет больше пользы, чем приношу я. И ты склонил ко мне свой слух, Тантлач, и слушал мои слова и дал Чужестранцу власть, место рядом с собой и дочь свою. И наше племя благоденствовало при новых порядках, и пусть оно и дальше благоденствует, и пусть Чужестранец остается среди нас. Мы с тобой старики, о Тантлач, — ты и я, и это дело следует решать головой, а не сердцем. Слушай мои слова, Тантлач! Слушай мои слова! Пусть Чужестранец останется!

Наступило долгое молчание. Старый вождь размышлял, сохраняя неподвижность идола, а

Чугэнгэтт, казалось, весь ушел в далекое прошлое. Кин с вожделением глядел на женщину, а она, не замечая его, не сводила глаз с лица своего отца. Собака снова показалась на пороге; спокойствие людей придало ей смелости, и она подползла к ним. Обнюхав опущенную руку Том, она вызывающе насторожила уши, пробираясь мимо Чугэнгэтта, и прикорнула около Тантлача. Копье с шумом упало наземь, и собака с испуганным воем отскочила в сторону, зарычала и одним прыжком выскочила из юрты.

Тантлач переводил свой взор с одного лица на другое, долго и внимательно взвешивая все обстоятельства. Затем он с суровой властностью поднял голову и холодным, ровным голосом произнес свое решение:

— Чужестранец остается. Созови всех охотников. Пошли гонца в соседнее селение, пусть приведет сюда бойцов. Я не приму Пришельца. Ты, Чугэнгэтт, будешь говорить с ним. Передай ему, что он может идти с миром, если уйдет немедленно. Если придется биться — убивайте, убивайте, убивайте всех до последнего, но передай всем мое слово — Чужестранцу вреда не причинять: он муж моей дочери. Да будет так, как я сказал!

Чугэнгэтт встал и заковылял к выходу, Том последовала за ним; но когда Кин подошел к выходу, голос вождя заставил его остановиться:

— Кин, прислушайся к моему слову. Чужестранец остается. Чужестранцу вреда не причинять.

Благодаря полученным от Фэрфакса сведениям по военному искусству эскимосы не набросились на маленький отряд с дикими криками. Наоборот, они проявили большую сдержанность и самообладание и продвигались в молчании, переползая от прикрытия к прикрытию. Крисы и путешественники-канадцы шли вдоль берега речки. Видеть они ничего не могли и едва улавливали звуки, но инстинктом чувствовали жизнь в лесу и продвижение врага.

— Будь они прокляты, — пробормотал Фэрфакс. — Они не знали пороха, а я показал им, что это за штука.

Эвери Ван Брант рассмеялся, выколотил пепел из трубки, старательно запрятал ее вместе с кисетом в карман и проверил, легко ли вынимается охотничий нож из висящих на боку ножен. Затем сказал:

— Погодите! Мы отразим их атаку и уничтожим их всех до единого.

— Они рассыплются цепью, если не забыли

моих уроков.

— Ну и пусть! У нас винтовки. Мы все… прекрасно! Первый выстрел! Получишь добавочную порцию табака, Луи!

Луи из племени крисов заметил высунувшееся из-за дерево плечо и меткой пулей сообщил его владельцу о своем открытии.

— Если бы их вызвать на открытое нападение, — бормотал Фэрфакс. — Если бы их вызвать на открытое нападение…

Вдалеке показалась из-за дерева голова, и одним выстрелом Ван Брант уложил эскимоса. Майкель попал в третьего. Фэрфакс и остальные тоже стали стрелять, целясь в эскимосов и в шевелящиеся заросли кустарников. При переходе через незащищенную ложбину пять эскимосов были убиты, а с левой стороны, где кустарник был редкий, с дюжину их было ранено. Но они относились к потерям с мрачным спокойствием, продвигаясь вперед осторожно, обдуманно, не торопясь и не мешкая.

Десять минут спустя, когда они подошли почти вплотную к отряду, наступление было приостановлено, и в лесу воцарилась зловещая тишина. Видна была лишь золотистая зелень ветвей и трав, колыхаемых слабым дуновением предрас-

светного ветра. Бледное утреннее солнце бросало на землю длинные полосы тени и света. Один из раненых эскимосов поднял голову и старался уползти подальше от ложбинки, а Майкель следил за ним, но не стрелял. По невидимому фронту слева направо пробежал свист, и туча стрел прорезала воздух.

— Готовься! — приказал Ван Брант, и в голосе его послышались металлические ноты. — Есть!

Эскимосы сразу перешли в открытое наступление. Лес ожил. Раздался дикий вой, и винтовки ответили на него лаем выстрелов. Пули поражали эскимосов на бегу, но на смену убитым поднималась новая рокочущая волна. Впереди наступающих неслась с распущенными волосами Том; размахивая руками, она скрывалась за деревьями и перепрыгивала через лежащие на земле стволы. Фэрфакс прицелился и, сначала не узнав ее, чуть не нажал спуск.

— Не стреляйте! Это женщина! — крикнул он. — Глядите, она безоружна!

Крисы не слыхали его, не услышали и Майкель с братом-канадцем, и непрерывно стрелявший Ван Брант. Но Том, целая и невредимая, продвигалась по пятам одетого в шкуры охотника. Фэрфакс уложил эскимосов, бежавших справа и слева

от нее, и приготовился выстрелить в охотника. Тот, видимо, узнал его и неожиданно свернул в сторону, всадив копье в тело Майкеля. В тот же миг Том обвила одной рукой шею своего мужа и, полуобернувшись, голосом и жестом разделила нападавших. С воем пронеслись мимо них эскимосы, и потрясенный Фэрфакс, глядя на нее, на ее смуглую красоту, на мгновение остолбенел. Странные видения — чарующие, бессмертные видения встали перед ним. Обрывки старых философских теорий и новых понятий промелькнули в его мозгу, сменяясь поразительно явственными и туманно-несообразными сценами — эпизоды охоты, темные лесные пространства, молчаливые снежные пустыни, скользящий свет бальных зал, музеи и библиотеки, блеск химических колб и реторт, длинные ряды книжных полок, стук машин и уличный шум, строфа забытой песни, лица дорогих сердцу женщин и старых товарищей, уединенная речка в горах, разбитый челн на каменистом берегу, озаренные луной поля, плодородные долины, запах сена…

Пораженный в голову пулей, охотник рухнул на землю. Фэрфакс пришел в себя. Оставшиеся в живых товарищи были отброшены далеко назад. Он слышал свирепые крики охотников:

— Хья! Хья! — когда им удавалось поразить врага своим костяным оружием. Крики преследуемых поразили его подобно удару. Он понял, что битва кончена и проиграна, но традиция расы и верность товарищам призывали его бороться до конца.

— Муж мой! Муж мой! — восклицала Том. — Ты спасен!

Он попытался вырваться из ее рук, но она, повиснув на нем, мешала ему двинуться.

— Не надо! Они мертвы, а жить хорошо!

Она крепко обхватила его шею и обвилась вокруг него всем телом, пока он не оступился и не пошатнулся; стремительно отступив, чтобы удержаться на ногах, он снова споткнулся и упал на спину. Ударившись головой о корень, он почти потерял сознание и мог только слабо сопротивляться. Падая, Том услышала свист пронесшейся мимо стрелы и, словно щитом, покрыла его своим телом, крепко обняв руками и прижимаясь лицом и губами к его шее.

Тогда из густого кустарника, шагах в двадцати от них, показался Кин. Он осторожно посмотрел по сторонам. Крики замирали вдали. Никто не мог их увидеть. Он приладил стрелу к тетиве и взглянул на лежавших перед ним мужчину и

женщину. Между ее грудью и рукой белело тело Чужестранца. Кин натянул лук и оттянул стрелу к себе. Он проделал это дважды для верности прицела, а затем спокойно послал украшенную стрелу прямо в тело Чужестранца — такое белое в объятиях смуглой Том.

Закон жизни

Старый Коскуш жадно прислушивался. Хотя его зрение давно померкло, слух сохранил былую остроту, и малейшие звуки проникали в сознание, дремлющее за иссохшим лбом. Да! Это Сит-Кум-То-Ха пронзительным голосом проклинает собак и бьет их, стараясь запрячь в сани. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы подумать о больном деде, сидевшем одиноко на снегу, забытом и беспомощном. Лагерю пора сниматься. Впереди предстоял долгий путь, а короткий день быстро клонился к закату. Жизнь звала ее, и ее долг — идти, к живым, а не к мертвым. А он уже стоял на пороге смерти.

Эта мысль испугала на мгновение старика, и он протянул дрожащую онемевшую руку и пошарил в лежащей рядом с ним маленькой кучке сухого дерева. Убедившись, что сухие дрова здесь, около него, он спрятал руку под облезшую меховую одежду и снова прислушался. По беспокойному хрусту полузамерзших шкур он понял, что разбирают палатку вождя. Затем шкуры связали, чтобы удобнее было везти. Вождь был его сыном, храбрым и сильным предводителем

племени и могучим охотником. Когда женщины укладывали вещи к отъезду, послышался его голос, бранивший их за медлительность. Старый Коскуш напряг слух. Он в последний раз слышал этот голос. Затем сложили палатку Гихау. Потом палатку Тускены. Семь, восемь, девять, — осталась лишь палатка шамана. Так! Теперь они принялись и за нее. Он слышал ворчание шамана, когда его палатку укладывали на сани. Захныкал ребенок, и мать убаюкала его нежной, тихой песенкой. Малютка Кути — подумал старик — беспокойное, слабое дитя! Вероятно, скоро умрет, и родители выжгут яму в замерзшей тундре и наложат сверху кучу камней, чтобы защитить тело от росомах. Но не все ли равно? В лучшем случае дитя проживет еще несколько лет голодной жизни. А в конце этой жизни всех ждет вечно голодная и вечно ненасытная смерть.

Что это такое? Люди связывали сани, туго затягивая веревки. Он прислушивался — скоро он уже ничего не услышит. Раздался свист хлыста и звуки ударов. Прислушайся, как завыли собаки! Как они ненавидят работу и дорогу! Тронулись! Сани медленно ускользали в молчание. Кончено! Они ушли из его жизни, и он остался наедине со своим последним часом. Но нет! Снег захрустел

под мокасинами, кто-то остановился рядом с ним: на голову мягко опустилась рука. Его сын был добр и пришел с ним проститься. Старик вспомнил других стариков — их сыновья не отставали от племени. Но его сын отстал. Он погрузился в далекое прошлое, голос сына вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик ответил:

— Да, хорошо.

— Возле тебя дрова, — продолжал молодой человек. — И огонь ярко пылает. Утро пасмурно, и мороз уменьшается. Скоро пойдет снег. Снег уже идет.

— Да, снег уже идет.

— Наши спешат. Вещи тяжелы, а животы впали от недостатка пищи. Путь предстоит далекий, и они едут быстро. Я ухожу. Хорошо?

— Иди. Я как последний осенний лист, который едва держится на стебле. При первом дыхании ветра я упаду. Мой голос похож на голос старой женщины. Мои глаза не указывают больше пути моим ногам, ноги мои тяжелы, и я устал. Иди!

Он опустил голову и прислушивался, пока хруст снега не замер вдали, тогда он понял, что сын его больше не услышит. Он торопливо протянул

руку к дровам. Только они отделяли его от разверзающейся над ним вечности. Теперь мерой его жизни стала вязанка дров. Одно полено за другим должно было уходить на поддержание огня, и с каждым исчезнувшим поленом приближалась смерть. Когда последний кусок дерева отдаст ему свое тепло, мороз начнет крепчать. Сначала закоченеют ноги, затем руки, онемение медленно захватит конечности и распространится по телу. Голова склонится на колени, и он умрет. Это легкая смерть. Все люди должны умереть.

Он не жаловался. Таков путь жизни, и путь этот правилен. Он родился на земле, прожил жизнь, и закон не был для него новым. Это был закон для всего живого. Природа жестока ко всем живущим. Она не считается с отдельной особью. Она заботится лишь о роде. Это были самые глубокие отвлеченные понятия, на какие способен был первобытный ум Коскуша, но зато он их твердо усвоил. Всюду он находил им подтверждение. Весной дерево наполняется соком, распускаются зеленые почки, а осенью опадают пожелтевшие листья — этим все сказано. Природа возложила на каждую особь обязанность. Если обязанность не выполнена, особь умирает. Но выполнив ее, она все равно умирает. Природа равнодушна.

Много есть людей, покорных закону, но живет и не умирает только покорность. Племя Коскуша было очень древним. Мальчиком Коскуш знавал древних стариков, и они вспоминали своих дедов и прадедов. Значит, правда, что племя живет, покоряясь закону всех своих членов, живших в отдаленном прошлом и покоящихся в неведомых могилах. Отдельные люди — не в счет; они приходят и уходят, как облака на летнем небе. Он тоже — лишь облако на небе, и ему пора исчезнуть. Природе до него нет дела. Живые должны выполнить свой долг и подчиниться закону. Долг этот — продолжение рода, а закон — смерть. На здоровую, сильную девушку приятно смотреть: шаги ее легки, глаза блестят. Но ей предстоит выполнить долг. Глаза ее горят, шаги быстры, она то заигрывает с юношами, то робеет, и ее беспокойство передается им. Она становится все красивее и красивее, пока какой-нибудь охотник не теряет сдержанности и не берет девушку в свою палатку, чтобы она варила ему пищу, работала на него и рожала ему детей. С появлением детей красота покидает ее. Ноги волочатся по земле, глаза тускнеют, и лишь маленькие дети охотно ласкают морщинистые щеки сидящей у огня старой скво. Ее долг выполнен. А затем, как

только наступает голод либо пускаясь в далекий путь, ее оставляют, как оставили его, в снегу, с небольшой вязанкой дров. Таков закон!

Он осторожно подложил в костер полено и продолжал размышлять. То же происходит везде, со всеми живыми существами. Москиты исчезают с первым морозом. Белка, чувствуя приближение смерти, уползает подальше. Когда кролик стареет, движения его замедляются, он тяжелеет, у него нет больше сил спасаться от врагов. Даже крупный медведь слепнет, становится неуклюжим и раздражительным, и в конце концов шайке тявкающих собачонок ничего не стоит справиться с ним. Старик вспомнил, как сам покинул своего отца на верхнем течении Клондайка за год до появления миссионера с книжками и ящиками лекарств. Коскуш раньше облизывался при воспоминании об ящике, но теперь его губы оставались сухими. Особенно одно лекарство — «убийца боли» — было приятно на вкус. Но миссионер был дармоедом, он не приносил мяса, а сам ел вволю, и охотники роптали. На перевале через Майо он простудил легкие, а затем собаки разрыли его могилу и перегрызлись из-за его костей.

Коскуш подложил еще одно полено и погру-

зился в далекое прошлое. Это было во времена Великого Голода, когда старики с пустыми желудками подползали к огню и рассказывали старинные предания о тех годах, когда Юкон не замерзал три зимы подряд и покрывался льдом летом. В тот голодный год он потерял свою мать. Лососи не появлялись тем летом, и племя с нетерпением ожидало зимы и появления карибу[3]. Зима пришла, но карибу не было. Такого года не бывало никогда, говорили старики. Олени исчезли, кролики не размножались, и от собак осталась лишь кожа да кости. В долгой зимней тьме плакали и умирали дети, женщины и старики; из десяти не осталось в живых и одного, чтобы встретить солнышко, когда оно вернулось весной. Да, страшный был тогда голод!

Но он видел и другие времена, когда всего было вдосталь, когда мясо портилось, а собаки жирели и становились непригодными к работе, — времена, когда охотники упускали добычу, женщины много рожали, и палатки кишели детьми — будущими мужчинами и женщинами. Тогда мужчины становились заносчивыми и вспоминали старые распри; они переходили че-

---

[3] notes: 3
Карибу — канадский северный олень. *(Прим. ред.)*

рез горы к югу, чтобы убивать врагов из племени Пелли, и пробирались к западу, чтобы усесться у погасших очагов тананов. Вспомнил он, как мальчиком, в сытые годы, видел растерзанного волками оленя. Зинг-Ха вместе с ним лежал на снегу и наблюдал, — Зинг-Ха, который стал потом искуснейшим охотником и в конце концов провалился в трещину на Юконе. Месяц спустя они нашли его: он наполовину выкарабкался и крепко примерз ко льду.

А теперь об олене. Зинг-Ха и он пошли в тот день, подражая взрослым, поиграть в охоту. На берегу ручья они наткнулись на свежий след оленя, а рядом виднелись следы волков. «Олень старый, — сказал Зинг-Ха, лучше разбиравшийся в следах. — Олень старый и отстал от стада. Волки отрезали его от братьев, и теперь они его не упустят». Так оно и было. Таков был обычай волков. Днем и ночью, никогда не отдыхая, преследовали они добычу, рыча и подпрыгивая к самому носу жертвы, пока она не выбивалась из сил. Как заиграла кровь в жилах мальчиков! Конец оленя — какое прекрасное зрелище!

Мальчики будто на крыльях пустились по следу, и даже он — Коскуш, неопытный следопыт — мог бы найти этот след с закрытыми глазами,

так отчетливы были отпечатки на снегу. Они шли по горячему следу, читая на каждом шагу знаки мрачной трагедии. Вот они подошли к месту, где олень остановился. Вокруг снег был примят и разбросан. Посередине виднелись глубокие выемки от копыт оленя, а кругом — повсюду легкие отпечатки ног волков. Пока одни волки мучили жертву, другие валялись в снегу и отдыхали. Отпечатки их вытянувшихся тел были настолько отчетливы, словно волки только что убежали отсюда. Защищаясь, обезумевшая жертва ударила одного из волков, и он был затоптан насмерть. Несколько начисто обглоданных косточек служили свидетельством.

Дальше они снова наткнулись на место, где олень остановился. Здесь происходила отчаянная борьба. Волкам дважды удалось повалить оленя, как показывали следы на снегу, и дважды олень сбрасывал с себя врагов. Он давно выполнил свой жизненный долг, но тем не менее жизнь была ему дорога. Зинг-Ха говорил, что очень редко оленю удается подняться, если он упал, но этому оленю удавалось. Шаман, верно, увидит в этом чудесное предзнаменование, когда они ему все расскажут.

И опять они подошли к месту, где олень пытался оставить берег и броситься в лес. Но волки

настигли его, он стал на дыбы и свалился на них, придавив двух. Очевидно, жертва выбивалась из сил, ибо убитые волки лежали нетронутые. Мальчики торопливо миновали еще две остановки: эти остановки отстояли друг от друга недалеко и, судя по следам, были очень непродолжительны. След окрасился кровью, а шаги оленя стали короткими и неровными. Затем до них донеслись первые звуки борьбы — вой преследователей сменился коротким отрывистым лаем, говорившим о том, что победа близка. Зинг-Ха против ветра полз по снегу, а за ним пополз и Коскуш, которому предстояло через несколько лет стать вождем племени. Оба они раздвинули нижние ветви молодой ели и просунули головы. Увидели они уже смерть оленя.

Эта картина, как и все воспоминания юности, ярко запечатлелась в его памяти, и перед потухшим взором вся сцена разыгралась так же живо, как в те давно прошедшие времена. Коскуш удивился, ибо в последующие годы, когда он был вождем племени и старшим в совете, он совершал великие деяния, и его имя было проклято племенем Пелли, не говоря уже о белолицем чужестранце, которого он убил в рукопашном бою.

Долго размышлял он о днях своей юности, пока

огонь не уменьшился и не усилился мороз. Он подложил в костер два полена зараз и ощупью пересчитал, сколько остается поленьев. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о своем деде и собрала бы больше дров, его часы были бы продлены. Сделать это ей было нетрудно. Но она всегда была беспечной и перестала почитать предков с тех пор, как Бобр, сын сына Зинг-Ха, остановил на ней свой взор. А впрочем, не все ли равно? Разве он поступал иначе в дни своей юности? Он прислушался к тишине. Быть может, сердце его сына смягчилось, и он возвращается со своими собаками, чтобы захватить старого отца в те места, где можно убить много жирных, вкусных оленей.

Он насторожился и перестал напряженно думать. Тихо, ни звука. Он один жил среди Великого Безмолвия. Ему стало тоскливо. Но, чу! Что это? По его телу пробежала дрожь. Знакомый протяжный вой нарушил тишину и раздался почти рядом с ним. Перед его померкшими очами встало видение оленя — старого матерого оленя — его окровавленные бока, спутанная грива, большие развесистые рога — олень, бьющийся до конца. Он увидел серых волков, горящие глаза, высунутые языки и покрытые пеной клыки. Он видел, как суживается роковой круг и стая вол-

ков сбивается в небольшую кучу на полянке, где утоптан снег.

Холодная морда ткнулась в его щеку, и ее прикосновение вернуло его к действительности. Он сунул руку в огонь и вытащил горящее полено. Обуянный инстинктивным страхом перед человеком, зверь отступил, призывая протяжным воем собратьев; раздался ответный вой, и вскоре старик был окружен кольцом подкрадывающихся волков. Он прислушался, угадывая смыкание неумолимого круга, и дико взмахнул головней. Фырканье зверей перешло в рычание, но хищники не разбежались. Вот один из них ползет вперед, вот другой, теперь третий, ни один из них не отступил. Зачем цепляться за жизнь, подумал старик и бросил горящее полено в снег. Оно зашипело и погасло. Волки беспокойно рычали, смыкая круг. А перед ним снова мелькнула последняя остановка старого, матерого оленя, и Коскуш устало уронил голову на колени. В конце концов, не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

Нам-Бок лжец

— Байдарка, не правда ли? Глядите! Байдарка, а в ней человек неуклюже гребет веслом!

Старая Баск-Ва-Ван стала на колени и, дрожа от старости и нетерпения, глядела на море.

— Нам-Бок всегда плохо справлялся с веслом, — бормотала она, вспоминая прошлое, и, заслонив глаза от солнца, вглядывалась в серебряную поверхность моря. — Нам-Бок всегда был неуклюжим. Я помню…

Но женщины и дети громко смеялись, и в их смехе звучала легкая насмешка; ее голос умолк, и только губы продолжали беззвучно шептать.

Куга поднял седеющую голову от работы — он резал по кости — и проследил глазами ее взгляд. Рассекая волны, чья-то байдарка направлялась к берегу. Сидевший в байдарке греб изо всех сил, но он был очень неловок, и байдарка приближалась зигзагообразно. Куга снова опустил голову над работой и на зажатом между коленями моржовом клыке вырезал спинной плавник неведомой рыбы — такую нельзя было найти ни в одном из морей.

— Это, конечно, человек из соседнего селе-

ния, — заявил он наконец. — И он едет ко мне посоветоваться, как резать узоры на кости. Но этот человек очень неловок. Он никогда не сумеет резать на кости.

— Это Нам-Бок, — повторяла старая Баск-Ва-Ван. — Неужто я не знаю своего сына! — резким голосом произнесла она. — Снова говорю вам, что это Нам-Бок.

— Ты говорила это каждое лето, — мягко укорила ее одна из женщин. — Как только море освобождалось от льда, ты садилась на берегу и целыми днями ждала, а при виде любого челнока говорила: «Это Нам-Бок». Нам-Бок умер, о Баск-Ва-Ван, а мертвые не возвращаются. Не бывало еще, чтобы мертвый вернулся.

— Нам-Бок! — закричала старуха так громко и резко, что все переполошились и стали на нее смотреть.

Она с трудом стала на ноги, заковыляла по песку и наткнулась на лежавшего на солнышке ребенка, и его мать бросилась унимать его слезы, посылая проклятия вдогонку старухе. Она ни на что не обращала внимания. Ребятишки бежали к берегу, обгоняя ее, и когда гребец подплыл ближе, чуть не перевернув байдарку неловким взмахом весла, женщины последовали за ней. Куга оста-

вил свой моржовый клык и пошел навстречу, тяжело опираясь на посох, а за ним, по двое и по трое, двинулись и мужчины.

Байдарка повернулась боком к берегу, и прибой затопил бы ее, если бы один из голых мальчуганов не вбежал в воду и не вытащил ее на берег. Гребец встал и внимательно оглядел встречавших его людей. Разноцветная фуфайка, изношенная и грязная, висела свободно на его широких плечах, а вокруг шеи был повязан красный бумажный платок, как у матросов. На коротко остриженной голове была надета рыбачья шляпа, а грубые штаны и башмаки дополняли его наряд.

Но он все же показался удивительным явлением этим простодушным рыбакам с великой дельты Юкона. Они всю жизнь глядели на Берингово море и за все время видели всего двух белых людей — статистика и заблудившегося иезуита. Они были бедны, у них не было ни золота, ни ценных мехов, и поэтому белые люди к ним не заглядывали. Тысячелетиями Юкон приносил с собой частицы смытой почвы Аляски, и море настолько обмелело, что крупные суда держались подальше от этих берегов. Поэтому-то этот край с его необозримыми равнинами и болотистыми островками никогда не посещали корабли белых

людей.

Куга, резчик по кости, внезапно отступил, споткнулся о свой посох и упал на землю.

— Нам-Бок, — закричал он, барахтаясь и пытаясь подняться. — Нам-Бок, поглощенный морем, вернулся!

Мужчины и женщины отпрянули назад, и дети бросились к ним, ища защиты. Один Опи-Кван держался спокойно, как приличествовало старшине селения. Он шагнул вперед и долго и внимательно разглядывал пришельца.

— Да, это Нам-Бок, — сказал он наконец. Услышав это, женщины с испуга расплакались и отошли еще дальше.

Губы пришельца нерешительно зашевелились, и видно было, что невысказанные слова душат его.

— Да, да, это Нам-Бок, — хрипло заговорила Баск-Ва-Ван, вглядываясь в его лицо. — Я всегда говорила, что Нам-Бок вернется.

— Да, Нам-Бок вернулся. — На этот раз эти слова были сказаны самим Нам-Боком. Он переступил через борт байдарки и остался стоять одной ногой в байдарке, а другой на песке. Он хотел заговорить снова, с трудом вспоминая забытые слова. Когда же он наконец заговорил, гортанные звуки

с каким-то прищелкиванием слетали с его губ.

— Привет, о братья, — сказал он, — братья прежних дней, когда ветер не унес меня от вас в море.

Он ступил двумя ногами на берег, и Опи-Кван махнул рукой, как бы приказывая ему вернуться в байдарку.

— Ты ведь умер, Нам-Бок, — сказал он.

Нам-Бок рассмеялся:

— Погляди, как я толст.

— Мертвые не бывают толсты, — согласился Опи-Кван. — У тебя прекрасный вид, но это очень странно. Ни один человек не уходил с береговым ветром, чтобы вернуться через много лет.

— Я вернулся, — просто сказал Нам-Бок.

— Может, ты тень, бродячая тень Нам-Бока. Тени возвращаются.

— Я голоден. Тени не едят.

Но Опи-Кван колебался и в смущении потирал лоб. Нам-Бок тоже был смущен и, глядя на стоявших вокруг людей, ни в чьих глазах не встретил привета. Мужчины и женщины тихо перешептывались между собою. Дети робко жались за спинами старших, а собаки подозрительно его обнюхивали.

— Я родила тебя, Нам-Бок, и давала тебе грудь, когда ты был маленьким, — хныкала Баск-Ва-Ван,

подходя ближе, — и тень ты или не тень, я тебе дам поесть.

Нам-Бок двинулся к ней, но возгласы страха и угрозы остановили его. Он произнес на чужом языке что-то, звучавшее как английское «проклятье!», и прибавил:

— Я не тень, я живой человек.

— Кто может проникнуть в мир таинственного? — спросил Опи-Кван, обращаясь отчасти к себе, а отчасти к своим соплеменникам. — Мы существуем — и через мгновение нас нет. Если человек может стать тенью, почему тени не обратиться в человека? Нам-Бок был, но его нет. Это мы знаем, но мы не знаем, Нам-Бок ли это или тень Нам-Бока.

Нам-Бок прочистил глотку и ответил:

— В прежние годы отец твоего отца, Опи-Кван, ушел и вернулся через много лет. Ему не отказали в месте у очага. Говорят… — Он многозначительно помолчал, и все нетерпеливо ожидали продолжения его речи. — Говорят, — повторил он, обдуманно направляя удар в цель, — что Сипсип, его жена, родила двух сыновей после его возвращения.

— Но он уходил не с береговым ветром, — возразил Опи-Кван. — Он ушел в глубь страны, а это

уже так положено, чтобы человек мог сколько ему угодно ходить по суше.

— А также и по морю. Но это неважно… Говорят… отец твоего отца рассказывал удивительные вещи обо всем, что он видел.

— Верно, он рассказывал удивительные вещи.

— Я тоже могу рассказать удивительные вещи, — коварно сказал Нам-Бок. А когда он заметил их колебание, добавил: — Я привез с собой и подарки.

Он взял из байдарки шаль невиданной ткани и окраски и набросил ее на плечи матери. Женщины вскрикнули от восхищения, а старая Баск-Ва-Ван разглаживала нарядную ткань, радуясь подарку, как ребенок.

— Он привез нам интересные рассказы, — бормотал Куга.

— И подарки, — добавила одна из женщин.

Опи-Кван понимал, что все хотят услышать рассказы Нам-Бока, и ему самому до смерти захотелось узнать, что делается на свете. Рыбная ловля была удачна, рассудил он, и у нас жира вдоволь…

— Идем, Нам-Бок, мы будем праздновать твое возвращение.

Двое мужчин подняли байдарку и на плечах

перенесли ее к огню. Нам-Бок шел рядом со старшиной, и все селение следовало за ними. Отстали лишь женщины — они хотели еще полюбоваться шалью и пощупать ее.

За едой говорили мало, и только кое-кто смотрел с любопытством на сына Баск-Ва-Ван. Эти взгляды смущали его — не потому, что он отличался скромностью, нет, но вонь тюленьего жира лишала его аппетита, и ему во что бы то ни стало хотелось скрыть это обстоятельство.

— Ешь, ты ведь голоден, — сказал Опи-Кван, и Нам-Бок, зажмурив глаза, сунул руку в котел с тухлой рыбой.

— Не стесняйся! В этом году было много тюленей, а крупные, сильные мужчины всегда голодны. — И Баск-Ва-Ван обмакнула в жир особенно противный кусок рыбы и любовно протянула его сыну.

Нам-Бок почувствовал, что его желудок не так силен, как в прежние дни, и, в отчаянии набив трубку, закурил. Остальные продолжали шумно есть и глядели на него. Немногие из них могли похвастаться коротким знакомством с драгоценным куревом, хотя время от времени, при меновых сделках с эскимосами, им перепадали небольшие порции отвратительного табака.

Сосед его, Куга, дал понять, что не прочь сделать одну затяжку, и, продолжая жевать, приложился измазанными жиром губами к янтарному мундштуку. Увидев это, Нам-Бок схватился дрожащей рукой за живот и отказался принять трубку обратно. Пусть Куга оставит трубку себе, сказал он, он с самого начала собирался преподнести ее Куга. Окружающие облизывали пальцы и хвалили его щедрость.

Опи-Кван встал.

— А теперь, Нам-Бок, мы поели и хотим послушать рассказ об удивительных вещах, что ты видел.

Рыбаки захлопали в ладоши и, запасшись работой, приготовились слушать. Мужчины отделывали копья или вырезали узоры на кости, а женщины счищали жир с кож волосатых тюленей, разминали их или шили верхнюю одежду нитками из сухожилий. Нам-Бок оглядывался кругом, но не находил той прелести, что рисовалась ему в мечтах о доме. В годы странствований он часто представлял себе эту сцену, а теперь, когда вернулся, испытал разочарование. Жизнь эта жалкая и нищенская, подумал он, и ее нельзя даже сравнивать с той жизнью, к какой он привык. Все же ему хотелось открыть им неведомый для

них мир, и при этой мысли его глаза засверкали.

— Братья, — начал он со снисходительной вежливостью человека, собирающегося рассказать о своих великих деяниях, — ушел я от вас много лет назад поздним летом, и погода была такая же, как теперь. Вы все помните тот день, когда чайки летали низко, а ветер сильно дул с суши, и я не смог вести байдарку против ветра. Я крепко привязал покрышку к байдарке, чтобы вода не могла залить ее, и всю ночь напролет боролся с бурей. А наутро не видно было нигде земли — только вода, и ветер с суши крепко держал меня, унося все дальше от вас. Три ночи сменились зарей, а земли все не было видно, и ветер не хотел отпустить меня на свободу.

Когда наступил рассвет четвертого дня, я почти обезумел. От голода не мог двинуть веслом, а голова моя кружилась от жажды. Но море успокоилось; дул мягкий южный ветер, и когда я оглянулся вокруг, то увидел такое, что подумал, будто я и вправду рехнулся.

Нам-Бок остановился, чтобы вытащить застрявший в зубах кусочек лососины, а все мужчины и женщины, оставив работу, напряженно ждали продолжения рассказа.

— Это была лодка, большая лодка. Если бы из

всех каноэ, что я до тех пор видел, составить одну, то и тогда бы не получилось такой большой лодки.

Раздались возгласы сомнения, и обремененный годами Куга покачал головой.

— Если бы каждая байдарка равнялась песчинке, — с вызовом продолжал Нам-Бок, — и если взять столько байдарок, сколько песчинок на берегу вашей бухты, все же не получится такая большая лодка, как та, что я видел на рассвете четвертого дня. Лодка эта была очень велика и называлась *шхуной.* Я увидел, как это чудо, эта большая шхуна, направлялась ко мне, и на борту были люди.

— Погоди, о Нам-Бок! — прервал его Опи-Кван. — Какие это были люди? Огромного роста?

— Нет, люди такие же, как ты и я.

— А большая лодка шла быстро?

— Да.

— Борта высокие, люди маленькие, — установил Опи-Кван первую посылку силлогизма. — А люди эти гребли длинными веслами?

Нам-Бок ухмыльнулся.

— Весел у них не было, — ответил он.

Все рты раскрылись, и наступило долгое молчание. Опи-Кван взял трубку у Куга и задумчиво

затянулся. Одна из молодых женщин нервно хихикнула, и взоры всех обратились на нее с неудовольствием.

— Итак, весел не было? — мягко спросил Опи-Кван, возвращая трубку.

— Дул южный ветер, — пояснил Нам-Бок.

— Но ведь ветер очень тихо гонит перед собой лодку.

— У шхуны были крылья — вот так! — Он нарисовал на песке схему мачты и парусов, и мужчины столпились вокруг него, разглядывая рисунок. Дул резкий ветер, и он для большей ясности схватил шаль матери за углы и вытянул ее, пока она не надулась, как парус. Баск-Ва-Ван бранилась и отбивалась от него, но ветер отбросил ее шагов на двадцать, и она, запыхавшись, растянулась на куче щепок. Мужчины невнятными звуками показали, что поняли объяснение, но Куга внезапно откинул назад свою седую голову.

— Хо-хо! — расхохотался он. — И дурацкая же штука эта большая лодка! Самая дурацкая на свете. Игрушка ветра! Куда дует ветер, туда и плывет лодка. Ни один человек в лодке не может знать, где он пристанет к берегу, потому что он плывет по воле ветра, а ветер дует, как ему хочется, но никто не может знать его воли.

— Да, это так, — серьезно подтвердил Опи-Кван. — По ветру плыть легко, но против ветра человеку приходится сильно напрягаться, а так как у людей в большой лодке не было весел, они не могли бороться с ветром.

— Им незачем бороться, — сердито воскликнул Нам-Бок. — Шхуна отлично идет против ветра.

— А что же заставляет ш…ш…хуну идти? — спросил Куга, запинаясь, ибо слово это было для него непривычным.

— Ветер, — был нетерпеливый ответ.

— Итак, ветер заставляет ш…ш…хуну идти против ветра? — Старый Куга подмигнул Опи-Квану и при общем смехе продолжал: — Ветер дует с юга и гонит шхуну к югу. Ветер гонит против ветра. Ветер гонит в одну сторону и гонит в другую в одно и то же время. Это очень просто. Мы поняли, Нам-Бок. Мы все поняли.

— Ты глупец.

— Правда слетает с твоих уст, — покорно сказал Куга. — Я слишком долго соображал, а штука была совсем простая.

Но лицо Нам-Бока потемнело, и он быстро произнес какие-то ими никогда не слышанные слова. Мужчины снова принялись за резьбу, а женщины — за очистку тюленьих кож. Нам-Бок

крепко сжал губы и не хотел продолжать, ибо никто ему не верил.

— Эта ш…ш…шхуна, — невозмутимо продолжал свои расспросы Куга, — была сделана из большого дерева?

— Она сделана из многих деревьев, — коротко отрезал Нам-Бок. — Она была очень велика.

Он снова погрузился в угрюмое молчание, и Опи-Кван подтолкнул локтем Куга; тот удивленно покачал головой и произнес:

— Все это очень странно.

Нам-Бок попался на эту удочку.

— Это еще ничего, — сказал он, — вот вы бы на пароход посмотрели. Насколько байдарка больше песчинки, насколько шхуна больше байдарки, — настолько пароход больше шхуны. А кроме того, пароход сделан из железа. Он весь железный.

— Нет, нет, Нам-Бок, — воскликнул старшина, — это не может быть! Железо всегда идет ко дну. Вот я получил в обмен железный нож от старшины соседнего селения, а вчера этот нож выскользнул у меня из рук и упал в море. Над всеми вещами есть закон. Ничто не может идти против закона. Это нам известно. И кроме того, нам известно, что над одинаковыми вещами есть один закон. Над железом есть только один закон.

И потому откажись от своих слов, Нам-Бок, чтобы мы не потеряли уважения к тебе.

— Но это так, — настаивал Нам-Бок. — Пароход весь железный — и все же он не тонет.

— Нет, не может быть!

— Я видел своими глазами.

— Это противоречит тому, что положено.

— Но скажи мне, Нам-Бок, — вмешался Куга, боясь, что спор помешает рассказу. — Каким образом эти люди находят свой путь по морям, если там нет берега, которого можно держаться?

— Солнце указывает путь.

— Как?

— В полдень главный начальник шхуны берет один предмет и глядит через него на солнце, а затем он заставляет солнце спуститься с неба на край земли.

— Но ведь это волшебство! — воскликнул Опи-Кван, пораженный таким святотатством. Мужчины в ужасе всплеснули руками, а женщины застонали. — Это волшебство. Нехорошо отклонять от своего пути великое солнце, прогоняющее ночь и дающее нам тюленей, лососей и тепло.

— Что из того, что волшебство? — свирепо спросил Нам-Бок. — Я тоже смотрел в этот предмет и

заставлял солнце спускаться с неба.

Сидевшие ближе отпрянули от него, а одна из женщин накрыла лицо лежавшего у ее груди ребенка, оберегая его от взгляда Нам-Бока.

— Но наутро четвертого дня, о Нам-Бок, — подсказал Куга, — наутро четвертого дня, когда ш…ш… шхуна приблизилась к тебе?..

— У меня оставалось мало сил, и я не мог двигаться. Они взяли меня на борт, напоили водой и дали мне поесть. Вы, братья, два раза видели белых людей. Люди на шхуне были белолицы, и их было столько, сколько у меня на руках и на ногах пальцев. Когда я увидел, что они ко мне добры, я осмелел и решил запомнить все, что видел. Они научили меня выполнять их работу, давали хорошую пищу и отвели мне место для сна.

День за днем плавали мы по морю, и каждый день начальник заставлял солнце спускаться с неба и указывать, где мы находимся. Когда погода благоприятствовала, мы ловили тюленей, и я очень удивлялся, глядя, как они выбрасывают за борт мясо и жир, оставляя себе только шкуру.

Рот Опи-Квана перекосился, и он готов был обрушиться на такую расточительность, но Куга толкнул его, заставив замолчать.

— После долгих, тяжелых трудов, когда солнце

скрылось, а воздух стал холодным, начальник направил шхуну к югу. Мы держали путь к югу и к западу и плыли день за днем, не видя земли. Проходя мимо селения…

— Откуда вы знали, что оно близко? — спросил Опи-Кван, не в состоянии больше сдерживаться. — Земли же не было видно.

Нам-Бок злобно посмотрел на него:

— Разве я не говорил, что начальник заставил солнце спуститься с неба?

Куга примирил их, и Нам-Бок продолжал:

— Как я уже говорил, когда мы проходили вблизи селения, подул сильный ветер, и мы в полной темноте, беспомощные, не знали, где находимся…

— Ты только что сказал, что начальник знал…

— Помолчи, Опи-Кван! Ты глупец и этого понять не можешь. Итак, мы были беспомощны в темноте, и вдруг я за ревом бури услыхал шум прибоя о берег. В следующий миг мы налетели на скалы, и я очутился в воде и поплыл. Скалистый берег тянулся на много миль, но мне было суждено оказаться на песке и выбраться невредимым из воды. Остальные, очевидно, разбились о скалы, потому что никто больше не был выброшен на берег, кроме начальника, — его можно было

узнать только по кольцу на пальце.

Когда наступил день, от шхуны ничего не осталось, и я повернулся спиной к морю и пошел в глубь страны, чтобы достать пищи и увидеть людей. Я добрался до жилья, и меня пригласили войти и накормили, потому что я научился их языку, а белые люди всегда приветливы. Жилище их было больше, чем все дома, какие строили мы и до нас наши отцы.

— Это был громадный дом, — заметил Куга, маскируя свое недоверие удивлением.

— И немало деревьев пошло на постройку такого дома, — прибавил Опи-Кван, поняв намек.

— Это еще пустяки, — пренебрежительно пожал плечами Нам-Бок. — Наши дома так же малы по сравнению с этим домом, как он мал по сравнению с теми домами, что мне пришлось увидеть впоследствии.

— А люди тоже были высокие?

— Нет, люди были, как ты и я, — отвечал Нам-Бок. — Я срезал себе по пути палку, чтобы легче было идти, и, помня, что должен буду рассказать вам, братья, все, что видел, я делал на палке по зарубке на каждого человека, живущего в том доме. Я прожил там много дней и работал, а они за работу давали мне деньги — вы еще не знаете,

что это такое, но это очень хорошая вещь.

Затем я в один прекрасный день ушел оттуда и пошел дальше в глубь страны. По дороге я встречал множество людей и стал делать зарубки меньшего размера, чтобы хватило места на всех. Вдруг я натолкнулся на странную вещь. На земле передо мной лежала железная полоса шириной в мою руку, а на расстоянии большого шага лежала другая полоса…

— Значит, ты стал богатым человеком, — заметил Опи-Кван. — Ведь железо самая дорогая вещь на свете. Из этих полос можно было сделать много ножей.

— Нет, это железо было не мое.

— Ты нашел его, а находка по закону принадлежит нашедшему.

— Нет, это не так: белые люди положили железные полосы. А кроме того, эти полосы были такой длины, что никто не мог унести их, — я и конца их не видел.

— Это слишком много железа, Нам-Бок, — заметил Опи-Кван.

— Да, я с трудом верил своим глазам, но глаза меня не обманывали. Пока я разглядывал железо, я услыхал… — Он повернулся к старшине. — Опи-Кван, ты слышал, как ревет разгневанный

морской лев. Представь себе рев стольких морских львов, сколько волн в море, и представь себе, что все львы превратились в одно чудовище, — так вот рев этого чудовища походил бы на рев, который я услышал.

Рыбаки громко закричали от удивления, а Опи-Кван так и остался с разинутым ртом.

— На некотором расстоянии я увидел чудовище размером в тысячу китов. У него был всего один глаз, оно извергало дым и невероятно рычало. Я испугался и, спотыкаясь, бросился бежать по тропинке между полосами. Но чудовище мчалось со скоростью ветра, и я прыгнул в сторону через железную полосу, почувствовав на своем лице его горячее дыхание…

Опи-Кван овладел собою и закрыл рот.

— А потом что было, о Нам-Бок?

— Потом оно промчалось мимо меня по железным полосам, не причинив мне никакого вреда; когда я опомнился, оно уже исчезло из виду. Но это очень обыкновенная вещь в той стране. Даже женщины и дети ее не боятся. Белые люди заставляют этих чудовищ работать на себя.

— Как мы заставляем работать наших собак? — спросил Куга с недоверчивым огоньком в глазах.

— Да, как мы заставляем работать наших со-

бак.

— А как они разводят этих… чудовищ? — спросил Опи-Кван.

— Они их не разводят. Они искусно строят их из железа, кормят их камнями и поят водой. Камень превращается в огонь, а вода превращается в пар; пар от воды — дыхание этих чудовищ, а…

— Довольно, довольно, о Нам-Бок, — прервал его Опи-Кван. — Расскажи нам о других чудесах. Нас утомляют эти чудеса, мы их не понимаем.

— Не понимаете? — безнадежно спросил Нам-Бок.

— Нет, не понимаем, — жалобно заныли все мужчины и женщины. — Мы не можем понять.

Нам-Бок подумал о сложных земледельческих машинах, об аппаратах, дающих изображения живых людей, о других аппаратах, передающих голоса людей, и понял, что его народ ничего не поймет в его рассказах.

— Вы мне поверите, если я скажу, что я ездил на этом чудовище? — с горечью спросил он.

Опи-Кван поднял кверху руки, ладонями вперед, открыто выказывая свое недоверие.

— Продолжай, говори, что хочешь. Мы тебя слушаем.

— Итак, я ездил на железном чудовище, запла-

тив за проезд деньги…

— Ты же говорил, что его кормили камнями.

— О, глупец, я говорил еще, что деньги — это такая вещь, о которой вы ничего не знаете. И вот, как я сказал, я проехал на этом чудовище мимо многих селений, пока не доехал до большого селения, стоявшего на морском заливе. Крыши домов здесь достигали звезд, облака отдыхали на этих крышах, и все кругом было затянуто дымом. Шум этого селения был подобен шуму бури на море, а народу было столько, что я бросил прочь палку и перестал думать о сделанных зарубках.

— Если бы ты делал маленькие зарубки, — упрекнул его Куга, — ты мог бы дать нам точный отчет.

Нам-Бок в бешенстве повернулся к нему:

— Если бы я делал маленькие зарубки! Послушай, Куга, — ты, умеющий только царапать по кости! Если бы я стал делать маленькие зарубки, все равно не хватило бы ни моей палки, ни двадцати палок, ни всех принесенных морем палок на берегу между нашим селением и соседним. И если бы всех вас, с женщинами и детьми, было в двадцать раз больше, и у каждого из вас было по двадцать рук, и каждая рука держала бы нож и палку — и тогда бы вам не удалось сделать

столько зарубок, сколько людей я видел в городе — так много их там и так быстро они приходят и уходят.

— Во всем мире не может быть столько людей, — возразил Опи-Кван; он был ошарашен и бессилен представить такое количество.

— Что можешь ты знать о мире и о его размерах? — спросил Нам-Бок.

— Но в одном месте не может находиться столько людей.

— Кто ты такой, чтобы говорить о том, что может быть и чего не может?

— Это само собой понятно, что в одном месте не может находиться столько людей. Их каноэ сплошь покрывали бы море, и никто бы не мог управлять каноэ за недостатком места. Они каждый день вылавливали бы из моря всю рыбу, и на всех не хватило бы и пищи.

— Казалось бы, что так, — закончил Нам-Бок, — но все же это правда. Я видел собственными глазами и бросил прочь свою палку. — Он протяжно зевнул и встал. — Я плыл издалека. День был долог, и я устал. Теперь я пойду спать, а завтра мы поговорим еще о диковинках, которые я видел.

Баск-Ва-Ван заковыляла впереди, гордая и в

то же время напуганная своим удивительным сыном. Она привела его в свою *иглоо* и уложила спать на грязных, вонючих шкурах. Но мужчины остались сидеть у костра и держали совет, тихо перешептываясь и обсуждая что-то вполголоса.

Прошел час и другой; Нам-Бок спал, а беседа все продолжалась. Вечернее солнце склонялось к северо-западу и к одиннадцати часам было на севере. Тогда старшина и резчик по кости отделились от остальных и пошли будить Нам-Бока. Он прищурил на них глаза и повернулся на другой бок, чтобы уснуть. Опи-Кван схватил его за руку и добродушно, но решительно тряс его, пока не привел в чувство.

— Пора, Нам-Бок, вставай! — приказал он. — Время пришло.

— Снова еда? — воскликнул Нам-Бок. — Нет, я не голоден! Ешьте без меня и дайте мне выспаться.

— Время уходить! — загремел Куга.

Но Опи-Кван заговорил более мягко.

— Ты был другом моего детства, — сказал он. — Мы с тобой вместе охотились на тюленей и ловили лососей. И ты спас мне жизнь, Нам-Бок, когда море сомкнуло надо мной свои воды и потянуло вниз к черным скалам. Мы вместе голодали

и мерзли и укрывались одной шкурой, плотно прижимаясь друг к другу. Все это и моя любовь к тебе заставляют меня страдать, что ты вернулся к нам таким удивительным лжецом. Мы ничего не можем понять, и у нас идет кругом голова от всего, что ты рассказал нам. Это нехорошо, и мы долго обсуждали это на совете. Поэтому мы отсылаем тебя обратно — нам надо сохранить разум ясным и сильным и не смущать его несказанными чудесами.

— Ты нам рассказывал о тенях, — подхватил Куга. — Ты принес свои рассказы из мира теней и должен вернуть их в мир теней. Байдарка готова, и все племя ждет. Они не пойдут спать, пока ты не уйдешь.

Нам-Бок был поражен и вслушивался в голос старшины.

— Если ты — Нам-Бок, — говорил Опи-Кван, — то ты бесстыдный и удивительный лжец; если ты — тень Нам-Бока, — значит, ты говорил нам о тенях, а нехорошо, чтобы живые проникали в мир теней. Мы думаем, что большое селение, о котором ты говорил, населено тенями. Там живут души мертвых, ибо мертвых много, а живых мало. Мертвые не возвращаются, мертвые никогда еще не возвращались — вернулся один ты с

твоими удивительными рассказами. Мертвым не следует возвращаться, и если мы это допустим, нам придется вынести много горя.

Нам-Бок хорошо знал свой народ и понимал, что решение совета — окончательное. Итак, он, не сопротивляясь, спустился с ними к берегу, где его посадили в байдарку и дали в руку весло. Одинокая морская птица летела к морю, и прилив слабо и глухо катил на берег свои волны. Густые сумерки окутали землю и небо, а на севере солнце едва вырисовывалось, затемненное грядою кроваво-красных облаков. Чайки летали низко над землей. С суши дул резкий, холодный ветер, и черные массы облаков предвещали непогоду.

— Из моря ты пришел к нам, — нараспев протянул Опи-Кван, — и обратно в море ты уйдешь. Так будет выполнен закон.

Баск-Ва-Ван проковыляла до пенистой границы воды и закричала:

— Благословляю тебя, Нам-Бок, за то, что ты помнил обо мне.

Но Куга, отталкивая байдарку от берега, сорвал с ее плеч шаль и кинул ее в байдарку.

— Холодно в долгие ночи, — заплакала она, — холод больно щипает старые кости.

— Это лишь тень, — отвечал резчик по кости. —

Тени не греют.

Нам-Бок встал, чтобы быть услышанным.

— О Баск-Ва-Ван, что родила меня! — воскликнул он. — Услышь слова твоего сына, Нам-Бока. В байдарке хватит места на двоих, и он хочет взять тебя с собою. Он едет в места, где рыбы и жира вволю. Мороза там нет, жизнь легка, и железные вещи выполняют работу человека. Хочешь, Баск-Ва-Ван?

Она колебалась, а когда челнок начал быстро удаляться, пронзительно закричала старческим дрожащим голосом:

— Я стара, Нам-Бок, и скоро перейду в царство теней. Но я не хочу идти туда до положенного мне срока. Я стара, Нам-Бок, и я боюсь.

Луч света прорезал тьму и залил лодку и человека золотом и пурпуром. Рыбаки замолкли, и слышался только стон ветра да кричали чайки, летавшие низко над морем.

Заклинатель духов

Селение было взволновано. Женщины, собравшись группами, перешептывались. Мужчины были угрюмы и задумчивы, и даже собаки, обеспокоенные волнением людей, уныло бродили вокруг, готовясь бежать в лес при первых враждебных действиях. Воздух был насыщен подозрением. Никто не был уверен в своем соседе, и каждый думал, что сосед подозревает его. Даже дети были подавлены и притихли, а причина всего переполоха — маленький Ди-Иа, которого здорово отколотила его мать Гуниа, а затем и отец Боун — хныкал и уныло глядел на мир из-под опрокинутого на берегу каноэ.

К несчастью, Сканду, шаман, был вне милости, и нельзя было прибегнуть к его познаниям, чтобы найти злодея. Дело в том, что месяц назад Сканду предвещал благоприятный южный ветер на тот день, когда все племя собиралось ехать в Тонкин на потлач[4], — чтобы устроить потлач, Таку-Джим затратил все свои сбережения за двадцать лет, — когда же назначенный день настал,

---

[4] notes: 4
Потлач — пиршество. *(Прим. ред.)*

дул свирепый северный ветер, и из первых трех каноэ, рискнувших отправиться в путь, одно опрокинулось, а два были разбиты вдребезги о скалы, причем утонул один ребенок. Сканду объяснил это ошибкой — он взял шнур для гадания не из той сумки. Но никто его не хотел слушать; к его двери больше не приносили ни мяса, ни рыбы, ни мехов; и он угрюмо сидел взаперти, так думали односельчане, горько раскаиваясь и постясь; на самом же деле он прекрасно питался, поедая припрятанные запасы, и размышлял о непостоянстве толпы.

Пропали одеяла Гуниа. Это были прекрасные одеяла, толстые и теплые. Гуниа чрезвычайно гордилась ими, тем более, что они очень дешево ей достались. Один лишь Ти-Кван, из соседнего селения, был настолько глуп, чтобы так легко расстаться с ними. Правда, она не знала, что это были одеяла убитого англичанина и что после этого убийства американский катер долгое время шнырял вдоль берега, а шлюпки обыскивали все укромные бухточки и заливы. Она не знала, что Ти-Кван во что бы то ни стало хотел избавиться от них, чтобы не навлечь на свое селение гнева американского правительства, и спокойно продолжала гордиться своим приобретением.

Зависть остальных женщин только подливала масла в огонь, и ее тщеславие, все увеличиваясь, наполнило собой селение и разлилось по всему побережью Аляски от Голландской гавани до гавани Ст. — Мэри. Все прославляли ее *тотэм*; ее имя было на устах мужчин за рыбной ловлей и за трапезой; повсюду только и было разговора, что об ее одеялах, — о том, какие они толстые и плотные. Их исчезновение было весьма таинственным и странным происшествием.

— Я только разложила их на солнышке у стены хижины, — повествовала в тысячный раз Гуниа своим подругам. — Я только разложила их и вернулась в дом, потому что Ди-Иа, пожиратель сырой муки и теста, сунул голову в большой железный котел, опрокинул его и остался стоять вниз головой, а ноги его качались в воздухе, как ветви деревьев на ветру. Я только вытащила его и два раза ударила головой о дверь, чтобы отучить красть тесто, — и глянь! — одеял уже не было!

— Одеял уже не было! — повторили женщины испуганным шепотом.

— Это большая потеря, — добавила одна из них.

— Никогда здесь не видели таких одеял, — сказала другая.

— Мы очень опечалены твоей потерей, Гуниа, — заговорила третья.

В глубине души каждая из них радовалась, что ненавистные одеяла — предмет зависти и раздора — исчезли.

— Я только разостлала их на солнышке, — начала Гуниа в тысячу первый раз свое повествование.

— Да, да, — заговорил Боун, которому эти разговоры успели надоесть. — К нам никто не приходил из других селений. Очевидно, один из наших односельчан наложил на них свою руку.

— Как же это могло случиться, о Боун? — хором негодовали женщины. — Кто мог это сделать?

— А может быть, здесь замешаны таинственные силы, — продолжал Боун, искоса поглядывая, какое впечатление произвели его слова.

Таинственные силы! При этом страшном слове женщины замолкли и боязливо поглядывали друг на друга.

— Да, это так, — подтвердила Гуниа, и скрытая злобность ее характера нашла себе выход в торжествующем злорадстве. — Клок-Но-Тону послано уже сообщение и крепкие весла. Он, верно, будет здесь с вечерним приливом.

Все разошлись по домам, и над селением на-

вис страх. Из всех несчастий вмешательство таинственных сил было самым ужасным. С неосязаемыми и невидимыми силами мог бороться только шаман, и ни мужчина, ни женщина, ни дитя до момента испытания не могли знать, владеют ли дьяволы их душой или нет. И изо всех шаманов Клок-Но-Тон из соседнего селения был самым страшным. Никто не находил столько злых духов, как он, и никто не подвергал жертв таким жестоким пыткам. Однажды он даже обнаружил злого духа, вселившегося в тело трехмесячного младенца, — духа столь упорного, что изгнать его удалось лишь после того, как младенец неделю пролежал на шипах терновника. После этого его тело было брошено в море, но волны постоянно приносили его обратно на берег, словно угрожая проклятием селению, пока двое сильных мужчин не утащили его во время отлива подальше и не утопили.

И за этим Клок-Но-Тоном послала Гуниа! Было бы гораздо лучше, если бы их собственный шаман Сканду не находился в немилости. Он не так жесток, и известно, что он изгнал двух злых духов из человека, ставшего впоследствии отцом семи здоровых детей. Но Клок-Но-Тон! При одной мысли о нем все содрогались от ужасных пред-

чувствий, и каждый ощущал устремленные на себя обличительные взоры сотоварищей и глядел на них тем же обличительным взором, — каждый, за исключением Сима. А Сим был известный насмешник, и его успехи в жизни не могли поколебать твердой уверенности односельчан в том, что он плохо кончит.

— Хо-хо! — смеялся он. — Дьяволы и Клок-Но-Тон! Да большего дьявола вы по всей стране не сыщете!

— Ты глупец! Теперь он приближается к нам с заклинаниями, попридержи язык, не то тебя постигнет несчастье и сократятся твои дни на земле!

Так говорил Ла-Ла, по прозванию Мошенник, и Сим презрительно расхохотался.

— Я — Сим, я не привык бояться и не пугаюсь тьмы. Я — сильный человек, и мой отец до меня был сильным человеком, и голова моя ясна. Ни вы, ни я не видали своими глазами невидимых злых сил…

— Но Сканду видел, — возразил Ла-Ла. — И Клок-Но-Тон видел. Это всем известно.

— Как же ты узнал об этом, сын глупца? — загремел Сим, и бычья шея его потемнела от гнева.

— Они сами говорили это.

Сим фыркнул:

— Шаман — человек, и только! Разве его слова не могут быть *лживы*, как твои или мои? Тьфу! Тьфу! И еще раз — тьфу! А вот твоему шаману и всем его дьяволам! И вот это! И это!

И, подсмеиваясь, Сим крупными шагами прошел через толпу зрителей, почтительно и испуганно расступившихся перед ним.

— Хороший рыбак, сильный охотник, но дурной человек, — сказал один.

— Однако ему хорошо живется, — заметил другой.

— Ну так и ты будь дурным и процветай, — через плечо возразил Сим. — А если бы все были дурными, тогда и шаманов бы не потребовалось. Полно! Стыдитесь — дети, боящиеся темноты!

Когда с вечерним приливом прибыл Клок-Но-Тон, Сим все так же вызывающе смеялся. Он не удержался и от насмешек над шаманом, когда тот упал на песок при высадке. Клок-Но-Тон сердито поглядел на него и, не здороваясь, прошел через встречавшую его толпу прямо к жилищу Сканду.

О встрече шаманов никто ничего узнать не мог, потому что все толпились на почтительном расстоянии от жилища Сканду и переговаривались шепотом, пока заклинатели духов беседовали.

— Привет тебе, о Сканду! — проворчал Клок-Но-Тон, видимо, колеблясь и не зная, какой его ждет прием.

Он был громадного роста и горой возвышался над маленьким Сканду, голос которого долетал до его ушей, как слабое, отдаленное трещание сверчка.

— Привет, о Клок-Но-Тон! — отвечал тот. — Твой приход — радость моего дня.

— Мне казалось… — начал нерешительно Клок-Но-Тон.

— Да, да… — нетерпеливо перебил его маленький шаман. — Для меня настали тяжелые дни, иначе мне не пришлось бы благодарить тебя за то, что ты выполняешь мою работу.

— Мне очень неприятно, друг Сканду…

— Нет, я очень счастлив, Клок-Но-Тон.

— Я дам тебе половину того, что будет мне заплачено.

— Нет, не надо, друг Клок-Но-Тон, — прошептал Сканду, сопровождая свои слова умоляющим жестом. — Я твой раб, и дни мои полны желанием услужить тебе.

— Как и я…

— Ну да — тем, что сейчас помогаешь мне.

— Итак, это очень скверная история, с этими

одеялами Гуниа?

Большой шаман намеренно протянул свой вопрос, и Сканду усмехнулся бледной, едва заметной усмешкой, ибо умел читать в сердцах людей, и все люди казались ему маленькими и жалкими.

— Искусство твое велико, Клок-Но-Тон, — сказал он. — Несомненно, ты сразу откроешь, кто совершил преступление.

— Да, я найду его, как только увижу. — Клок-Но-Тон снова заколебался. — Приходил сюда кто-нибудь из других селений? — спросил он.

Сканду покачал головой.

— Посмотри, разве это не прекрасный *муклук?*

Он поднял покрывало из тюленьей и моржовой кожи, и посетитель с тайным интересом принялся его разглядывать.

— Я недавно получил его.

Клок-Но-Тон внимательно кивнул головой.

— Я получил его от Ла-Ла. Он замечательный человек, и я часто подумывал…

— Да? — нетерпеливо заметил Клок-Но-Тон.

— Я часто подумывал… — заключил Сканду; голос его упал, и он замолчал. — Сегодня счастливый день, и искусство твое велико, Клок-Но-Тон.

Лицо Клок-Но-Тона прояснилось.

— Ты великий человек, Сканду, ты шаман из шаманов. Я иду. Я всегда буду помнить о тебе. А Ла-Ла, по твоим словам, замечательный человек.

Улыбка Сканду стала как бы призрачной, и он закрыл дверь за посетителем и задвинул все засовы.

Сим занимался починкой своего челнока, когда Клок-Но-Тон спустился на берег, и оторвался от работы лишь затем, чтобы хвастливо зарядить винтовку и положить ее рядом с собой.

Шаман заметил его движение и воскликнул:

— Пусть все соберутся сюда! Таков приказ Клок-Но-Тона, заклинателя злых духов!

Он собирался созвать их у дома Гуниа, ему необходимо было присутствие всех: сомневаясь в послушании Сима, он хотел избежать столкновений. Сима было выгоднее не трогать, рассудил он, так как Сим всякому шаману мог причинить много хлопот.

— Пусть приведут сюда женщину Гуниа, — приказал Клок-Но-Тон, свирепо оглядывая собравшихся вокруг него людей и заставляя содрогаться тех, на ком останавливался его взор.

Приковыляла Гуниа, опустив голову и глядя в сторону.

— Где находились твои одеяла?

— Я только разостлала их на солнышке — и глянь! — их уже не было! — захныкала она.

— Да?

— Все случилось из-за Ди-Иа.

— Да?

— Я его поколотила и буду еще бить за то, что он доставил столько горя нам, беднякам.

— Одеяла! — хрипло заревел Клок-Но-Тон, предвидя ее желание понизить вознаграждение. — Одеяла, женщина! Твое богатство известно всем.

— Я только разостлала их на солнышке, — засопела она, — а мы бедные люди, совсем бедные…

Он вдруг замер, лицо его исказила ужасная судорога, и Гуниа отпрянула от него. Но он так быстро прыгнул вперед со скошенными внутрь глазами и разинутым ртом, что она споткнулась, упала и стала ползать у его ног. Он размахивал руками, дико рассекая воздух, и все тело его извивалось и корчилось, словно от боли. Казалось, что у него эпилептический припадок. На губах показалась пена, и тело содрогалось в конвульсиях.

Женщины жалобно причитали, раскачиваясь взад и вперед, да и мужчины один за другим поддались общему возбуждению, оставался спокойным один Сим. Сидя на своем каноэ, он

насмешливо глядел на все происходящее. Предки, чья кровь была его кровью, заговорили в нем, и он поклялся страшнейшей клятвой не терять присутствия духа. На Клок-Но-Тона страшно было смотреть. Он отбросил свой плащ и сорвал с себя одежду и остался совершенно нагим, лишь на бедрах болталась повязка из орлиных когтей. Дико завывая и крича, с развевающимися длинными черными волосами, он, как одержимый, метался по кругу. В его безумии чувствовался дикий, захватывающий ритм, и когда все поддались его влиянию, раскачиваясь одновременно с ним и вскрикивая в унисон, он внезапно уселся на землю, вытянув вперед руку и длинный, похожий на птичий коготь палец. Тихий стон, словно плач по мертвецу, встретил этот жест, и все, дрожа, съеживались, когда ужасный палец медленно скользил мимо напряженных лиц. Этот палец нес смерть, и тот, мимо кого он прошел, знал, что ему суждено остаться в живых, и, не отрываясь, следил за движением рокового пальца.

В конце концов шаман с диким воплем остановил палец на Ла-Ла. Тот задрожал как осиновый лист, увидя себя мертвым, имущество разделенным и вдову вышедшей замуж за брата. Он пытался заговорить, отрицать это обвинение,

но язык его словно прилип к гортани, а в глотке пересохло. Теперь, когда дело было сделано, Клок-Но-Тон, казалось, наполовину лишился сознания. Но, закрыв глаза, он прислушивался, ожидая, когда, наконец, раздастся дикий, кровожадный вой, знакомый по тысяче прежних волхований, — вой людей, бросающихся, подобно волкам, на дрожащую жертву. Но кругом было тихо, затем — неизвестно, с какой стороны, — раздался подавленный смешок и, распространяясь все дальше и дальше, перешел в громкий хохот.

— Отчего вы хохочете? — воскликнул он.

— Га! Га! — смеялись кругом. — Твое искусство никуда не годится, Клок-Но-Тон.

— Все знают, — запинаясь бормотал Ла-Ла, — что я восемь месяцев провел в трудах, далеко отсюда, охотясь на тюленей с сивашскими охотниками, и вернулся только сегодня, а одеяла Гуниа пропали до моего прихода.

— Это правда! — единодушно воскликнули все. — Одеяла Гуниа пропали до его прихода.

— И ты ничего не получишь за твое искусство — оно ничего не стоит, — заявила Гуниа, вставая на ноги. Она, видимо, страдала от смешного положения, в какое ей пришлось попасть.

Но Клок-Но-Тон видел перед собой только лицо

Сканду, его безжизненную улыбку и слышал отдаленное, еле слышное трещание сверчка. «Я получил ее от Ла-Ла и частенько подумывал…», а затем: «Сегодня счастливый день, и искусство твое велико».

Он промчался мимо Гуниа, и все инстинктивно расступились, чтобы дать ему дорогу. Сим, сидя в своей лодке, посылал ему вдогонку насмешки, женщины смеялись ему в лицо, вслед неслись нелестные замечания и крики, но он, не обращая ни на что внимания, несся к жилищу Сканду. Добежав до него, он стал колотить в дверь кулаками, осыпая Сканду дикими проклятиями. Но из хижины никто не отзывался, и когда Клок-Но-Тон затихал, доносился голос Сканду, произносивший какие-то дикие заклинания. Клок-Но-Тон бесновался как сумасшедший, но когда он попытался взломать дверь с помощью большого камня, послышался ропот всех жителей. И тогда Клок-Но-Тон понял, что он лишился власти и почета в этом чужом селении. Он увидел, как один из рыбаков нагнулся за камнем, а за ним и другой, и его обуял смертельный страх.

— Не трогай Сканду, он великий шаман! — крикнула одна из женщин.

— Возвращайся-ка лучше в свое селение! — по-

советовал угрожающим тоном один из мужчин.

Клок-Но-Тон повернулся и мимо них спустился к берегу с яростью в сердце и с сознанием, что с тылу он совершенно беззащитен. Но ни один камень не был брошен. Ребятишки с насмешками вертелись вокруг него, а в воздухе звучал хохот и издевательства — этим все и ограничилось. И только тогда, когда каноэ далеко отплыло от берега, он вздохнул свободно, встал и послал проклятие селению и его обитателям, не забыв при этом особо упомянуть Сканду, сделавшего из него всеобщее посмешище.

На берегу все громко призывали Сканду, и все жители селения столпились у его двери, умоляя на все голоса о прощении. Тогда он вышел из хижины и поднял руку.

— Вы мои дети, и я вас прощаю, — сказал он. — Но пусть это больше не повторится. В следующий раз ваша глупость получит заслуженное наказание. Я знаю, в чем заключается ваша просьба, и я ее исполню. Ночью, когда луна уйдет, чтобы повидать великих мертвецов, все должны собраться у хижины Гуниа. Тогда откроется, кто совершил это преступление, и злодей понесет заслуженную кару. Я все сказал.

— Наказанием будет смерть! — завопил Бо-

ун. — Он причинил нам много горя и покрыл нас стыдом!

— Да будет так, — ответил Сканду и скрылся в хижине.

— Теперь все станет ясным, и мы снова заживем спокойно, — возвестил Ла-Ла.

— Благодаря маленькому человечку — Сканду, — издевался Сим.

— Благодаря искусству маленького человечка Сканду, — поправил его Ла-Ла.

— Глупцы вы, дети племени Тлинкет! — Сим звучно шлепнул себя по бедру. — Не пойму, как взрослые женщины и сильные мужчины могут пресмыкаться в грязи, восхищаясь сказками!

— Я много странствовал по свету, — отвечал Ла-Ла. — Я ездил по далеким морям и видел чудеса — и знаю, что существуют таинственные силы. Я — Ла-Ла…

— Мошенник…

— Да, так меня прозвали, а следовало бы называть Путешественником.

— Я не странствовал по свету так много, как… — начал Сим.

— Тогда попридержи язык, — прервал его Боун, и они расстались, очень недовольные друг другом.

Когда последний отблеск лунного сияния исчез, в толпе, окружавшей хижину Гуниа, появился Сканду. Он шел быстрым, бодрым шагом, и при свете огня Гуниа видно было, что он пришел с пустыми руками, без трещоток, масок и прочих принадлежностей шамана. Только под мышкой он нес большого заспанного ворона.

— Собраны ли дрова для костра, чтобы все могли увидеть ответ духов? — спросил он.

— Да, — отвечал Боун. — Дров много.

— Теперь слушайте все, ибо слов будет немного. Я принес с собою Джелкса-Ворона, вещуна и отгадчика тайн. Черного ворона помещу я под большим черным котлом Гуниа, в самом темном углу ее хижины. Огонь будет погашен, и вокруг наступит тьма. Один за другим вы будете входить в хижину, класть руки на котел, на время глубокого вздоха, и затем выходить обратно. Джелкс несомненно закричит, почуяв руки злодея. Кто знает, может, он и другим путем обнаружит свою мудрость. Вы готовы?

— Мы готовы, — раздался многоголосый ответ.

— Тогда я начинаю выкликать по очереди имена, пока не вызову всех.

Первым был вызван Ла-Ла, и он без колебания вошел в хижину. Все напрягли слух, и в мертвой

тишине был слышен скрип шагов по расшатанному полу. Но это было все. Джелкс не крикнул и не подал никакого знака. Затем была очередь Боуна, ибо не исключена же возможность, что человек украл собственные одеяла, чтобы навлечь стыд на голову своих соседей! За ним последовала Гуниа, другие женщины и дети, но Джелкс не подавал знака.

— Сим! — выкликнул Сканду. — Сим, — повторил он.

Но Сим не трогался с места.

— Не боишься ли ты темноты? — свирепо спросил Ла-Ла, довольный доказательством своей честности.

Сим усмехнулся:

— Я смеюсь над всем, потому что это вздор. Но я войду туда не потому, что я верю в чудеса, а чтобы показать, что я ничуть не боюсь.

И он смело вошел в хижину и, все еще насмехаясь, вышел из неё.

— Ты когда-нибудь внезапно умрешь, — прошептал в справедливом негодовании Ла-Ла.

— Ничуть в этом не сомневаюсь, — легкомысленно возразил насмешник. — Не многие из нас умирают на своем ложе благодаря шаманам и глубокому морю.

Когда половина жителей благополучно прошла через испытание, общее возбуждение стало мучительно напряженным. А когда испытанию подверглись две трети селения, молодая женщина, ожидавшая в скором времени ребенка, не выдержала и забилась в истерическом припадке.

Наконец пришла очередь последнего, а знака все еще не было. Последним был Ди-Иа. Очевидно, украл одеяла он. Гуниа обратилась с жалобным воплем к звездам, а остальные отшатнулись от несчастного ребенка. Он был еле жив от ужаса, ноги его подгибались, и он споткнулся на пороге и чуть не упал. Сканду толкнул его в хижину и закрыл за ним дверь.

Прошло долгое время, и из хижины доносились лишь рыдания мальчугана. Затем послышался скрип шагов — мальчик медленно приближался к дальнему углу, затем наступила тишина — и снова скрип шагов. Дверь открылась, и он вышел из хижины. Ничего не произошло, а он был последним.

— Разведите огонь, — приказал Сканду.

Яркое пламя взвилось кверху, и при его свете было видно, что страх жителей исчез, но лица их омрачены сомнением.

— Видно, гадание не удалось, — хрипло прошептала Гуниа.

— Да, — согласился Боун. — Сканду старится, и нам надо позаботиться о новом шамане.

— Где же ясновидение Джелкса? — проговорил смеясь Сим на ухо Ла-Ла.

Ла-Ла растерянно провел рукой по лбу и ничего не сказал. Сим вызывающе выпятил грудь и хвастливо заявил маленькому шаману:

— Хо-хо! Я говорил, что ничего не выйдет!

— Посмотрим, посмотрим, — кротко возразил шаман. — Это кажется невероятным всем непосвященным в тайные знания.

— Как, например, тебе? — дерзко спросил Сим.

— Может быть, и мне, — Сканду говорил тихо, и его веки опускались и опускались все ниже и ниже, пока глаза не закрылись. — Я решил дать вам другое испытание. Пусть все — мужчины, и женщины, и дети — сразу поднимут руки высоко над головой!

Приказ был так неожидан и прозвучал настолько повелительно, что все, не рассуждая, повиновались. Все руки были подняты.

— Пусть каждый посмотрит на руки остальных — глядите все! — приказывал Сканду, — чтобы…

Но громкий хохот, в котором звучала ярость,

заглушил его голос. Взоры всех остановились на Симе. Все руки были черны от сажи, лишь его руки не прикасались к закопченному котлу Гуниа.

Камень пролетел в воздухе и попал ему в щеку.

— Это ложь! — завопил он. — Это ложь! Я ничего не знаю об одеялах Гуниа!

Второй камень попал ему в лоб, третий просвистел мимо, раздался дикий, кровожадный вой, и всюду виднелись нагнувшиеся за камнями фигуры людей. Он пошатнулся и медленно опустился на землю.

— Это была шутка! Только шутка! — закричал он. — Я взял их в шутку!

— Куда ты их спрятал? — пронзительный голос Сканду ножом прорезал общий шум.

— В большом тюке со шкурами.

Сканду кивнул головой, и камни полетели со всех сторон. Жена Сима беззвучно рыдала, спрятав голову в коленях, но его маленький сын с криками и смехом бросал камни вместе с остальными.

Приковыляла Гуниа с драгоценными своими одеялами. Сканду остановил ее.

— Мы люди бедные, и у нас ничего нет, — захныкала она. — Не будь к нам жесток, о Сканду!

Рыбаки перестали бросать камни — их нагромоздилась куча — и прислушались.

— Нет, это не в моих привычках, добрая женщина, — отвечая Сканду, протягивая руку за одеялами. — В знак того, что я не жесток, я возьму себе только одеяла. Мудро ли я рассудил, дети мои? — спросил он.

— Ты мудрец, о Сканду! — воскликнули все в один голос. И он скрылся в темноте, накинув на себя одеяла и унося под мышкой сонно качавшего головой Джелкса.

Жители Солнечной Страны

Мэндел — это заброшенное селение на берегу Полярного моря. Оно невелико, и жители его миролюбивы, еще более миролюбивы, чем все соседние племена. В Мэнделе мало мужчин и много женщин; поэтому там в обычае благодетельная полигамия: женщины усердно рожают, и рождение мальчика встречается радостными криками. Там вы встретите Ааб-Ваака, чья голова постоянно свисает на плечо, словно шея его устала и раз навсегда отказалась выполнять свой долг.

Причина всего — и миролюбия, и полигамии, и свисающей головы Ааб-Ваака — отходит в те отдаленные времена, когда шхуна «Искатель» бросила якорь в бухте Мэндел и когда Тайи, старшина селения, задался целью быстро обогатиться. Племя Мэндел — родственное по крови живущему на западе Голодному Племени — по сей день помнит об этом. Понизив голос, жители рассказывают о минувших событиях. Когда заходит о них речь, дети подсаживаются ближе и удивляются безумию людей, которые, не вступи они в борьбу с жителями Солнечной Страны, могли бы иметь потомство и не окончили бы так

печально своей жизни.

Все началось с того, что шесть человек с «Искателя» сошли на берег. Они имели при себе множество вещей, — словно намеревались оставаться в Мэнделе, — и устроились в хижине Нига. Они щедро расплачивались за помещение мукой и сахаром, но Нига был огорчен тем, что его дочь Месахчи решилась вверить свою судьбу и делить стол и ложе с Парнем-Биллем, начальником отряда белых людей.

— Она стоит большого выкупа, — жаловался Нига собравшемуся у костра совету, когда белые пришельцы спали. — Она стоит большого выкупа, потому что у нас больше мужчин, чем женщин, и мужчины дают высокую цену за жен. Охотник Ауненк предлагал мне только что сделанный каяк и ружье, что он выменял у Голодного Племени. Вот что мне было предложено, а теперь она ушла, и я ничего не получу.

— Я тоже предлагал выкуп за Месахчи, — проворчал чей-то голос — нельзя сказать, чтобы он звучал печально, — и у костра показалось широкое, жизнерадостное лицо Пило.

— Да, ты тоже, — подтвердил Нига. — Были еще и другие. Отчего так беспокойны жители Солнечной Страны? — сердито спросил он. — Отчего они

не остаются у себя на родине? Жители Страны Мороза не пробираются в Солнечную Страну.

— Спроси лучше, зачем они приезжают к нам, — крикнул голос из темноты, и к костру пробился Ааб-Ваак.

— Верно! Зачем они приезжают? — воскликнуло множество голосов, и Ааб-Ваак подал рукою знак молчания.

— Люди не станут рыть землю без всякой цели, — начал он. — Я вспоминаю китоловов — они тоже родом из Солнечной Страны — их корабль погиб во льдах. Вы все помните, как они явились к нам в разбитых лодках и на запряженных собаками санях уехали на юг, когда настали морозы и земля покрылась снегом. Вы помните, как, ожидая наступления морозов, один из них начал копать землю, за ним еще двое, затем трое, пока не стали копать все. Вы помните, как они при этом спорили и ссорились. Мы не знаем, что они нашли в земле, потому что они не позволяли нам следить за собой, и мы ничего не могли увидеть. После, когда они уехали, мы искали и ничего не нашли. Но у нас земли много, и всей они не перерыли.

— Ты прав, Ааб-Ваак, ты прав! — кричали все.

— И вот я думаю, — заключил он свою речь, —

что один житель Солнечной Страны рассказал другому, и эти люди, узнав, приехали к нам рыть землю.

— Но как могло случиться, что Парень-Билль говорит на нашем языке? — спросил маленький, иссохший старичок-охотник. — Парень-Билль, которого наши глаза никогда до сих пор не видали?

— Парень-Билль бывал прежде в Стране Мороза, — отвечал Ааб-Ваак. — Иначе он бы не знал языка Племени Медведя, а их речь очень похожа на речь Голодного Племени, а Голодное Племя говорит на том же языке, что мэнделийцы. У Племени Медведя побывало много жителей Солнечной Страны, у Голодного Племени их было мало, а в Мэнделе не было никого, кроме китобоев и тех белых, что спят сейчас в жилище Нига.

— Их сахар очень хорош, — добавил Нига. — И мука тоже.

— У них много богатств, — заметил Ауненк. — Вчера я был на их судне и видел много замечательных железных вещей, ножи, оружие, а также муку, сахар и много-много других удивительных вещей.

— Это правда, братья! — Тайи встал, внутренне торжествуя от сознания, что его племя уважает

и слушается его. — Они очень богаты, эти пришельцы из Солнечной Страны. При этом они очень глупы. Судите сами! Они смело и слепо являются к нам, не задумываясь о своем огромном богатстве. Они спокойно спят, а нас много, и мы не знаем страха.

— Может быть, и они храбрые бойцы и не знают страха? — возразил маленький старичок-охотник.

Тайи мрачно посмотрел на него.

— Нет, не похоже на то. Они живут на юге, в Солнечной Стране и изнежены, как их собаки. Вы помните собаку китобоев? Наши псы сожрали ее на следующий же день, потому что она была изнежена и не могла сопротивляться. Солнце греет, и жизнь в той стороне легка, мужчины похожи на женщин, а женщины на детей.

Слушатели одобрительно закивали, а женщины вытянули шеи, чтобы послушать.

— Говорят, что они хорошо обращаются со своими женщинами и их женщины не работают, — хихикая сказала Ликита, здоровая, крепкая девушка, дочь самого Тайи.

— Не хочешь ли ты пойти по следам Месахчи? — сердито крикнул он. Затем он быстро повернулся к односельчанам. — Вот видите, братья, каков

обычай жителей Солнечной Страны! Им нравятся наши женщины, и они отнимают их у нас одну за другой. Месахчи ушла, лишив Нига выкупа; теперь хочет уйти Ликита, и захотят уйти все, а мы будем обездолены. Я говорил с одним охотником из Племени Медведя и я знаю, что это так. Среди нас находятся мужчины из Голодного Племени; пусть они скажут, правду ли я говорю.

Шестеро охотников из Голодного Племени подтвердили правильность его слов и наперебой начали рассказывать о жителях Солнечной Страны и их обычаях. Молодые люди, искавшие себе жен, роптали; роптали и старики, желавшие получить выкуп за дочерей, и глухой ропот ярости становился все громче и явственнее.

— Они очень богаты, и у них много удивительных железных вещей, много ножей и оружия, — подливал масла в огонь Тайи, и мечта о быстром обогащении начинала казаться близкой к осуществлению.

— Ружье Парня-Билля я возьму себе, — заявил неожиданно Ааб-Ваак.

— Нет, его возьму я! — заорал Нига. — Пусть оно послужит выкупом за Месахчи.

— Тише! О братья! — Тайи жестом руки успокоил собравшихся. — Пусть женщины и дети

удалятся в свои хижины. Это беседа мужей; пусть ее слышат только уши мужчин.

— Ружей хватит на всех, — сказал он, когда женщины нехотя удалились. — Я не сомневаюсь, что каждый получит по два ружья, не говоря уже о муке, сахаре и других вещах. Это очень нетрудно. Шестеро жителей Солнечной Страны будут убиты сегодня в хижине Нига во время сна. Завтра мы мирно поедем на шхуну выменивать товары и, улучив время, перебьем их братьев. А вечером устроим пиршество и будем веселиться и делить богатства. Самый бедный будет иметь больше, чем имел когда-либо богатый. Слова мои мудры, не правда ли, братья?

Ответом было глухое одобрительное ворчание, и начались приготовления к нападению. Шестеро охотников из Голодного Племени, как полагается жителям более богатого селения, были вооружены винтовками и в изобилии снабжены боевыми припасами. Но у жителей Мэндела ружей было мало, да и те в большинстве случаев никуда не годились, а пороха и пуль почти совсем не было. Этот недостаток восполнялся несметным количеством стрел с костяными наконечниками, копий и стальных ножей русской и американской работы.

— Действуйте в полной тишине, — наставлял Тайи, — окружите хижину плотным кольцом, чтобы жители Солнечной Страны не могли через него прорваться. Затем ты, Нига, и шестеро молодых людей вползут тихонько в то помещение, где они спят. Ружей брать с собой не надо — они всегда могут неожиданно выстрелить, но вложите всю силу рук в ножи.

— И пусть ничто дурное не коснется Месахчи — она стоит большого выкупа, — хрипло прошептал Нига.

Отряд ползком приблизился к хижине Нига, а за ними, предвкушая грядущие богатства, пробирались женщины и дети — им хотелось посмотреть на избиение. Короткая августовская ночь сменилась рассветом, и в полумраке едва виднелись подползавшие к хижине шестеро юношей и Нига. Безостановочно передвигаясь на руках и коленях, они вползли в сени. Тайи поднялся и начал потирать руки. Все шло хорошо. Окружавшие хижину один за другим вставали и прислушивались. Каждый по-своему рисовал себе сцену, происходившую внутри, — спящие пришельцы, удары ножей и мгновенная смерть во мраке.

Громкий призыв одного из жителей Солнечной

Страны разорвал нависшую тишину, и раздался выстрел. Затем в хижине поднялся дикий шум. Не размышляя, ожидавшие бросились вперед, в сени. Сидевшие внутри открыли стрельбу из шести винтовок, и стиснутые в узком пространстве сеней мэнделийцы были совершенно беспомощны. Бывшие впереди рвались обратно, стараясь отступить от направленных на них смертоносных дул, а находившиеся сзади бешено напирали, чтобы схватиться врукопашную. Крупнокалиберные пули выводили из строя по шесть человек зараз, и сени, битком набитые взбудораженными, беспомощными людьми, напоминали мясной ряд на рынке. Винтовки стреляли прямо в толпу, разрежая ее. Против смертоносного потока никто не мог устоять.

— Никогда такого не бывало! — задыхаясь, говорил один охотник из Голодного Племени. — Я только заглянул туда — мертвые лежали кучами, словно тюлени на льду после охоты.

— Не говорил ли я вам, что они могут оказаться хорошими бойцами? — пробормотал старик-охотник.

— Этого следовало ожидать, — отвечал Ааб-Ваак. — Мы сражались в западне, которую сами и устроили.

— Вы глупцы! — бранился Тайи. — Сыны глупцов вы! Вы сами полезли туда, никого не спрашивая. Лишь Нига и шести юношам нужно было войти внутрь хижины. Я искуснее в войне, чем жители Солнечной Страны, но вы нарушаете мои приказания, и моя мудрость теряет силу и остроту.

Никто не ответил, и все глаза были устремлены на хижину, казавшуюся таинственной и громадной на фоне рассветного неба. Через отверстие в крыше поднимался медленно дым от выстрелов, растворяясь в неподвижном воздухе, и время от времени проползал со стонами раненый.

— Пусть каждый спрашивает ближайшего о Нига и шести юношах, — приказал Тайя.

Через некоторое время пришел ответ: Нига и шести юношей больше нет.

— И многих других нет! — плакала сзади одна из женщин.

— Больше богатств достанется тем, что остались, — мрачно утешал Тайи и, повернувшись к Ааб-Вааку, прибавил: — Ступай собери побольше тюленьих кож, наполненных жиром. Пусть охотники выльют жир у стены хижины и сеней. И скажи им, чтобы они поторопились разжечь пламя, пока жители Солнечной Страны не проде-

лали в стенах хижин отверстий для ружей.

Не успел он договорить, как в грязи, скрепляющей бревна, появилось отверстие, в него высунулось дуло винтовки, и один из воинов Голодного Племени схватился рукой за бок и высоко подпрыгнул на месте. Второй выстрел пробил ему легкие, и он упал. Тайи и остальные рассыпались во все стороны, спасаясь от винтовки, а Ааб-Ваак торопил людей, несших кожи с жиром. Избегая бойниц, проделанных во всех стенах хижины, они вылили жир на сухие бревна, принесенные рекою Мэндел из лесных областей, лежащих к югу. Ауненк подбежал с горящей головней, и пламя взвилось вверх. Прошло некоторое время, осажденные не подавали никаких признаков жизни, и нападающие держали наготове оружие, следя за работой огня.

Тайи радостно потирал руки, когда огонь перекинулся на постройку и сухое дерево затрещало.

— Теперь мы их поймали, братья! Они в ловушке.

— Никто не посмеет отказать мне в ружье Парня-Билля, — объявил Ааб-Ваак.

— Никто, кроме Парня-Билля, — визгливо заметил старый охотник. — Гляди, вот он!

Защищенный опаленным, почерневшим оде-

ялом, выскочил из пылающего входа человек громадного роста, а за ним по пятам следовали покрытые одеялами Месахчи и пятеро жителей Солнечной Страны. Воины Голодного Племени неудачно пытались остановить их, а мэнделийцы пустили им вслед тучу стрел и копий. Но пришельцы сбросили с себя на бегу горящие одеяла, и преследователи увидели, что каждый из них нес на плече небольшой тюк с боевыми припасами. Из всего имущества было решено спасти только это. Они быстро побежали по заранее выработанному плану, прорвались через кольцо врагов и направились прямо к высокой скале, черневший в полумиле от селения.

Но Тайи встал на одно колено и прицелился в бежавшего позади жителя Солнечной Страны.

Он спустил курок, раздался выстрел, и тот упал лицом вперед, попытался подняться и снова упал. Не обращая внимания на дождь стрел, один из его товарищей побежал обратно, нагнулся над ним и поднял его к себе на плечи. Но мэнделийские копьеносцы были уже близко, и метко брошенное копье пронзило раненого. Он вскрикнул, и когда товарищ опустил его на землю, зашатался и упал. Тем временем Парень-Билль и трое других остановились и осыпали свинцом приближающихся

копьеносцев. Пятый нагнулся над сраженным товарищем, пощупал его сердце, а затем хладнокровно обрезал ремни сумки и встал, держа в руках боевые припасы и винтовку.

— И глупец же он! — воскликнул Тайи, высоко подпрыгнув, и бросился вырывать трепещущее тело из рук воина Голодного Племени.

Его винтовка была засорена, и воспользоваться ею было невозможно, поэтому он кричал, чтобы кто-нибудь бросил копье в убегающего под прикрытие выстрелов жителя Солнечной Страны. Маленький старый охотник прицелился, откинул назад руку и бросил копье.

— Клянусь Волком, это прекрасный удар! — похвалил его Тайи, когда бегущий свалился замертво, а торчавшее меж лопаток копье медленно раскачивалось.

Маленький иссохший старичок закашлялся и сел. Красная струйка показалась на его губах и полилась густой струей изо рта. Он снова кашлянул, и его дыхание сопровождалось странным свистом.

— Они бесстрашны и они хорошие бойцы, — прохрипел он, беспомощно поводя руками по воздуху. — Глядите! Вот идет Парень-Билль!

Тайи поднял глаза. Четверо мэнделийцев и

один из воинов Голодного Племени бросились к упавшему и копьями старались добить пытавшегося подняться на колени пришельца из Солнечной Страны. Тайи видел, как в одно мгновение четверо из них были сражены пулями жителей Солнечной Страны. Пятый, оставшийся до той поры невредимым, схватил обе винтовки, но, поднявшись, завертелся на месте от раны в руку, вторая пуля пригвоздила его к месту, а третья сразила насмерть. Секундой позже Парень-Билль стоял над ним и, срезав сумку с боевыми припасами, подобрал обе винтовки.

Тайи видел это и видел гибель односельчан; им овладело некоторое сомнение, и он решил лежать тихо и наблюдать. По каким-то непонятным причинам Месахчи побежала назад к Парню-Биллю; Тайи увидел, что, прежде чем ей удалось до него добежать, выскочил вперед Пило и обхватил ее руками. Он пытался поднять ее на плечи, но она вцепилась в него, колотя и царапая ему лицо. Затем она подставила ему ногу, и оба тяжело упали на землю. Когда они поднялись, Пило схватил ее одной рукой за горло и стал душить. Спрятав лицо у нее на груди, он подставлял под ее удары густую массу волос и медленно увлекал ее прочь с поля сражения. Тогда-то подоспел к

ним Парень-Билль, возвращавшийся с оружием павших товарищей. Месахчи увидела его и напрягла все силы, чтобы удержать врага на месте. Парень-Билль размахнулся винтовкой и на бегу ударил ею Пило. Тайи видел, как Пило рухнул на землю, словно пораженный падающей звездой, а пришелец из Солнечной Страны и дочь Нига бросились бежать к своему отряду.

Небольшая кучка мэнделийцев под предводительством одного из воинов Голодного Племени бросилась на отступающих, но сразу растаяла под огнем противника.

Тайи подавил вздох и шепнул:

— Как иней на утреннем солнышке.

— Я говорил, что они великие бойцы, — слабо прошептал истекавший кровью старик охотник. — Я знаю. Слышал о них. Они морские пираты и охотники за тюленями; они стреляют быстро и хорошо попадают в цель — таков их обычай и ремесло.

— Как иней на утреннем солнышке, — повторял Тайи, прячась за умирающим стариком и выглядывая из-за него время от времени.

Сражение прекратилось — ни один из мэнделийцев не осмеливался наступать, а положение было таково, что и отступать было поздно —

слишком близко подошли они к противнику. Трое попытались спастись бегством, но один из них упал с перебитой ногой, второй был простре-лен навылет, а третий, корчась и извиваясь, упал на окраине селения. Итак, мэнделийцы прята-лись по ямкам и углублениям в почве, а жители Солнечной Страны обстреливали долину.

— Не двигайся, — просил Тайи, когда Ааб-Ваак ползком подобрался к нему. — Не двигайся, друг Ааб-Ваак, иначе ты навлечешь на нас смерть.

— Смерть ко многим уже пришла, — рассмеял-ся Ааб-Ваак, — ну, значит, каждому достанется больше богатств — ты сам это говорил. Мой отец коротко и часто дышит вот за тем камнем, а за ним скрюченный, словно связанный узлом, ле-жит мой брат. Но их доля будет моей долей, и это очень хорошо.

— Ты говоришь это, друг Ааб-Ваак, то же самое и я говорил прежде; но перед тем как делить, мы должны получить богатства для дележа, а жители Солнечной Страны еще живы.

Пуля ударилась о скалу и с резким свистом пролетела низко над их головой. Тайи дрожа прилег, а Ааб-Ваак усмехнулся и тщетно пытался проследить глазами ее полет.

— Они так быстро летят, что их не видишь, —

заметил он.

— Многие из наших погибли, — продолжал Тайи.

— А многие остались, — прозвучал ответ. — Они припали плотно к земле, ибо на опыте узнали, как нужно вести борьбу. Кроме того, они очень агрессивно настроены против пришельцев. Когда мы убьем на корабле всех пришельцев из Солнечной Страны, здесь, на суше, останутся только четверо. Может быть, пройдет много времени, пока мы их убьем, но в конце концов это совершится.

— Как мы отправимся на корабль, если мы не можем тронуться с места? — спросил Тайи.

— Парень-Билль и его братья заняли очень неудобное место, — пояснил Ааб-Ваак. — Мы можем обойти их с обеих сторон, но это не годится. Они стараются отступить под прикрытие скалы и выждать, пока их братья с корабля не придут им на помощь.

— Никогда их братья не сойдут с корабля на сушу! Я сказал.

Тайи приободрился, и когда пришельцы из Солнечной Страны поступили так, как он предполагал, отступив к скале, он был снова весел, как всегда.

— Нас осталось всего трое! — жаловался один

из воинов Голодного Племени, когда все собрались для совета.

— Поэтому каждый из вас вместо двух получит три винтовки, — гласил ответ Тайи.

— Мы хорошо дрались.

— Да, и если случится, что останутся в живых только двое, то каждый получит по шесть винтовок. Поэтому деритесь хорошо.

— А если ни один из них не останется в живых? — коварно прошептал Ааб-Ваак.

— Тогда получим винтовки мы — ты и я, — шепнул в ответ Тайи.

Чтобы задобрить воинов Голодного Племени, Тайи назначил одного из них начальником отряда, в который вошли две трети взрослых мужчин племени; нагруженные шкурами и другими предметами меновой торговли, они направились к морскому берегу, отстоящему за двенадцать миль от селения. Оставшиеся разместились широким полукругом невдалеке от воздвигаемых Биллем и жителями Солнечной Страны укреплений. Тайи скоро учел положение и сразу послал своих людей рыть узкие траншеи.

— Они не скоро разберутся в случившемся, — объяснял он Ааб-Вааку, — мысли их заняты другим, и они не станут задумываться над смер-

тью близких или бояться за себя. А в темноте ночи они подползут ближе, и наутро жители Солнечной Страны, выглянув из-за укреплений, увидят нас совсем близко.

В полдень люди сделали перерыв в работе и подкрепились принесенной женщинами сухой рыбой и тюленьим жиром. Некоторые требовали пищи пришельцев из Солнечной Страны, оставленной теми в *иглоо* Нига, но Тайи отказался делить ее до возвращения отряда, посланного к кораблю. Все строили догадки насчет исхода экспедиции, но во время обсуждения с моря донесся глухой звук выстрела. Дальнозоркие разглядели на горизонте быстро рассеявшееся густое облако дыма, появившееся, по их уверениям, прямо над местом стоянки корабля жителей Солнечной Страны. Тайи считал, что это выстрел из пушки. Ааб-Ваак ничего не утверждал, но думал, что это какой-то сигнал. Но, как бы там ни было, по его мнению, что-то случилось.

Спустя пять или шесть часов на широкой, спускавшейся к морю равнине показался человек, и все женщины и дети бросились ему навстречу. Это был Ауненк, обнаженный, задыхающийся и израненный. Кровь струилась из раны на лбу. Изуродованная рука беспомощно болталась. Но

самым страшным казался дикий блеск его глаз, что-то предвещавший, но что — женщины не знали.

— Где Пишек? — резко спросила одна старая скво.

— А Олитли? — А Полак? — А Ма-Кук? — раздались крики.

Но он не отвечал, прокладывая себе дорогу среди кричащей толпы, и, шатаясь на ходу, направился прямо к Тайи.

Старуха громко завопила, и женщины одна за другой подхватили ее причитания. Мужчины выползли из траншей и окружили Тайи — даже жители Солнечной Страны взобрались на баррикаду поглядеть, что случилось.

Ауненк остановился, вытер кровь, заливавшую ему глаза, и осмотрелся вокруг. Он пытался заговорить, но его сухие губы слиплись. Ликита подала ему воды, он пробормотал что-то и принялся пить.

— Сражение было? — спросил, наконец, Тайи. — Хорошее сражение?

— Хо-хо-хо! — Ауненк так неожиданно и дико расхохотался, что все замолкли. — Никогда еще не бывало такого сражения! Так говорю я, Ауненк, извечный победитель диких зверей и воинов. Но

я хочу сказать вам мудрые слова, пока не забыл. Сражаясь хорошо, жители Солнечной Страны учат сражаться нас. Если нам придется долго с ними биться, мы станем великими бойцами — такими же, как они, — иначе мы погибли. Хо-хо-хо! Вот была битва!

— Где твои братья? — Тайи тряс его, пока Ауненк не вскрикнул от боли, — тут только он пришел в себя.

— Мои братья? Их нет.

— А Пом-Ли, — вскрикнул один из воинов Голодного Племени, — сын моей матери, Пом-Ли?

— Пом-Ли нет, — монотонно отвечал Ауненк.

— А пришельцы из Солнечной Страны? — послышался голос Ааб-Ваака.

— Пришельцев из Солнечной Страны нет.

— А корабль пришельцев из Солнечной Страны, богатства и оружие? — спрашивал Тайи.

— Нет ни корабля, ни богатств, ни оружия, ни вещей, — был неизменный ответ. — Нет никого. Нет ничего. Остался один я.

— Ты сошел с ума!

— Возможно, — невозмутимо отвечал Ауненк. — То, что я видел, могло лишить меня рассудка.

Тайи придержал язык, и все ждали, когда Ау-

ненк приступит к рассказу о случившемся.

— Мы не брали с собой винтовок, о Тайи, — начал он наконец. — Никаких ружей, братья, — только ножи, охотничьи луки и копья. На каяках, по двое и по трое мы перебрались на корабль. Пришельцы из Солнечной Страны были нам рады, мы разложили наши шкуры, а они вынесли товары для обмена, и все шло хорошо. А Пом-Ли ждал, ждал, пока солнце не стало высоко над головой и они не сели за еду. Тогда он испустил воинственный клич, и мы напали на них. Никогда еще не бывало такой битвы и таких бойцов. Половину мы убили, пока они еще не успели прийти в себя от неожиданности, а остальные обратились в дьяволов. Каждый из них сражался за десятерых, и все они бились, как дьяволы. Трое из них стали спиной к мачте, и пока нам не удалось их убить, они окружили себя кольцом из наших мертвецов. У некоторых были ружья, и они, широко раскрыв глаза, быстро убивали наших братьев. А один из них стрелял из большого ружья, из которого сразу вылетало множество маленьких пуль. Вот, глядите!

Ауненк указал на свое простреленное ухо.

— Но я, Ауненк, сзади всадил копье в его спину. И мы перебили их всех, — всех, кроме начальни-

ка. Мы окружили его — он остался один, но он громко закричал и прорвался через круг; пять или шесть воинов схватили его, он их отбросил и побежал вниз, внутрь корабля. Затем, когда все богатства принадлежали нам и оставался лишь начальник внизу — его мы собирались убить, — тогда раздался такой грохот, словно все ружья на свете выстрелили сразу. Я птицей взлетел на воздух, и все оставшиеся в живых воины-мэнделийцы, все мертвые пришельцы Солнечной Страны, маленькие каяки, большой корабль, ружья и богатство — все взлетело на воздух. Это я, Ауненк, рассказал вам — и только я остался в живых!

Глубокая тишина воцарилась среди собравшихся. Тайи испуганными глазами смотрел на Ааб-Ваака, но ничего не сказал. Даже женщины были слишком потрясены, чтобы оплакивать погибших.

Ауненк горделиво оглянулся вокруг.

— Я один остался, — повторил он.

Но в этот миг с баррикады раздался выстрел, и пуля попала прямо в грудь Ауненку. Он качнулся назад, затем вперед, и на лице его отразилось изумление. Он задыхался, и губы его исказились мучительной усмешкой. Плечи опустились,

колени подгибались. Он встряхнулся, словно просыпаясь, и выпрямился. Но плечи его все опускались, колени подгибались, и он медленно, очень медленно опустился на землю.

От укрепления пришельцев из Солнечной Страны была добрая миля[5], и вот смерть легко прошла это расстояние. Раздался дикий крик — крик кровавой мести и необузданной ярости дикарей. Тайи и Ааб-Ваак старались удержать мэнделийцев, но были отброшены и могли только оставаться на месте и следить за бешеным натиском. Но со стороны укрепления не раздалось ни одного выстрела, и, едва пройдя половину расстояния, многие, напуганные таинственным молчанием врагов, остановились и стали ждать. Более смелые продолжали свой путь и, пройдя еще половину оставшегося расстояния, тщетно ожидали признаков жизни. Не доходя двухсот шагов, они замедлили бег и пошли сплошной массой, а пройдя с сотню шагов, остановились и, заподозрив недоброе, стали совещаться.

Вдруг над баррикадой поднялись клубы дыма, и, словно брошенная горсть камешков, мэнделийцы рассыпались во все стороны. Четверо

---

[5] notes: 5
Англ. миля = 1,6 километра. *(Прим. ред.)*

упали, за ними — еще четверо, и они быстро продолжали падать то по одному, то по двое, пока не остался один, да и тот мчался назад, подгоняемый страхом смерти. Это был Нок, молодой охотник, длинноногий и высокий юноша; бежал он, как никогда еще ему не приходилось бегать. Как птица, скользил он по открытой равнине, прыгая, ныряя и извиваясь. Ружья за баррикадой палили беспрерывно, а Нок продолжал прыгать и нырять и оставался невредимым. Наконец пальба замерла, и Нок мало-помалу перестал беречься и кружить и, в конце концов, побежал по прямой линии. Тогда-то с баррикады прозвучал одинокий выстрел. Нок подпрыгнул, упал, подскочил, как мяч, и свалился замертво.

— Что на свете быстрее окрыленного свинца? — размышлял Ааб-Ваак.

Тайи проворчал что-то и отвернулся. Сражение окончилось, и необходимо было заняться более важными делами.

В живых оставались сорок своих воинов и один воин из Голодного Племени. Некоторые из них были ранены. А биться приходилось с четырьмя пришельцами из Солнечной Страны.

— Мы не выпустим их из дыры у скалы, — сказал он, — а когда их проймет хорошенько голод,

мы перебьем их, как детей.

— Но за что нам биться? — спрашивал один из младших воинов, Олуф. — Богатство жителей Солнечной Страны исчезло, остается лишь то, что было в *иглоо* Нига, а этого очень мало.

Он сразу примолк, услышав резкий свист пули, пролетевшей мимо его уха.

Тайи презрительно рассмеялся.

— Пусть это будет ответом. Что же нам делать с этими сумасшедшими, которые не желают умирать?

— Что за безумие! — протестовал Олуф, прислушиваясь к свисту пуль. — Это нехорошо, что они так сражаются, эти пришельцы из Солнечной Страны. Отчего они не желают умирать? Они безумцы, они не хотят понять, что для них все кончено, и только нам они причиняют множество хлопот.

— Прежде мы сражались за богатство, теперь мы сражаемся за жизнь, — кратко обрисовал положение Ааб-Ваак.

Ночью в траншеях была перестрелка, а наутро выяснилось, что из *иглоо* Нига исчезли все вещи жителей Солнечной Страны. За ночь пришельцы их унесли — при дневном свете следы были явственно видны. Олуф взобрался

на вершину скалы, чтобы сбросить на головы врагов большие камни, но скала выдавалась над рвом, и он вместо камней осыпал их ругательствами и оскорблениями, угрожая страшными пытками и мучительной гибелью. Парень-Билль отвечал ему на языке Племени Медведя, а Тайи, поднявший из окопа голову, чтобы насладиться зрелищем перебранки, получил пулю в плечо.

В последовавшие за этим страшные дни и ночи мэнделийцы, подкапываясь все ближе и ближе к скале, постоянно спорили, не лучше ли было бы дать жителям Солнечной Страны спокойно убраться восвояси. Но они боялись пришельцев, а женщины поднимали плач при мысли об освобождении врагов. Довольно для них жителей Солнечной Страны, больше они их видеть не желают. Свист пуль раздавался непрестанно, и непрестанно возрастал список погибших. Утром, на заре, раздавался слабый далекий треск выстрела, и на отдаленном конце деревни женщина, взмахнув руками, замертво падала на землю; в жаркий полдень воины в окопе прислушивались к свисту пуль, ожидая смерти, а в серых вечерних сумерках пули, попадая в землю, вздымали песок и комья глины. По ночам далеко разносились жалобные причитания женщин:

— Уаа-оо-аа-уаа-оо-аа!

Предсказание Тайи исполнилось, и среди пришельцев из Солнечной Страны начался голод. Однажды ночью разыгралась ранняя осенняя буря, и один из пришельцев прокрался мимо окопов и украл много сушеной рыбы. Но вернуться он не успел, и когда взошло солнце, он спрятался где-то в селении. Итак, ему пришлось сражаться одному; окруженный плотным кольцом мэнделийцев, он четверых убил и, прежде чем они успели схватить его, застрелился сам, чтобы не подвергнуться пыткам.

Это событие опечалило всех. Олуф открыто заявил:

— Если один заставил нас так дорого заплатить за свою смерть, сколько же придется заплатить за смерть оставшихся?

Тогда-то на баррикаде показалась Месахчи и подозвала трех собак, близко подошедших к баррикаде, — это была еда, жизнь и отсрочка расплаты. Отчаяние охватило племя мэнделийцев, и на голову Месахчи посыпались проклятия.

Дни текли. Солнце уходило к югу, ночи становились все длиннее, и в воздухе чувствовалось приближение морозов. А жители Солнечной Страны все еще держались за своим прикрытием.

Воины теряли мужество от постоянного напряжения, и Тайи часто погружался в глубокие, мрачные размышления. Он приказал собрать все шкуры и кожи, имеющиеся в селении, велел связать их в высокие цилиндрические тюки и за каждым тюком поместил по воину.

Приказ был дан, когда короткий осенний день клонился к вечеру. Воины с трудом перекатывали большие тюки. Пули врагов ударялись о тюки, но не могли пробить их, и воины завывали от радости. Но наступил вечер, и Тайи, заботясь о том, чтобы план увенчался успехом, отозвал их обратно в траншеи.

Утром — пришельцы за прикрытием были безмолвны — мэнделийцы начали настоящее наступление. Большие промежутки между тюками медленно сокращались, по мере того как круг смыкался. За сто шагов от прикрытия тюки были совсем близко друг от друга, и воины могли шепотом передавать приказ Тайи об остановке. Враги не подавали никаких признаков жизни. Мэнделийцы долго и пристально всматривались в прикрытие, но ничто не шевелилось. Наступление продолжалось, и на расстоянии пятидесяти ярдов маневр был повторен. Ни признака жизни, ни звука. Тайи покачал головой, и даже Ааб-Ваак

заколебался. Но снова был дан приказ продолжать наступление, и они пошли вперед, пока сплошной вал из шкур не окружил со всех сторон прикрытие врагов.

Тайи оглянулся назад и увидел, что женщины и дети угрюмо толпились в оставленных воинами траншеях. Он поглядел вперед — на безмолвное прикрытие врага. Воины нетерпеливо переступали с ноги на ногу, и Тайи приказал каждому второму выступить вперед. Двойная линия тюков подвигалась вперед, пока тюки снова не соприкоснулись друг с другом. Тогда Ааб-Ваак по собственному почину стал продвигать свой тюк вперед. Дойдя вплотную до прикрытия, он остановился и стал ждать. Затем столкнул в ров противника несколько больших камней и, наконец, с великими предосторожностями вышел из-за тюка и заглянул внутрь. Он увидел усеянный пустыми патронами ров, несколько обглоданных собачьих костей и лужу в том месте, где из расщелины капала вода. Это было все. Жители Солнечной Страны ушли.

Раздались робкие голоса, обвинявшие таинственные силы, послышались жалобы, и мрачные взгляды воинов казались Тайи предвещанием грядущих ужасных событий. Он вздохнул свобод-

нее, когда Ааб-Ваак пошел вдоль утеса.

— Пещера! — воскликнул Тайи. — Они предвидели мою хитрость с тюками и удрали в пещеру!

Скала, как улей, была вся прорезана подземными ходами, которые оканчивались общим выходом между рвом и местом, где траншеи подходили к скале. Туда-то мэнделийцы с громкими криками последовали за Ааб-Вааком и, добравшись до выхода, ясно увидели, где именно жители Солнечной Страны взобрались на двадцать футов вверх, чтобы исчезнуть в глубине скалы.

— Теперь дело сделано, — потирая руки, сказал Тайи. — Передайте, чтобы все радовались, потому что теперь они в ловушке, — жители Солнечной Страны в ловушке. Молодые воины взберутся наверх и заложат отверстие камнями — тогда Парень-Билль, его братья и Месахчи обратятся от голода в тени и умрут в темноте с проклятиями на устах.

Его слова были встречены криками восторга и облегчения, и Хауга, последний из воинов Голодного Племени, пополз вверх по крутому склону и, согнувшись, склонился над отверстием в скале. Но в этот миг раздался заглушенный звук выстрела, а когда он в отчаянии ухватился за скользкий

край, раздался второй. Его руки разжались, и он свалился вниз, к ногам Тайи и, содрогнувшись несколько раз, подобно вытащенному на берег морскому чудовищу, затих.

— Откуда я мог знать, что они великие и неустрашимые бойцы? — спросил Тайи — мрачные взгляды и жалобы побуждали его оправдаться перед воинами.

— Нас было много, и мы были счастливы, — смело заявил один из воинов. Другой нетерпеливой рукой ощупывал копье.

Но Олуф прикрикнул на них и заставил умолкнуть.

— Слушайте меня, братья! Есть другой путь. Еще мальчиком я случайно нашел его, играя на скале. Он скрыт в камнях, им никогда не пользовались, и никто о нем, кроме меня, не знает. Ход этот очень узок, и приходится долго ползти на животе, пока доберешься до пещеры. Ночью мы тихонько, без шума поползем по этому ходу и нападем на пришельцев из Солнечной Страны с тыла. Завтра же у нас будет мир, и мы никогда больше не станем ссориться с жителями Солнечной Страны.

— Никогда больше! — хором воскликнули измученные воины. — Никогда больше! — И Тайи

присоединился к общему хору.

Ночью, помня о своих погибших близких и вооружившись камнями, копьями и ножами, толпа женщин и детей собралась у выхода из пещеры. Ни у кого из пришельцев Солнечной Страны не было надежды спуститься невредимым на землю с высоты двадцати с лишним футов. В селении оставались лишь раненые воины, а все боеспособные мужчины — их было тридцать человек — шли за Олуфом к потайному ходу в пещеру. Ход находился на высоте ста футов над землей, и пробираться приходилось с выступа на выступ и по кучам камней, вот-вот готовым развалиться. Опасаясь, чтобы камни от неосторожного прикосновения не посыпались, воины взбирались вверх по одному. Олуф был первым и, взобравшись наверх, тихо позвал следующего и исчез в проходе. За ним последовал воин, затем второй, третий и так далее, пока не остался один Тайи. Он услышал зов последнего воина, но им внезапно овладело сомнение, и он остановился, чтобы подумать. Спустя полчаса он поднялся на скалу и заглянул в проход. Он почувствовал, как узок проход и какой непроглядный в нем мрак. Страх перед поднимавшимися с двух сторон стенами заставил его содрогнуться, и он не мог решиться

пойти дальше. Все погибшие, начиная от Нига, мэнделийца, до Хауга, последнего воина из Голодного Племени, обступили его, но он предпочел остаться с ними, чем спуститься в непроглядную тьму прохода. Он долго просидел неподвижно и вдруг почувствовал на щеке прикосновение чего-то мягкого и холодного — то падал первый снег. Наступил туманный рассвет, затем пришел яркий день, и он услыхал доносившееся из прохода тихое рыдание, которое становилось все явственнее. Он соскользнул с края, опустил ноги на первый выступ и ждал.

Рыдавшее существо медленно подвигалось, после многих остановок добралось до Тайи, и последний понял, что это не был житель Солнечной Страны. Он протянул руку в проход и там, где полагается быть голове, нащупал плечи ползущего на локтях человека. Голову он нашел потом: она свисала, и темя лежало на земле.

— Это ты, Тайи? — сказала голова. — Это я, Ааб-Ваак, я беспомощен и искалечен, как плохо пущенное копье. Моя голова волочится в пыли, и мне без твоей помощи не выбраться отсюда.

Тайи вполз в проход и, прислонившись спиной к стене, вытащил Ааб-Ваака, но голова его все свисала, и он рыдал и жаловался.

— Ай-ооо, ай-ооо! — плакал он. — Олуф забыл, что Месахчи тоже знала этот ход, и она показала его жителям Солнечной Страны, иначе бы они не стали поджидать нас в конце узкого прохода. Поэтому я погибший человек и совсем беспомощен… Ай-ооо, ай-ооо!

— А проклятые пришельцы из Солнечной Страны погибли у узкого выхода из пещеры? — спросил Тайи.

— Как я мог знать, что они поджидают нас? — стонал Ааб-Баак. — Мои братья шли впереди, и из пещеры не доносилось никаких звуков. Как я мог знать, отчего нет звуков борьбы? И прежде чем я это узнал, две руки охватили мою шею так, что я не мог крикнуть и предупредить моих братьев об опасности. Затем еще две руки схватили мою голову, а еще две — схватили за ноги. Так-то меня поймали трое пришельцев из Солнечной Страны. Пока моя голова была зажата, руки, схватившие меня за ноги, быстро повернули мое тело — так, как мы свертываем головы уткам на болоте, была свернута и моя голова.

Но мне не суждено было погибнуть, — продолжал он, и в голосе его послышался горделивый оттенок. — Я один остался. Олуф и все остальные лежат на спине во рву, а головы их повернуты,

и лица у многих находятся там, где должны бы находиться затылки. На них нехорошо смотреть; когда жизнь вернулась ко мне, я увидел их всех при свете факела, оставленного пришельцами из Солнечной Страны, — я лежал во рву вместе со всеми.

— Да, вот как? — повторял Тайи, слишком потрясенный, чтобы говорить.

Он внезапно вздрогнул, услышав донесшийся к нему из прохода голос Парня-Билля.

— Это хорошо, — говорил он. — Я искал человека, ползущего со сломанной шеей, и вот чудо! Встречаю Тайи. Брось вниз ружье, Тайи, чтобы я слышал его стук по камням.

Тайи покорно повиновался, и Парень-Билль выполз из скалы на свет. Тайи с любопытством поглядел на него. Он очень похудел, был измучен и грязен, но глубоко запавшие глаза горели.

— Я голоден, Тайи, — сказал он. — Очень голоден.

— Я пыль у твоих ног, — отвечал Тайи. — Твое слово для меня закон. Я приказывал народу не сопротивляться тебе. Я советовал…

Но Парень-Билль повернулся и крикнул своим товарищам:

— Эй! Чарли! Джим! Берите с собой женщину и

выходите! Мы идем есть, — сказал он, когда его товарищи и Месахчи присоединились к нему.

Тайи заискивающе потер свои руки:

— Наша пища скудна, но все, что мы имеем, твое.

— Затем мы по снегу отправимся на юг, — продолжал Парень-Билль.

— Пусть ничто дурное не коснется вас и путь покажется вам легким.

— Путь долог. Нам понадобятся собаки и много пищи.

— Лучшие наши собаки — твои, а также и вся пища, что они могут везти.

Парень-Билль выскользнул из прохода и приготовился к спуску.

— Но мы вернемся, Тайи. Мы вернемся и проведем много дней в твоей стране.

Итак, они отправились на юг — Парень-Билль, его братья и Месахчи. А на следующий год в бухте Мэндел бросил якорь «Искатель Номер Два». Немногие мэнделийцы — оставшиеся в живых благодаря ранам, не позволившим им ползти в пещеру, — повинуясь жителям Солнечной Страны, стали на работу и принялись копать землю. Они перестали охотиться и ловить рыбу; они получают ежедневно плату за работу и покупают

муку, сахар, миткаль и другие вещи, которые им ежегодно привозит из Солнечных Стран «Искатель Номер Два».

Этот прииск разрабатывается тайно, как и многие другие прииски Северной Страны; ни один белый человек, кроме компании, состоящей из Парня-Билля, Джима и Чарли, не знает местонахождения селения Мэндел на краю Полярного Моря. Ааб-Ваак, со свисающей на плечо головой, стал оракулом и проповедует младшему поколению смирение, за что и получает пенсию от компании. Тайи назначен надсмотрщиком работ. Теперь он разработал новую теорию насчет жителей Солнечной Страны.

— Живущие на пути солнца не становятся изнеженными, — говорит он, покуривая трубку и наблюдая, как день медленно переходит в ночь. — Солнце вливается в их кровь и палит их жарким огнем, пока они не начнут пылать вожделениями и страстями. Они всегда горят и поэтому не чувствуют поражений. Они не знают покоя, в них сидит дьявол, и они разбросаны по всей земле и осуждены вечно трудиться, страдать и бороться. Я знаю. Я — Тайи.

Болезнь Покинутого Вождя

Эту повесть мне рассказали два старика. Была прохладная часть дня, то есть середина белой ночи, и мы сидели в дыму костра, защищавшего нас от москитов. Все время, что длился рассказ, мы ловили и уничтожали маленьких злодеев, впивавшихся в нас, несмотря на окружавшие клубы дыма. Справа от нас спускался крутой берег, и внизу лениво журчали воды Юкона. Слева, над розовым краем низких гор, курилось сонное солнце — ему не пришлось спать в эту ночь и предстояло бодрствовать еще много ночей.

Старики, сидевшие со мной и доблестно сражавшиеся с москитами, — Покинутый Вождь и Мутсак, некогда товарищи по оружию, а теперь хилые хранители былых традиций и сказаний о прошлом. Они были последними представителями своего поколения и не пользовались почетом у молодежи, выросшей на дальней окраине приисковой цивилизации. Кто считался с традициями в эти дни, когда бодрость духа можно было почерпнуть из бутылки, а бутылку — добыть от снисходительных белых людей за несколько часов тяжелой работы или за какую-нибудь пога-

ную шкуру! Какую власть могли иметь страшные обряды и тайны шаманизма, когда воплощенное чудо — пароход ежедневно поднимался и спускался по Юкону, кашляя и изрыгая огонь и дым, наперекор всем законам природы? Какую цену мог иметь родовой почет, когда наибольшим уважением товарищей пользовался парень, что мог больше всех нарубить дров или лучше других управлялся с рулевым колесом, проводя пароход среди лабиринта островов?

И вправду, прожив слишком долго, они дожили до скверных времен — эти два старика — Покинутый Вождь и Мутсак, и при новом порядке не было им ни места, ни почета. Они мрачно ждали смерти, а пока что привязались к странному белому пришельцу, что делил с ними пытку сидения в дыму костра и охотно слушал их рассказы о прежних временах, когда еще не было пароходов.

— Итак, мне выбрали девушку, — говорил Покинутый Вождь. Голос его, пронзительный и писклявый, вдруг падал до хриплого баса и, едва вы начинали привыкать к нему, снова повышался до писка — попеременно слышалось чириканье сверчка и кваканье лягушки.

— Итак, мне выбрали девушку, — повторил он. — Мой отец Каск-Та-Ка, по прозванию Выдра,

сердился, что я не смотрел с вожделением на женщин. Он был стар и был вождем племени. А я из его сыновей был последним, оставшийся в живых, и некому, кроме меня, было передать его кровь дальше — тем, кто еще не родился. Но знай, о Белый Человек, что я был очень болен; ни охота, ни рыбная ловля не радовали меня, и мясо не согревало моего желудка — как мог я глядеть с вожделением на женщин? Как мог я готовиться к брачному пиру или с радостью ожидать лепета и возни детей?

— Да, — перебил его Мутсак. — Разве Покинутый Вождь не боролся, охваченный лапами громадного медведя, пока его голова не треснула и кровь не потекла из ушей?

Покинутый Вождь оживленно мотнул головой.

— Мутсак говорит правду. После той борьбы голова моя поправлялась, но все же не поправилась. Рана зажила, и снаружи ничего не было заметно, но я был очень болен. Когда я ходил, ноги мои подгибались; если я смотрел на свет, глаза мои наполнялись слезами. А когда я открывал глаза, весь мир кружился вокруг меня, и все, что я раньше видел, кружилось у меня в голове. И над глазами лоб так болел, словно на нем лежала тяжесть или его стянули тугой повязкой.

Речь моя текла медленно, и я долго ждал, пока находил нужное слово. А когда я не выжидал, всевозможные слова приходили мне на ум, и язык мой молол вздор. Я был очень болен, и когда отец мой, Выдра, привел мне девушку Кэсан…

— Кэсан была молодая и сильная, она была дочерью моей сестры, — вмешался Мутсак. — У нее были широкие бедра, как полагается будущей матери, сильные ноги и быстрый шаг. Она мастерила мокасины лучше всех молодых девушек, и веревки, что она плела, были самыми крепкими. Ее глаза улыбались, а уста смеялись, она не была строптивой и понимала, что закон дается мужчинами и что женщины обязаны повиноваться.

— Я уже говорил, что был очень болен, — продолжал Покинутый Вождь. — И когда отец мой, Выдра, привел мне девушку Кэсан, я сказал, что пусть они лучше готовятся к моему погребению, чем к свадьбе. Лицо моего отца потемнело от гнева, и он сказал, что я получу все, согласно моему желанию, и хотя живу еще на земле, но для меня сделают все приготовления так, как будто я умер.

— Это не в обычаях нашего племени, о Белый Человек, — заговорил Мутсак. — Знай, что все приготовления, сделанные для Покинутого Во-

ждя по обычаю, делаются лишь для умерших. Но Выдра был очень разгневан.

— Да, — сказал Покинутый Вождь. — Мой отец, Выдра, говорил мало, но делал быстро. Он приказал народу собраться перед жилищем, где я лежал. Когда они собрались, он приказал им оплакивать его умершего сына…

— И они пели перед жилищем песню смерти. О-о-о-о-о-о-а-ааа-аа-ии-клу-кук-ич-клу-кук, — жалобно затянул Мутсак, так превосходно передавая мотив, что у меня по спине забегали мурашки.

— А внутри жилища, — продолжал Покинутый Вождь, — моя мать измазала себе лицо сажей и посыпала голову пеплом и оплакивала меня, словно я умер, — так приказал мой отец. Поэтому моя мать, Окиакута, с великим шумом оплакивала меня, била себя в грудь и рвала на себе волосы; то же делали Гуниак, моя сестра, и Саната, сестра моей матери; их громкие голоса причиняли мне великую боль, и я чувствовал, что теперь уже смерть близка и неминуема.

А старшие в племени собрались вокруг моего ложа и обсуждали путь, предстоящий моей душе. Один говорил о глухих бесконечных лесах, где души с плачем странствуют и где мне тоже придется блуждать, не видя конца своим страда-

ниям. Другой говорил о великих реках, где текут дурные воды и злые духи кричат и высовывают бесформенные руки, стараясь утащить жертву за волосы на дно. Для переправы через эти реки, говорили они, следует дать мне с собою каноэ. Еще один старик говорил о бурях, каких не видел ни один живущий на земле, — о бурях, когда звезды дождем сыплются с неба, а земля разверзается и покрывается трещинами, и находящиеся в недрах земли реки извергаются на поверхность и снова исчезают. Поэтому те, что сидели вокруг меня, вздымали кверху руки и громко стонали, а те, что стояли снаружи, слышали их стоны и громко причитали. Для них я был уже мертв и для себя самого я тоже был мертв. Когда и как я умер, я не знал, но понял, казалось мне, что я мертв!

Моя мать, Окиакута, положила возле меня мою *парку* из беличьих шкурок. Затем она положила *парку* из шкур оленя и дождевой плащ из тюленьих кишок и *муклук*, чтобы душе моей было тепло и чтобы она не страдала от сырости в далеком пути. Потом старики упомянули о крутой горе, поросшей колючками, и мать принесла толстые мокасины, чтобы облегчить моим ногам трудный подъем.

Когда старики заговорили о крупных зверях,

которых мне придется убивать, юноши положили возле моего ложа мой охотничий лук и острые стрелы, копье и нож. А когда старики повели речь о вечной тьме и молчании обширных пространств, которые моя душа должна пройти, моя мать зарыдала еще громче и еще гуще осыпала свою голову пеплом.

И девушка Кэсан скромно и спокойно вошла в жилище и положила на приготовленные для путешествия вещи маленький мешочек. Я знал, что в маленьком мешочке находились кремень, огниво и хорошо высушенный трут, чтобы моя душа могла разводить костер. Были отобраны одеяла, в которые меня должны были завернуть. Были выбраны рабы, которых следовало убить, чтобы душа моя имела спутников. Рабов было семеро, ибо мой отец был богат и могуществен, и мне, его сыну, полагалось устроить подобающие похороны. Этих рабов мы взяли в плен в войне с мукумуками, жившими ниже по Юкону. Поутру Сколка, шаман, убьет их одного за другим, и тогда их души вместе с моей душой будут странствовать в Неведомом. Они понесут мое каноэ, пока мы не дойдем до Великой Реки, быстро катящей свои бурные воды. В каноэ им места не будет, и их работа окончена, — дальше им сопровождать

меня незачем, и они могут остаться и вечно выть во тьме бесконечных лесов.

Я глядел на прекрасные теплые одежды, на одеяла и оружие и при мысли, что семеро рабов будут убиты, возгордился своим погребением и подумал, что многие мне завидуют; и все время отец мой, Выдра, сидел молча и угрюмо. А народ весь день и ночь пел песню смерти и бил в барабан, пока все не уверились, что я уже тысячу раз умер.

Но наутро мой отец встал и заговорил. Всему народу известно, сказал он, что всю жизнь он был храбрым воином. Но народу известно, что почетнее умереть в сражении, чем лежа на мягких шкурах у очага. И раз его сыну предстояло умереть, то лучше уж выступить против мукумуков и быть убитым. Так я завоюю себе почет и место вождя в жилище мертвых, а это возвеличит отца моего, Выдру. И он приказал, чтобы вооруженный отряд был готов спуститься по реке. Когда мы достигнем селения мукумуков, я один должен выступить против них и быть убитым.

— Слушай, о Белый Человек! — воскликнул, не будучи в силах дольше сдерживаться, Мутсак. — Шаман Сколка этой ночью долго нашептывал что-то Выдре, и эта затея — отослать Покинутого

Вождя на гибель к мукумукам была делом его рук. Выдра был уже стар, Покинутый Вождь — последний из его сыновей, а Сколка мечтал стать вождем. Когда народ день и ночь шумел, а Покинутый Вождь все еще был жив, Сколка боялся, что он не умрет. Итак, устами Выдры говорил Сколка, приправивший свою мысль красивыми словами о почестях и доблестных деяниях.

— Да, — подтвердил Покинутый Вождь. — Я хорошо знал, что это дело рук Сколки, но мне было все равно, так сильно я был болен. У меня не было охоты сердиться и не было сил для гневных слов — не все ли равно, как умереть, лишь бы скорее покончить с жизнью. Итак, о Белый Человек, отряд был готов. Опытных бойцов в нем не было, не было и взрослых мужчин, сильных и мудрых, отряд состоял из сотни неопытных в военном деле юношей. Все селение собралось на берегу поглядеть на наш отъезд. Мы тронулись в путь среди всеобщего ликования и хвалебного гимна — это чествовали меня. И ты, о Белый Человек, радовался бы, глядя на юношу, отправляющегося на битву, хотя он и был обречен на смерть.

Итак, мы поехали вниз по течению — сотня юношей и Мутсак, ибо он тоже был молод и неопытен. По приказу отца моего, Выдры, мое

каноэ было привязано с одной стороны к каноэ Мутсака, а с другой — к каноэ Каннакута. Чтобы не устать, я не должен был грести. Несмотря на болезнь, я мог сохранить силы, чтобы достойно погибнуть. Таким-то образом мы спускались вниз по течению реки.

Я не хочу утомлять тебя рассказом о нашей поездке, она была весьма непродолжительна. Недалеко от селения мукумуков мы настигли двух воинов, сидевших в каноэ. Увидев нас, они обратились в бегство. Тогда-то, следуя приказу моего отца, мое каноэ было отвязано от каноэ моих спутников, и я был предоставлен сам себе. Следуя тому же приказу, юноши должны были убедиться в моей гибели, чтобы, вернувшись в наше селение, рассказать о том, как я умер. На этом настаивали и отец мой, Выдра, и шаман Сколка, грозя страшными наказаниями в случае неповиновения.

Я погрузил в воду весло и крикнул слова презрения вслед убегавшим воинам. Моя презрительная брань заставила их повернуть в гневе головы, и они заметили, что юноши отстали и что я один против двоих. Отъехав поэтому на безопасное расстояние, воины поставили свои каноэ так, что я должен был проехать между ними. Каноэ

поравнялись, и я, как они и рассчитывали, попал между ними, с копьем в руке, распевая воинственную песнь своего племени. Каждый из них бросил копье, но я нагнулся, копья просвистали надо мною, и я остался невредим. Затем челноки сблизились, и я бросил копье в воина справа; копье попало ему в горло, и он навзничь упал в воду.

Велико было мое изумление — неужели я убил человека? Я повернулся к другому воину и сильно заработал веслом, чтобы встретить смерть лицом к лицу; но второе копье его, бывшее к тому же последним, только задело мне плечо. Тогда я бросился на него, не кидая копья, но нажимая острием на грудь и обеими руками стараясь пронзить его насквозь. Пока я налегал изо всех сил на копье, он ударил меня по голове — раз и другой — широкой частью весла.

И даже когда копье, пройдя насквозь, вышло из его спины, он еще раз ударил меня по голове. Что-то вспыхнуло перед глазами, словно яркий свет, и я почувствовал, как в голове у меня что-то захлопнулось, словно щелкнула крышка. Тяжесть, что давила на лоб, свалилась, и повязка, туго стягивавшая мне голову, упала. Мною овладела великая радость, и сердце мое возликовало.

Это смерть, подумал я, и еще подумал, что умереть очень приятно. Затем я увидел каноэ и понял, что я не умер, а выздоровел. Удары воина по голове вернули мне здоровье. Я понял, что убил человека, и вид пролитой крови возбудил меня; я погрузил весло в грудь Юкона и направил челнок к селению мукумуков. Юноши, следовавшие за мной, издали громкий клич. Я оглянулся через плечо и увидел, как вода пенилась под их веслами.

— Да, вода пенилась под нашими веслами, — сказал Мутсак. — Мы помнили приказ Выдры и Сколки и должны были собственными глазами увидеть, как погибнет Покинутый Вождь. Юноша из племени мукумуков по дороге к рыболовным сетям заметил приближение Покинутого Вождя и воинов, следовавших за ним. Он поспешил в своем каноэ к селению, чтобы поднять тревогу и приготовиться к защите. Но Покинутый Вождь погнался за ним, а мы погнались за Покинутым Вождем, чтобы видеть его гибель. Только увидев селение, когда юноша выпрыгнул на берег, Покинутый Вождь встал во весь рост в каноэ и мощной рукой бросил ему вслед копье. И копье пронзило тело юноши как раз над бедрами, и он упал прямо перед собой на землю.

Тогда Покинутый Вождь выскочил на берег с боевой дубинкой в руке и боевым кличем на устах и ринулся в селение. Первым он встретил Итвили, вождя мукумуков. Покинутый Вождь ударил его дубинкой по голове, и тот замертво свалился на землю. Из опасения, что нам не удастся увидеть его гибель, мы — сотня юношей — тоже выпрыгнули на берег и поспешили за Покинутым Вождем в селение. Мукумуки не знали наших намерений и считали, что мы пришли воевать; поэтому они натянули тетивы своих луков и осыпали нас дождем стрел. Тогда мы позабыли данное нам поручение и напали на них с копьями и дубинками в руках; они были не подготовлены к нападению, и произошла великая бойня.

— Я собственными руками убил их шамана, — объявил Покинутый Вождь, и его морщинистое лицо оживилось воспоминанием о давно прошедших днях. — Я собственными руками убил его, а он был более могучим шаманом, чем шаман нашего селения, Сколка. Каждый раз, когда я встречался лицом к лицу с врагом, я думал: «Это смерть!» — и каждый раз я убивал врага, а смерть все не приходила. Казалось, что дыхание жизни сильно во мне, и я не могу умереть.

— И мы следовали за Покинутым Вождем до

конца селения и обратно, — продолжал Мутсак. — Мы следовали за ним, как стая волков, во все концы селения, пока не осталось ни одного врага. Тогда мы согнали сотню мужчин-рабов и вдвое больше женщин и бесчисленное количество детей, подожгли селение и уехали. Таков был конец мукумуков.

— Таков был конец мукумуков, — повторил, торжествуя, Покинутый Вождь. — А когда мы подъехали к нашему селению, народ был поражен нашими богатствами и рабами и еще более поразился, увидя меня живым. И отец мой, Выдра, дрожал от радости, узнав о моих подвигах. Он ведь был стариком, а я — последним из его сыновей. К нам явились все испытанные воины, сильные и мудрые, и вскоре вокруг нас собралось все селение. И тогда я встал и голосом, подобным грому, повелел шаману Сколке выступить вперед.

— Воистину, о Белый Человек! — воскликнул Мутсак. — Голосом, подобным грому, который заставил народ содрогнуться и исполниться страха.

— А когда Сколка выступил вперед, — продолжал Покинутый Вождь, — я сказал, что не намереваюсь умирать. Я сказал еще, что нехоро-

шо разочаровывать злых духов, которые ждут в загробном мире. Поэтому я считаю правильным, чтобы душа Сколки отправилась в Неведомое, где она, несомненно, будет вечно выть в темном бесконечном лесу. И я убил его на месте, перед лицом всего народа. Я, Покинутый Вождь, собственными руками убил шамана Сколку перед лицом всего народа. Когда же послышался ропот, я крикнул…

— Голосом, подобным грому, — вставил Мутсак.

— Да, я крикнул голосом, подобным грому: «Слушай, о народ! Я, Покинутый Вождь — убийца Сколки, вероломного шамана. Единственный из людей я прошел через ворота смерти и вернулся к жизни. Мои очи видели невиданные вещи. Мои уши слыхали неслыханные слова. Я могущественнее шамана Сколки. Я могущественнее всех шаманов. И я более могучий вождь, чем мой отец, Выдра. Он всю жизнь воевал с мукумуками, а я уничтожил их в один день. Я уничтожил их — грудь не успела вздохнуть. И так как мой отец, Выдра, состарился, а шаман Сколка убит, я буду одновременно и вождем, и шаманом. Отныне я буду вождем и шаманом для тебя, о мой народ! Если кто-нибудь хочет возразить, пусть выступит

вперед!»

Я ждал, но никто не выступил. Тогда я воскликнул: «Хо! Я вкусил крови! Принесите же мяса, ибо я голоден. Откройте все хранилища, принесите запасы рыбы и устройте великое пиршество. Веселитесь и пойте песни, только не погребальные, а свадебные. Затем приведите сюда девушку Кэсан. Девушку Кэсан, что будет матерью детей Покинутого Вождя».

От моих слов, а также от старости отец мой, Выдра, расплакался, как женщина, и обвил руками мои колени. И с этого дня я стал вождем и шаманом. Я пользовался великим почетом, и люди беспрекословно повиновались мне…

— Пока не появился пароход, — заметил Мутсак.

— Да, — сказал Покинутый Вождь. — Пока не появился пароход.

Киш, сын Киша

— Итак, я дам шесть одеял, двойных и теплых; шесть пил, широких и прочных; шесть ножей с Гудзонова залива, острых и длинных; два каноэ, работы Могума, Великого Мастера; десять собак, неутомимых в запряжке, и три ружья — курок одного из них сломан, но ружье хорошее, и курок может быть починен.

Киш замолчал и обвел глазами напряженные лица. Это было время Великой Рыбной Ловли, и он просил у Ноба его дочь Су-Су. Происходило все это в Миссии св. Георгия, на берегу Юкона, куда собрались разные племена с севера, юга, востока и запада, на много сотен миль в окружности, даже с Тозикаката и дальнего Тана-Нау.

— Кроме того, о Ноб, ты ведь вождь всех тана-нау; а я, Киш, сын Киша — вождь тлунгетов. Поэтому, когда мое потомство возрастет из недр дочери твоей, между нашими племенами возникнет великая дружба, и тана-нау и тлунгеты станут братьями по крови на все грядущие дни. Что я сказал, то и сделаю. А что думаешь ты, о Ноб, об этом?

Ноб степенно кивнул головой, и его шишкова-

тое, морщинистое лицо ничем не выдало того, что таилось у него в душе. Его глаза загорелись, как угольки, в узких щелках опущенных век, и он высоким, надтреснутым голосом пропищал:

— Но этого недостаточно.

— Что еще тебе нужно? — спросил Киш. — Разве я предложил тебе не полную цену? Разве за какую-либо девушку из племени Тана-Нау давали больше? Назови мне ее!

По кругу пробежал смех, и Киш понял, что он осрамил себя перед этими людьми.

— Нет, нет, друг Киш, ты не понял, — сказал Ноб, сопровождая эти слова мягким и ласковым жестом. — Цена прекрасная. Цена очень хорошая. Я не буду даже говорить о сломанном курке. Но этого недостаточно. Как вот насчет мужа?

— Да, как насчет мужа? — загудели все вокруг.

— Говорят, — резкий голос Ноба перешел в писк, — говорят, что Киш не идет по стопам своих отцов. Говорят, что он уклонился с пути во тьму, поклоняется чужим богам и стал трусом.

Лицо Киша потемнело.

— Это ложь, — прогремел он. — Киш никого не боится!

— Говорят, — продолжал тем же тоном Ноб, — что он прислушивался к речам белого человека

из Большого Дома и склонил голову перед богом белого человека, и более того, говорят, что кровь ненавистна богу белого человека.

Киш опустил глаза, и рука его судорожно сжалась. Кругом презрительно смеялись, а Мадуан, шаман, первосвященник и лекарь племени Тана-Нау, шептал что-то на ухо Нобу.

Затем среди едва освещенных светом костра теней шаман разыскал и разбудил какого-то худенького мальчика и подвел его к Кишу; в руку Киша он сунул нож.

Ноб нагнулся вперед.

— Киш! О Киш! Посмеешь ли ты убить человека? Слушай же! Это Киц-Ну — раб. Ударь его. О Киш, ударь его всей силой руки!

Мальчик дрожал и ждал удара. Киш посмотрел на него, и мысль о более высоком нравственном идеале мистера Брауна мелькнула в его мозгу, и он представил себе пламя преисподней. Нож выпал из руки, и мальчик с облегчением вздохнул и дрожащими шагами вышел из круга, очерченного огнем костра. У ног Ноба лежала собака-волкодав; она оскалила зубы и приготовилась прыгнуть вслед мальчику. Но шаман ткнул ее ногой, и это действие подало Нобу новую мысль.

— А что бы ты, о Киш, сделал, если бы с тобой поступили вот так? — с этими словами Ноб протянул кусок лососины Белому Клыку, а когда собака приготовилась схватить его, сильно ударил ее палкой по носу. — А после этого, о Киш, ты поступал бы так? — Белый Клык, пресмыкаясь на животе, раболепно лизал руку Ноба.

— Слушай же! — воскликнул Ноб, опираясь на руку Мадуана. — Я очень стар и потому что я стар, я тебе скажу. Твой отец Киш был могучий человек. Он любил песню летящей стрелы в сражении, и мои глаза видели, как брошенное им копье пронзало человека насквозь. Но ты не таков. С тех пор, как ты покинул Ворона и поклоняешься Волку, ты стал бояться крови и хочешь заставить и свой народ бояться ее. Это нехорошо! Знай, что когда я был мальчиком, не старше Киц-Ну, во всей нашей стране не было ни одного белого человека. Но они пришли один за другим, и теперь их много у нас. Это беспокойное племя — им мало отдыха у очага, с набитым желудком, и они не хотят ждать, чтобы завтрашний день доставил им пищу на завтра. По-видимому, на них тяготеет проклятие, и они смогут снять его только работой и лишениями.

Киш был поражен. Он вспомнил туманную

историю, рассказанную ему мистером Брауном о некоем Адаме, жившем в давние времена, — очевидно, мистер Браун говорил правду.

— Поэтому они накладывают руки на все, что увидят, они рыскают повсюду и все видят. А за ними приходят другие, и если им никто не помешает, они заберут себе всю нашу страну, и в ней не останется больше места для племен Ворона. И потому нам следует с ними биться, пока мы их не перебьем. Тогда мы снова овладеем страной, и, может быть, наши дети или дети наших детей будут процветать и благоденствовать. Предстоит великая борьба, и Ворон сцепится с Волком, но Киш не примет участия в этой борьбе и не допустит до борьбы свой народ. Поэтому нехорошо, чтобы он взял к себе мою дочь. Вот слово Ноба, вождя племени Тана-Нау.

— Но ведь белые люди добры и великодушны, — отвечал Киш. — Они научили нас множеству вещей. Белые люди привезли нам одеяла, ножи и ружья — мы никогда таких не делали и не умели делать. Я помню, как мы жили до их прихода. От моего отца я слышал рассказы о том времени, когда я еще не родился. На охоте нам приходилось подползать так близко к оленю, чтобы можно было поразить его копьем. А теперь мы убиваем

оленей из ружей белых людей с такого расстояния, что нельзя расслышать плач ребенка. Мы ели рыбу, мясо и ягоды — другого ничего у нас не было — и ели все без соли. Сколько найдется среди вас желающих вернуться к рыбе и мясу без соли?

Его слова достигли бы цели, если бы Мадуан вовремя не вскочил на ноги и не заговорил:

— Сначала я задам вопрос тебе, Киш. Белый человек из Большого Дома говорит, что нехорошо убивать. Разве мы не знаем, что белые люди убивают? Неужели мы забыли великую битву на Койокуке? Или великую битву у Нуклукието, где трое белых людей убили двадцать человек из племени Тозикаката? Или ты думаешь, что мы не помним трех братьев из племени Тана-Нау, которых убил белый человек Макльроз? Скажи мне, о Киш, отчего шаман Браун учит тебя, что нехорошо убивать, когда его братья убивают?

— Нет! Нет! Ответа не надо, — пронзительно закричал Ноб, между тем как Киш тщетно старался разобраться в этом противоречии. — Это очень просто. Добрый человек Браун будет крепко держать Ворона, пока его братья выщиплют ему перья. — Он повысил голос. — Но пока жив хоть один мужчина из племени Тана-Нау, чтобы на-

нести удар, или женщина, способная дать жизнь мужчине, до тех пор Ворона не ощиплют. — Ноб повернулся к грубому парню, сидевшему по другую сторону огня. — А что скажешь ты, Макамук, брат Су-Су?

Макамук встал. Длинный рубец проходил по его верхней губе, и благодаря этому шраму на его губах застыла вечная усмешка, противоречащая свирепому взгляду.

— Сегодня, — начал он, казалось бы, без всякой связи с предыдущим, — я проходил мимо хижины торговца Макльроза. В дверях грелся на солнышке смеющийся ребенок. Дитя поглядело на меня глазами торговца Макльроза и испугалось. Тогда прибежала мать и успокоила его. Мать была Зиска, женщина из племени Тлунгетов.

Яростные возгласы заглушили его голос, но он заставил всех замолчать, повернувшись драматически к Кишу. Он вытянул руку и грозно указывал на него пальцем.

— Так-то? Вы отдаете на сторону ваших женщин, тлунгеты, а затем приходите за женщинами к Тана-Нау? Но нам самим нужны наши женщины, Киш; нам нужно народить мужчин, много мужчин к тому дню, когда Ворон сцепится с Волком.

Среди грома одобрений раздался пронзительный голос Ноба:

— А ты, Нассабок, ее любимый брат?

Юноша был строен и гибок, с орлиным носом и красивыми бровями, веко его нервно подергивалось — он словно подмигивал окружающим. И едва он встал, веко дрогнуло, но теперь это не вызвало обычного смеха. Все лица были серьезны.

— Я тоже проходил мимо хижины торговца Макльроза, — заговорил он мягким, почти детским голосом, напоминавшим голос сестры. — И я видел индейцев, со лба их катился градом пот, и ноги подгибались от усталости — говорю вам, я видел индейцев, стонавших под тяжестью бревен, которые они носили для постройки лавки торговца Макльроза. И своими глазами я видел, как они рубили дрова, чтобы отопить Большой Дом шамана Брауна в течение долгих зимних ночей. Это работа женщин. Никогда мужчины племени Тана-Нау не согласятся ее делать. Мы можем быть братьями по крови только мужчинам, но не женщинам, а тлунгеты — женщины.

Наступила полная тишина, и все взоры обратились на Киша. Он медленно оглянулся, внимательно всматриваясь в лицо каждого взрослого мужчины.

— Так, — заметил он бесстрастно. И повторил: — Так. — Затем повернулся и молча исчез в темноте.

Пробираясь среди барахтающихся на земле ребятишек и ощетинившихся собак, он пересек весь лагерь и на краю его набрел на работавшую при свете костра женщину. Из длинных полос коры, срезанных с корней вьющейся лозы, она плела веревки для рыболовных сетей. Некоторое время он молча следил за движениями ловких рук, приводящих в порядок спутанную массу свивающихся волокон. Было приятно глядеть, как ловко справлялась с работой эта сильная девушка с широкой грудью и бедрами, созданными для материнства. Бронзовое лицо ее казалось золотым в отсветах пламени, волосы были черные с синим отливом, глаза сверкали, как черный янтарь.

— О Су-Су, — заговорил он наконец. — Ты ласково глядела на меня в прошедшие дни и помнишь, еще недавно…

— Я глядела на тебя ласково, потому что ты был вождем тлунгетов, — быстро сказала она. — И потому, что ты был большим и сильным.

— Но…

— Но это было в прежние дни, — торопливо прибавила она, — до того, как явился шаман

Браун и научил тебя дурным вещам и повел твои стопы по чужим путям.

— Но я хотел бы рассказать тебе…

Она подняла руку, и этот жест ему напомнил ее отца.

— Не надо, я знаю слова, что скажут твои уста, о Киш, и я отвечу на них сейчас. Так уже повелось, чтобы рыба в воде и звери в лесу рождали себе подобных. И это хорошо. То же и с женщинами. Им полагается производить себе подобных, и девушка — именно потому, что она еще девушка — предчувствует муки родов, боль в груди и маленькие ручки, обвивающие ее шею. Когда это чувство усиливается, тогда каждая девушка отыскивает себе тайно от всех мужчину — мужчину, что может стать отцом ее детей. Так было и со мной. Вот что я чувствовала, когда посмотрела на тебя и увидела, что ты здоров и силен, что ты охотник и победитель зверей и людей и что ты способен добыть мяса, когда мне придется есть за двоих, и охранить меня от всяких бед, когда я буду беспомощна. Но это было до того дня, как шаман Браун появился в нашей стране и научил тебя…

— Но это нехорошо, Су-Су… Мне говорили мудрые люди, что…

— Нехорошо убивать. Я знаю, что ты хочешь

сказать. Тогда производи подобных себе, производи людей, что не хотят убивать, но не приходи искать мать для твоих детей у племени Тана-Нау. Говорят, что в грядущие дни Ворон сцепится с Волком. Это дело мужчин, и я больше ничего не знаю, но я знаю, что мне следует народить к тому времени мужчин.

— Су-Су, — прервал ее Киш. — Выслушай меня…

— Мужчина ударил бы меня палкой и заставил бы меня выслушать его, — издевалась она. — А ты… на тебе! — Она сунула ему в руку связку коры. — Себя я не могу тебе дать, а это — возьми! Тебе это очень подходит. Это работа женщины, а потому — плети дальше!

Он отшвырнул кору, и горячая кровь пробилась через бронзовый загар его щек.

— Слушай дальше, — продолжала она. — Существует старинный обычай, ему подчинялись и твой отец, и мой. Когда воин погибал в сражении, его противник снимал скальп в знак победы. Но ты, отрекшийся от Ворона, ты должен сделать больше. Ты должен принести мне не скальпы, нет, но головы, две головы, и тогда я протяну тебе не кору, а расшитый бисером пояс, ножны и длинный русский нож. Тогда я снова ласково

погляжу на тебя, и все будет хорошо.

— Так, — задумчиво сказал он. — Так. — Затем повернулся и вышел из очерченного костром светлого круга.

— Нет, о Киш! — крикнула она ему вслед. — Не две головы, а три!

Но Киш оставался верным новой религии, жил праведно и заставлял свое племя слушаться Евангелия, проповедуемого его преподобием Джэксоном Брауном. Весь рыболовный сезон он не обращал внимания на людей из племени Тана-Нау и не слушал насмешек и смеха женщин из других племен. По окончании рыбной ловли Ноб и его племя с большими запасами высушенной на солнце и копченной в дыму лососины поехали охотиться к верховьям реки Тана-Нау. Киш следил за их отъездом, но не пропускал ни одной службы в Миссии, молился и своим глубоким басом запевал в хоре.

Его преподобие Джэксон Браун восхищался голосом Киша безупречной красоты — он убеждал его в искренности вновь обращенного. Макльроз оспаривал это убеждение. Он не верил в обращение язычников и не скрывал своего недоверия. Но мистер Браун был человеком широкого кругозора и однажды целую ночь убеждал Макльроза

в своей правоте с таким жаром и последовательностью, что разбил одно за другим все его возражения. Наконец, Макльроз в отчаянии объявил:

— Вышибите мне яблоком мозги, или я сам уверую, если Киш продержится еще два года! — Мистер Браун никогда не упускал благоприятного случая и сейчас же подкрепил сделку мужественным рукопожатием. Отныне от поведения Киша зависела судьба души Макльроза.

Но однажды, когда установился зимний путь, пришли новости. В Миссию св. Георгия явился за боевыми припасами человек из племени Тана-Нау. Он рассказал, что Су-Су остановила благосклонный взор на сильном, молодом охотнике Ни-Ку, предложившем за нее хорошую цену старому Нобу. В этот же день его преподобие Джэксон Браун набрел на Киша на лесной тропинке, ведущей вниз к реке. В сани Киша были впряжены его лучшие собаки, а под веревками просунуты большие, самые лучшие его лыжи.

— Куда идешь ты, о Киш? Охотиться? — спросил мистер Браун, подражая манере индейцев.

Киш пристально посмотрел ему в глаза и тронул собак. Затем снова повернул свой пристальный взор на миссионера и ответил:

— Нет, я иду в ад.

На маленькой прогалине, стараясь зарыться в снег, словно укрываясь от пугающей пустыни, скучились три унылых жилища. Прогалина была окружена густым темным бором. Над головой не было видно синего неба — лишь таинственная, туманная завеса, готовая засыпать снегом всю землю. Здесь не было ни ветра, ни звуков — только снег и тишина. Вокруг стоянки не чувствовалось даже обычного движения жизни; партия охотников напала на стадо оленей, и добыча была богатая. Поэтому после некоторого поста настало время пирования, и теперь они, несмотря на то что был день, крепко спали под покровом из оленьих шкур.

У огня, перед одним из строений, стояло пять пар лыж и сидела Су-Су. Капюшон беличьей *парки* покрывал ее голову и был плотно завязан у шеи; но руки ее были открыты и проворно управлялись с иглой и ниткой из сухожилий, заканчивая фантастический кожаный пояс, отделанный красной материей. Где-то позади залаяла собака, но лай прекратился столь же внезапно, как и начался. Один раз ее отец, спавший в жилище за ее спиной, застонал во сне.

«Он видит дурные сны, — улыбнулась она про

себя. — Он становится стар, и ему такие пиршества не под силу».

Она пришила последнюю бусинку, закрепила нитку и подложила дров в огонь. Долго смотрела в пламя костра и, наконец, подняла голову, услышав хруст снега под чьими-то мокасинами. Рядом с ней стоял Киш, слегка сгибаясь под тяжестью ноши, которую нес на спине. Ноша была завернута в мягко выдубленную оленью шкуру. Он небрежно сбросил ее в снег и сел. Долго и безмолвно они глядели друг на друга.

— Это большой конец, Киш, — сказала она, — большой конец от Миссии св. Георгия по Юкону.

— Да, — отвечал он, не переставая о чем-то думать и устремив глаза на пояс и мысленно примеряя его. — А где же нож? — спросил он.

— Вот он. — Она вынула его из складок своей парки, и лезвие засверкало в отсветах огня. — Это очень хороший нож.

— Дай мне его! — сказал он властно.

— Нет, о Киш, — засмеялась она. — Я думаю, что ты родился не для того, чтобы его носить.

— Дай мне его! — повторял он, не меняя тона. — Я родился для этого.

Но ее глаза, заигрывая, скользнули мимо него к оленьей шкуре, и она увидела, что снег вокруг

нее покраснел.

— Это кровь, Киш? — спросила она.

— Да, это кровь. Но дай мне пояс и длинный русский нож.

Она испугалась и вся содрогнулась, когда он грубо вырвал у нее из рук пояс, содрогнулась от его грубости. Она ласково посмотрела на него и почувствовала боль в груди и маленькие ручки, цеплявшиеся за ее шею.

— Он был сделан для человека поменьше, — угрюмо заметил он, втягивая живот и с трудом застегивая пряжку пояса.

Су-Су улыбнулась, и ее глаза взглянули на него еще нежнее. На него приятно было смотреть, и пояс действительно был ему узок; ведь пояс был сделан для другого, не столь крупного человека, но не все ли равно? Она может сшить и другой пояс.

— Но что это за кровь? — спросила она, побуждаемая все растущей надеждой. — Что за кровь, Киш? Или… может быть… это головы?

— Да.

— Они, верно, только что отрезаны, иначе кровь бы замерзла.

— Да, теперь нехолодно, и головы совсем свежие, только что отрезанные.

— О Киш! — Глаза ее горели, и лицо сияло. — Это для меня?

— Да, для тебя.

Он захватил уголок шкуры, поднял его, и головы покатились на снег.

— Три, — прошептала она, — нет, по крайней мере четыре.

Она сидела, потрясенная. Вот они лежали — нежное лицо Ни-Ку; морщинистое, старое лицо Ноба; Макамук усмехался ей своей приподнятой верхней губой; Нассабок, по старой привычке, опустил ресницы над девичьей щекой, словно подмигивая ей. Вот они лежали, освещенные играющим пламенем костра, и снег вокруг каждой из них окрашивался пурпуром.

Жар костра растопил белую корку снега под головой Ноба, и она, словно живая, покатилась, повернулась и остановилась у ног Су-Су. Но та не двинулась. Киш тоже сидел неподвижно и, не мигая, не сводил с нее пристального взора.

Отягощенная снегом сосна стряхнула с себя груз, и эхо глухо повторило звук по ущелью, но ни один из них не шелохнулся. Короткий день быстро убывал, и темнота начала спускаться над стоянкой, когда Белый Клык направился к огню. Он остановился при виде незнакомца

— его никто не отгонял, и он подошел ближе. Но обоняние быстро отвлекло его внимание от огня, ноздри его зашевелились, и шерсть стала дыбом: не обманывающий инстинкт привел его прямо к голове хозяина. Сначала он ее осторожно обнюхал и лизнул лоб красным языком. Затем сел, поднял нос кверху, к первой, едва блеснувшей звезде и завыл протяжным волчьим воем.

Этот вой привел Су-Су в себя. Она поглядела на Киша, вынувшего из ножен русский нож и напряженно следившего за всеми ее движениями. Его лицо было решительно и твердо, и она прочла на нем закон. Откинув назад капюшон *парки,* она обнажила шею и встала. Окинула долгим взглядом темный лес, окружавший прогалину, далекие звезды на небе, стоянку, лыжи в снегу — последний, прощальный взгляд на жизнь. Легкий ветерок налетел сбоку и приподнял прядь волос. Глубоко вздыхая, она повернула голову, и ветер подул ей прямо в лицо.

Потом она подумала о своих детях, которым не суждено родиться, подошла к Кишу и сказала:

— Я готова.

Смерть Лигуна

Кровь за кровь, род за род.

Закон племени Тлинкет

— Слушай теперь о смерти Лигуна…

Рассказчик остановился, или, вернее, сделал передышку и многозначительно посмотрел на меня. Я поднял перед ним, сидящим у костра, бутылку, отметил пальцем размеры глотка и передал ему, недаром ведь Палитлума прозвали Пьяницей. Много историй рассказал он мне, и я давно уже ждал, чтобы этот хранитель неписаного предания заговорил о временах Лигуна: из всех людей на свете он один хорошо знал те времена.

Он откинул назад голову и забормотал, довольный; скоро послышалось бульканье, и на неровной поверхности находившегося позади утеса заплясала чудовищная тень человеческого туловища под громадной опрокинутой бутылкой. Палитлум оторвался от бутылки, ласково причмокнул и грустно поглядел вверх, на северное сияние, игравшее на бледной синеве летнего неба.

— Удивительный напиток, — сказал он. — Хо-

лодный, как вода, и горячий, как огонь. Пьющему он придает силу и у пьющего отнимает силу. Стариков он превращает в юношей, а юношей в стариков. Усталого он заставляет встать и идти вперед, а бодрого погружает в сон. Мой брат, обладавший сердцем кролика, выпил его и убил четырех врагов. Мой отец был подобен матерому волку, скалящему зубы на всех людей; но когда он напился, то побежал от врага и был убит выстрелом в спину. Очень удивительный напиток.

— Это «Три Звездочки», — да и качество ее лучше, чем та бурда, которой они отравляют свои желудки там, внизу, — ответил я, протягивая руку над зияющей черной бездной и указывая вниз, где далеко на берегу виднелись огни костров — крохотные огоньки, дающие ощущение реальности окружающего мира.

Палитлум вздохнул и покачал головой.

— Поэтому-то я и нахожусь здесь с тобой.

Тут он обласкал бутылку и меня взглядом, красноречивее всяких слов говорившим о его бесстыдной любви к выпивке.

— Нет, — сказал я, пряча бутылку. — Расскажи о Лигуне. О «Трех Звездочках» мы поговорим после.

— Бутылка полна, а я ничуть не устал, — нагло

клянчил он. — Дай, я приложу ее к губам и расскажу тебе о великих подвигах Лигуна и его конце.

— У пьющего он отнимает силу, — передразнил я его, — а бодрого погружает в сон.

— Ты мудр, — ответил он без гнева и обиды. — Ты мудр, как и все твои братья. «Три Звездочки» всегда при тебе, когда ты бодрствуешь и когда ты спишь, но я никогда не видел, чтобы ты был пьян. Вы забираете себе золото, скрытое в наших горах, и рыбу, что плавает в наших морях, а Палитлум и братья Палитлума роют для тебя золото и ловят рыбу и рады, когда ты с высоты своей мудрости соизволяешь им приложиться губами к «Трем Звездочкам».

— Я собрался послушать о Лигуне, — нетерпеливо сказал я. — Ночь коротка, а нам завтра предстоит трудный путь. — Затем я зевнул и сделал вид, будто хочу встать, но Палитлум встревожился и приступил к рассказу.

— В годы старости Лигун хотел, чтобы между племенами царствовал мир. Юношей он был первым среди воинов и вождем над всеми вождями островов и проливов. Все дни его были заполнены войной. Ни у кого на свете не было на теле столько ран, сколько у него; эти раны нанесены были и костяным оружием, и свинцовыми пуля-

ми, и железными ножами. Он имел трех жен и от каждой жены по два сына; но сыновья его, начиная от рожденного первым и кончая родившимся последним, погибли, сражаясь рядом с ним. Беспокойный, как медведь-плешак, он рыскал далеко по всей стране, до Аляски и Мелководья на севере; забирался к югу до островов Королевы Шарлотты и, говорят, прошел с кэйксами до дальнего Пюджет Саунд[6], где убивал твоих братьев в их защищенных домах.

Но, как я уже говорил, в старости он хотел установить мир между племенами. Не потому, что стал трусом или слишком дорожил спокойным местечком у очага и полным котелком пищи. Он убивал людей с кровожадностью и злобой, стягивал живот в голодные дни и вместе с храбрейшими юношами пускался в путь по бурным морям и опасным дорогам. Но в наказание за такие деяния его увезли на военном судне в твою страну, о Волосатое Лицо и Человек из Бостона, и прошло много лет, пока он вернулся, и я уже был тогда не мальчик, но еще не стал мужчиной. И Лигун, оставшийся бездетным на старости лет, привязался ко мне и приобщал меня к своей

[6] notes: 6

Большой залив Тихого океана в северо-западной части штата Вашингтон. *(Прим. ред.)*

мудрости.

«Сражаться хорошо, о Палитлум», — говаривал он… Нет, о Волосатое Лицо, в те дни меня не звали Палитлумом, а называли Оло-Вечно-Голодный. Пьяницей я стал после. «Сражаться хорошо, — говорил Лигун, — но это глупо. Я своими глазами видел, что в стране людей из Бостона жители не сражаются друг с другом и все же они очень сильны. Благодаря своей силе они выступают против нас на островах и проливах, и мы рассеиваемся перед их взорами, как дым костра или морской туман. Поэтому я говорю тебе, что сражаться очень хорошо и приятно, но глупо».

Поэтому-то Лигун, бывший прежде среди воинов первым, теперь громче всех заговорил о мире. Он был величайшим из вождей и самым богатым из всех и, достигнув глубокой старости, он задал потлач. Никогда еще на свете не бывало такого пира. У берега выстроилось пятьсот каноэ, а в каждом прибыло не менее десяти мужчин и женщин. На пир явилось восемь племен; приехали все, начиная от дряхлых стариков до новорожденных младенцев. Прослышав о пире Лигуна, прибыли, не побоявшись долгого пути, и мужчины из отдаленных племен. И в течение семи дней все они наполняли себе желудок яствами

и напитками. Он роздал им восемь тысяч одеял. Я хорошо знаю это, ибо кто, как не я, вел счет и распределял их соответственно роду и заслугам каждого. К концу пира Лигун стал бедняком, но его имя было у всех на устах, и другие вожди скрежетали зубами, завидуя его величию и славе.

Слово его было законом, и, пользуясь этим, он проповедовал мир; он ездил на все пиры, празднества и собрания, чтобы говорить о мире. Случилось так, что мы поехали вместе — Лигун и я — на большой пир Ниблака, вождя речного племени Скутов, жившего недалеко от племени Стикин. Жизнь Лигуна подходила к концу, он был уже очень стар и близок к смерти. Он кашлял от холода и от дыма костра, и нередко изо рта у него шла кровь — мы думали, что вот-вот он умрет.

«Нет, — сказал он однажды, когда изо рта показалась кровь, — куда лучше умереть, когда кровь льется из-под ножа и слышится звон стали и запах пороха, а люди громко вскрикивают, пораженные холодной сталью или быстрым свинцом». Итак, ты видишь, о Волосатое Лицо, что сердце его еще жаждало сражений.

Из Чилькэта до скутов путь неблизкий, и мы много дней провели в каноэ. Пока люди склонялись над веслами, я сидел у ног Лигуна и слушал

его поучения. Мне незачем говорить тебе о Законе, Волосатое Лицо, ибо я знаю, что ты в Законе очень сведущ. Я только скажу тебе о Законе — кровь за кровь и род за род. Лигун подробно разъяснил мне его. Вот его слова:

«Знай, о Оло, что не велика честь убить человека, низшего по происхождению. Убивай всегда людей, стоящих выше тебя, и ты заслужишь почет, соответствующий их положению. Если из двух противников ты убьешь менее знатного, то уделом твоим будет позор, и даже женщины будут смеяться при встречах с тобою. Я говорил уже, что хорошо жить в мире, но помни, о Оло, если тебе придется убивать — убивай, сообразуясь с Законом».

— Таков обычай племени Тлинкет, — в виде оправдания заметил Палитлум, а я подумал о разбойниках и убийцах Западных Стран и ничуть не удивился обычаю племени Тлинкет.

— Мы вовремя попали на пир к вождю скутов — Ниблаку, — продолжал Палитлум. — Празднество было почти столь же большое, как потлач Лигуна. Были на нем и наши из Чилькэта, и индейцы из племени Ситка, и стикины, соседи скутов, и гунаа. Были сэндоуны и тихиосы из Порта Юзтока, их соседи оки из Пролива Дугласа,

речное племя Наассов и тонгасы с севера Диксона и, наконец, кэйксы с Острова Купреянова. Затем были сиваши из Ванкувера, касскары с Золотых Гор, теслины и даже стиксы из Страны Юкона.

Это было замечательное празднество. Но первым делом должна была состояться встреча вождей с Ниблаком, и предполагалось утопить все прежние распри в квасе. Мы научились приготовлению кваса у русских, так сказал мне отец, а ему говорил его отец. Но в этот квас Ниблак много чего прибавил — сахара, муки, сушеных яблок и хмеля и получился хороший и крепкий напиток для мужчин. Не такой хороший, как «Три Звездочки», о Волосатое Лицо, но все же очень хороший.

Квас был только для вождей, а вождей собралось человек двадцать. Поскольку Лигун был очень стар и пользовался большим почетом, мне разрешено было войти вместе с ним, чтобы он мог опираться на мое плечо, а я бы ему помогал опускаться на место и вставать. У двери в дом Ниблака — а дом его был сложен из бревен очень больших размеров — каждый вождь по обычаю оставлял свое копье, ружье или нож. Ведь ты знаешь, о Волосатое Лицо, что напитки горячат кровь, старые распри вспыхивают вновь, и го-

лова и рука начинают действовать быстро. Но я заметил, что Лигун взял с собой два ножа и один оставил за дверью, а второй спрятал под одеялом, так что можно было сразу схватиться за рукоятку. Другие вожди поступили так же, и я испугался того, что должно произойти.

Вожди чинно расселись большим кругом. Я стоял рядом с Лигуном. В середине помещался бочонок с квасом, и у бочонка стоял раб, подававший напиток. Сначала Ниблак произнес дружелюбную речь, в ней было много красивых слов. Затем он подал знак, и раб погрузил тыкву в бочонок и подал ее, как полагалось, Лигуну, ибо он был знатнейшим из собравшихся. Лигун выпил все до последней капли, и я помог ему встать, чтобы и он мог произнести речь. Он нашел приятные слова для всех вождей, отметил щедрость Ниблака, устроившего такое пышное торжество, посоветовал, по своему обыкновению, всем жить в мире и в конце сказал, что квас очень хорош.

После него выпил Ниблак, ибо он по старшинству следовал за Лигуном, а за ним, по старшинству и знатности, выпили и остальные вожди. Каждый из них говорил дружелюбные слова и хвалил квас, пока тыква не обошла весь круг и все вожди не выпили.

Все ли я сказал? Нет, не все, о Волосатое Лицо! Последний из них, худощавый, похожий на кошку юнец с быстрыми, дерзкими глазами, мрачно выпил свою долю, затем плюнул на землю и не сказал ни слова.

Не сказать, что квас хорош, — оскорбление; плюнуть на землю — тяжкое оскорбление. И такое-то оскорбление он решился нанести вождям. Было известно, что он — вождь стиксов с Юкона, но больше о нем ничего не знали.

Я уже говорил, что это страшное оскорбление. Но заметь, о Волосатое Лицо, что оскорбление было нанесено не Ниблаку, хозяину пира, но самому знатному из вождей, сидевших в кругу. А самым знатным был Лигун. Никто не шелохнулся. Все глаза были устремлены на него. Он не двинулся. Его высохшие уста не дрогнули, ноздри не раздулись, и веки не опустились. Я видел, что он слаб и печален, как старики в тягостные утра голодных зим, когда женщины плачут, дети хнычут, нет мяса, и нет надежды его получить. И тем же взглядом, каким смотрят на мир эти старики, смотрел сейчас и Лигун.

Настала мертвая тишина. Можно было подумать, что кругом сидят мертвецы, если бы каждый из вождей не ощупывал для верности

нож, спрятанный в складках одеяла, и если бы каждый из них не оглядывал испытующим взглядом своих соседей справа и слева. Я был юношей в то время, но я понял, что такие события случаются лишь раз за всю жизнь.

Вождь стиксов встал — все, не отрываясь, за ним следили — подошел к Лигуну и остановился перед ним.

«Я — Опитса-Нож», — сказал он.

Но Лигун ничего не отвечал и, не глядя на него, не мигая смотрел в землю.

«Ты — Лигун, — сказал Опитса. — Ты убил многих воинов. А я еще жив».

Лигун все еще ничего не говорил, он только подал мне знак и с моей помощью поднялся и выпрямился. Он напоминал старую сосну, обнаженную и седую, но все еще способную противостоять бурям и морозам. Глаза его не мигали, и он, казалось, не слыхал слов Опитса и не видел его лица.

Опитса с ума сходил от ярости и приплясывал перед Лигуном в знак своего презрения. Затем он запел песню о своем величии и о величии своего племени, и песня его была полна нападок на племя Чилькэтов и на Лигуна. Громко распевая и приплясывая, он отбросил от себя свое одеяло

и, вынув нож, стал описывать круги перед лицом Лигуна. И песня, что он пел, была Песнью Ножа.

Раздавалось только пение Опитса; вожди сидели в кругу, как мертвецы, и только сверкание ножа как будто вызывало ответные искры в их глазах. И Лигун тоже не произносил ни слова. Он знал, что его смерть близка, и не боялся ее. А нож, описывая круги, все приближался и приближался к лицу Лигуна, но он смотрел перед собой немигающими глазами и не отклонялся ни вправо, ни влево, ни назад.

И Опитса два раза ударил его ножом по лбу, и кровь брызнула из раны. Тогда-то Лигун подал мне знак поддержать его моей юностью и помочь ему пройти. И он презрительно рассмеялся прямо в лицо Опитса-Ножу. И отбросил его в сторону, как отбрасывают ветку, слишком низко нависшую над дорогой, и прошел мимо.

И я понял, что для Лигуна было бы позором убить Опитса перед лицом более знатных вождей. Я вспомнил Закон и понял, что Лигун собирается убивать по Закону. Но кто же был здесь самым знатным после Лигуна, если не Ниблак? И к Ниблаку он и направился, опираясь о мое плечо. А с другой стороны за него уцепился Опитса, слишком незначительный, чтобы осквернить своей

кровью руки столь великого вождя. И хотя нож Опитса снова и снова вонзался в тело Лигуна, тот на удары и оскорбления не дрогнул бровью. Таким-то образом мы трое прошли через комнату и подошли к завернувшемуся в одеяло испуганному Ниблаку.

Но тут вспыхнула старая вражда и вспомнились забытые раздоры. Брат Ламука, вождя кэйксов, был утоплен в дурных водах Стикина, и племя Стикина не уплатило одеялами за дурные воды, как полагалось по обычаю. Поэтому Ламук вонзил свой длинный нож прямо в сердце Клок-Куца, вождя стикинов. И Катчахук вспомнил ссору своего племени, живущего по реке Наасс, с тонгасами, живущими на севере Диксона, и убил вождя тонгасов выстрелом из пистолета, стрелявшего с большим шумом. Жажда крови охватила всех сидящих в кругу, и вождь убивал вождя. И все они старались ранить ножом или выстрелом Лигуна, ибо тот, кому суждено его убить, заслужит большой почет и покроет себя неувядаемой славой. Они напали на него, как волки на оленя, но их было так много, что они мешали друг другу и не могли его убить. Каждому приходилось убивать, чтобы пробить себе дорогу к Лигуну, и вокруг была страшная свалка.

А Лигун подвигался медленно, не спеша, словно впереди у него еще много лет. Казалось, он уверен, что ему удастся убить, прежде чем сам погибнет. И, как я уже сказал, он подвигался медленно, и ножи вонзались в него, и он был залит кровью. Хотя никто не собирался меня трогать, ибо я был лишь юношей, но ножи все же попадали в меня и горячие пули обжигали. А Лигун все еще опирался на мою молодость, и Опитса вертелся вокруг него, и мы трое двигались вперед. Когда мы остановились перед Ниблаком, Ниблак испугался и накрыл голову одеялом. Племя Скутов всегда отличалось трусостью.

Гулзуг и Кадишан, пожиратель рыбы и охотник, сцепились за честь своих племен. Они яростно боролись и в дикой схватке сбили Опитса, стали топтать его ногами. Брошенный кем-то нож попал прямо в горло Скульпина, вождя племени Ситка — он взмахнул руками, пошатнулся и, падая, увлек меня за собой.

Лежа на земле, я видел, как Лигун склонился над Ниблаком, сорвал с его головы одеяло и повернул его лицо к свету. И Лигун нисколько не торопился. Ослепленный собственной кровью, он протер себе глаза. Убедившись, что повернутое к свету лицо — лицо Ниблака, он провел ножом по

его горлу, как охотник проводит ножом по горлу трепещущей косули. Затем он выпрямился и, слегка раскачиваясь, запел песню смерти. Тогда Скульпин, лежа на земле, выстрелил в него из пистолета. Лигун пошатнулся и упал, как шатается и падает сосна в объятиях ветра.

Палитлум замолчал. Его блестевшие глаза были устремлены в огонь и щеки пылали.

— А ты, Палитлум? — спросил я. — А ты?

— Я? Я помнил Закон и убил Опитса-Ножа, и это было очень хорошо. И я вытащил нож Лигуна из горла Ниблака и убил Скульпина, опрокинувшего меня на землю. Я был еще юношей, и каждый убитый вождь возвеличивал меня. Затем, раз Лигун был мертв, моя молодость никому не была нужна, и я действовал ножом, выбирая самых знатных из оставшихся в живых вождей.

Палитлум порылся в складках своей одежды, достал обшитые бисером ножны и вытащил из них нож. Нож был самодельный, грубо вырезанный из пилы, такие ножи можно найти у стариков в сотне селений на Аляске.

— Нож Лигуна? — спросил я. Палитлум кивнул головой.

— За нож Лигуна я тебе дам десять бутылок с «Тремя Звездочками», — сказал я.

Палитлум медленно перевел на меня свой взгляд.

— Я слаб, как вода, и податлив, как женщина. Я осквернил свой желудок квасом, водкой и «Тремя Звездочками». Мое зрение ослабело, и слух потерял остроту, а сила обратилась в жир. Никто меня не уважает, и зовут меня Палитлум-Пьяница. Но на потлаче у Ниблака, вождя скутов, меня уважали, и память об этом пире и память о Лигуне мне дорога. И если бы ты все море превратил в «Три Звездочки» и дал бы его мне за нож, я бы ножа не отдал. Я — Палитлум-Пьяница, но я был Оло-Вечно-Голодный, поддерживавшим своею молодостью Лигуна.

— Ты великий человек, Палитлум, — сказал я, — и я уважаю тебя.

Палитлум протянул руку.

— Отдай мне «Три Звездочки», которые ты сжимаешь между коленями, за мой рассказ, — сказал он.

И когда я повернулся — на неровной поверхности скалы я увидел чудовищную тень человека под громадной опрокинутой бутылкой.

Красавица Ли-Ван

— Каним, солнце заходит, и дневной жар спал!

Этими словами будила Ли-Ван спящего, чья голова была закрыта одеждой из беличьих шкурок. Голос ее звучал тихо, словно она колебалась между необходимостью разбудить его и страхом перед его пробуждением. Она боялась своего великана-супруга, столь непохожего на всех других мужчин, которых она когда-либо видела.

Оленье мясо жарилось и шипело, и она сдвинула сковороду на край красных головешек. Затем она осторожно оглянулась на двух псов с Гудзонова залива, жадно следивших за каждым ее движением. Эти громадные лохматые чудовища, высунув длинные красные языки, прикорнули с подветренной стороны костра — здесь дым защищал их от тучи москитов. Когда Ли-Ван поглядела вниз, где Клондайк катил среди гор свои мощные воды, одна из собак подползла на животе к костру и ловким, кошачьим движением лапы сбросила кусок горячего мяса со сковороды на землю. Но Ли-Ван краешком глаза следила за ней, и собака с рычанием отпрянула назад, получив удар по носу.

— Не удалось, Оло! — рассмеялась она, завладевая мясом и не спуская глаз с собак. — Ты вечно голоден, и твой нюх постоянно доводит тебя до беды.

Но вторая собака присоединилась к Оло, и обе они вызывающе стали перед женщиной. Шерсть на их спинах вздыбилась, тонкие губы собрались в безобразные морщины, обнажая угрожающие, свирепые клыки. Ноздри их сморщились и дрожали, они рычали по-волчьи и готовились к яростному волчьему прыжку.

— И ты тоже, Бэш, свиреп, как твой хозяин, и не хочешь жить в мире с тем, кто дает тебе пищу! С тобою ведь не ссорились! Так получай же.

С этим криком она бросила в них поленом, но они увернулись и не отступали. Разделившись, они с двух сторон приближались к ней, низко припадая к земле и рыча. Ли-Ван боролась за господство над волкодавами с тех пор, как маленьким ребенком ползала среди тюков со шкурами на полу своей хижины, и поняла, что наступает решительный момент. Бэш остановился, и мускулы его напряглись для прыжка; Оло еще подползал на достаточное для прыжка расстояние.

Схватив за обугленные концы две горящих го-

ловни, она приготовилась встретить нападение. Оло остановился, но Бэш прыгнул, и она бросила в него пылающее полено. Раздался резкий, болезненный вой, и в воздухе запахло паленой шерстью и мясом. Когда пес покатился в пыли, женщина поднесла к его пасти горящую головню. С диким рычанием он увернулся от следующих ударов и в безумном страхе пустился наутек. Оло, со своей стороны, также начал отступление, когда Ли-Ван напомнила о своем превосходстве, метнув ему в бок тяжелое полено. После этого оба пса отступили под дождем сыпавшихся на них поленьев и на краю стоянки, рыча и завывая, зализывали раны.

Ли-Ван сдунула золу с упавшего куска мяса и снова села. Ее сердце билось спокойно, и борьба с собаками отошла в прошлое — такие происшествия были в ее жизни обычными. Несмотря на шум, Каним не шелохнулся — наоборот, захрапел сильнее.

— Вставай, Каним! — будила его она. — Дневной жар спал, и нам пора в путь.

Одежда из беличьих шкур зашевелилась и, наконец, была отброшена бронзовой рукой. Глаза человека приоткрылись, но затем снова сомкнулись.

«Его ноша тяжела, — подумала она, — и он устал после утреннего пути».

Москит ужалил ее в шею, и она замазала непокрытое место глиной: кусок она взяла от кома, всегда находящегося под рукой. Все утро, в тучах москитов поднимаясь на перевал, мужчина и женщина непрерывно мазали лицо липкой грязью, которая, высыхая на солнце, покрыла их лица глиняными масками. Эти маски, кое-где треснувшие вследствие движения лицевых мускулов, должны были постоянно подновляться. Слой глины получился весьма неравномерный по толщине и странный по форме.

Ли-Ван мягко, но настойчиво будила Канима, пока он не проснулся и не сел. Первым делом он посмотрел на солнце и, справившись о времени по небесному хронометру, перебрался к костру и жадно набросился на мясо. Он был крупным индейцем, шести футов ростом, с широкой грудью и прекрасными мускулами. Взгляд его, более проницательный, чем обычно у его соплеменников, свидетельствовал о больших умственных способностях. На его лице читалась огромная сила воли, а эта сила воли в сочетании с непреклонностью и первобытностью говорила о врожденной неукротимости человека, идущего прямо к це-

ли и способного, в случае противодействия, на страшную жестокость.

— Завтра, Ли-Ван, у нас будет праздник. — Он высосал дочиста мозговую кость и бросил ее собакам. — Мы будем есть оладьи, жаренные на свином сале, и сахар — это очень приятно на вкус.

— *Оладьи?* — переспросила она с любопытством произнося незнакомое слово.

— Да, — с чувством превосходства отвечал Каним, — и я научу тебя новым способам стряпни. Ты ничего не знаешь об этих вещах, да и о многих других тоже. Ты провела свою жизнь в глуши и ничего другого не видела. А я, — он выпрямился и горделиво поглядел на нее, — я — великий путешественник и был повсюду, даже в местах, населенных белыми людьми, и я знаю их обычаи и обычаи многих народов. Я — не дерево, рожденное, чтобы всегда стоять на одном месте и не знать о том, что находится за ближайшей горой; я — Каним-Каноэ, созданный, чтобы странствовать и изучать мир вдоль и поперек.

Она смиренно наклонила голову.

— Это правда. Я все дни своей жизни ела рыбу, мясо и ягоды и жила в глуши. Я не знала, что мир так велик, пока ты не похитил меня у моего

народа и я не начала готовить тебе пищу и заботиться о тебе во время бесконечного пути. — Она внезапно поглядела на него. — Скажи, Каним, этот путь когда-нибудь кончится?

— Нет, — отвечал он. — Мой путь подобен миру, — он никогда не кончится. Мой путь — это мир, и я странствую по миру с тех пор, как научился держаться на ногах, и буду странствовать до дня своей смерти. Возможно, мои отец и мать умерли, я давно их не видел, и мне это безразлично. Мое племя подобно твоему племени. Оно живет далеко отсюда, но мне нет дела до моего племени, ибо я — Каним-Каноэ.

— Должна ли я, Ли-Ван, усталая от пути, странствовать с тобой до дня своей смерти?

— Ты, Ли-Ван, — моя жена, а жена странствует по путям своего мужа, куда бы они ни вели его. Таков Закон. А если бы это и не было Законом, то стало бы Законом Канима, который дает Закон себе и своим близким.

Она снова наклонила голову, ибо знала, что по Закону мужчина — господин.

— Не спеши, — удержал ее Каним, когда она принялась собирать в мешок скудные пожитки. — Солнце сильно греет, дорога ведет вниз, и путь не утомителен.

Она покорно оставила работу и снова уселась на землю. Каним оглядел ее внимательным взглядом.

— Ты не сидишь на корточках, как другие женщины, — заметил он.

— Да, — отвечала она. — Мне трудно сидеть на корточках. Это меня утомляет, и я не могу отдохнуть.

— А отчего ты при ходьбе ставишь носки врозь, а не прямо?

— Не знаю, но мои ноги не похожи на ноги других женщин.

В его глазах блеснуло удовлетворение, но он его ничем не выразил.

— Твои волосы черны, как волосы других женщин, но замечала ли ты, что они мягкие и тонкие, — гораздо мягче и тоньше, чем их волосы?

— Замечала, — коротко ответила она, недовольная столь хладнокровным анализом ее женских несовершенств.

— Прошел уже год, как я взял тебя у твоего племени, — продолжал он, — а ты все так же робка и так же чуждаешься меня, как в тот день, когда я тебя впервые увидел. Отчего это?

Ли-Ван покачала головой.

— Я боюсь тебя, Каним, ты такой большой и непонятный. А кроме того, еще прежде, чем ты на меня посмотрел, я боялась всех юношей. Я не знаю… не умею сказать… мне только казалось, словно они мне не подходят, словно…

— Ну! — ободрил он ее, ее заминки выводили его из терпения.

— Словно они люди другой, не моей породы.

— Не твоей породы? — медленно переспросил он. — Какая же твоя порода?

— Я не знаю, я… — Она растерянно покачала головой. — Я не умею выразить словами, что я чувствовала. Я была какая-то странная. Я была не похожа на других девушек, которые тайно искали встреч с юношами. Я не могла вести себя так с ними. Мне бы это казалось очень нехорошим поступком.

— Какое первое воспоминание твоего детства? — резко и без всякой связи с предыдущим спросил Каним.

— Поу-Ва-Каан, моя мать.

— А до Поу-Ва-Каан ты ничего не помнишь?

— Ничего.

Но Каним, глядя ей прямо в глаза, старался проникнуть ей в душу и заметил ее колебание.

— Подумай, подумай хорошенько, Ли-Ван, —

грозно сказал он. В глазах ее отразились страдание и мольба, она забормотала что-то, но его воля покорила ее и вырвала из ее уст признание.

— Это были лишь сны, Каним, дурные сны детства, как бывают видения у собак, спящих на солнышке и воющих во сне.

— Расскажи мне, — приказал он, — о том, что ты помнишь до Поу-Ва-Каан, твоей матери.

— Это забытое воспоминание, — возражала она. — Ребенком я видела сны наяву, и когда я рассказывала о виденных мною удивительных вещах, меня высмеивали, а другие дети пугались и убегали от меня. А когда я говорила об этих вещах Поу-Ва-Каан, она бранила меня и объясняла, что это дурные вещи, она даже била меня. Я думаю, что это была болезнь вроде падучей, что бывает у стариков, а с годами я стала здоровее и больше таких снов не видела. А теперь… я не могу вспомнить, — она смущенно поднесла руку ко лбу, — они где-то здесь, но я не могу найти их, только…

— Только, — повторил, помогая ей, Каним.

— Только одно осталось у меня в памяти. Но ты будешь смеяться, так это невероятно.

— Нет, Ли-Ван. Сны — это сны. Они могут быть воспоминаниями о прежних прожитых нами

жизнях. Я был раньше оленем. Я твердо убежден в том, что был оленем, судя по тем вещам, какие я видел во сне.

Он тщетно пытался скрыть нараставшее волнение, но Ли-Ван, стараясь найти подходящие слова, для передачи своих мечтаний и снов, не замечала его состояния.

— Я вижу утоптанную площадку на снегу, среди деревьев, — начала она, — а на снегу следы мужчины, с трудом пробиравшегося на четвереньках, и я вижу мужчину в снегу, и мне кажется, что я совсем близко от него. Он не похож на настоящих мужчин, у него на лице волосы, много волос, и все волосы, покрывающие его лицо и голову, желты, как летний мех ласки. Его глаза закрыты, но затем открываются и что-то ищут. Они синие, как небо, и, повстречавшись с моими, больше ничего не ищут. Его рука двигается медленно, словно от слабости, и я чувствую…

— Да, — хрипло прошептал Каним, — ты чувствуешь?

— Нет! Нет! — торопливо вскричала она. — Я ничего не чувствую. Разве я сказала «чувствую»? Я не хотела это сказать. Невозможно, чтобы я хотела это сказать. Я гляжу, я только гляжу, и это все, что я вижу, — мужчина на снегу, с глазами,

как небо, и волосами, как летний мех ласки. Я много раз видела этот сон, и всегда он был одинаков — мужчина на снегу…

— А себя ты видишь? — спросил он, подавшись вперед и напряженно вглядываясь в нее. — Ты когда-либо видела себя и мужчину на снегу?

— Как могла я видеть себя? Разве я не живу?

Напряжение его мускулов спало, он откинулся назад и отвел в сторону глаза, чтобы она не увидела в них выражения торжества и удовлетворения.

— Я объясню тебе все, Ли-Ван! — решительно заговорил он. — Ты в прежней жизни была маленькой птичкой: ты видела человека на снегу и теперь, в этой жизни, вспоминаешь. В этом нет ничего удивительного. Я был прежде оленем, а отец моего отца после смерти стал медведем — так сказал шаман, а шаман не может лгать. Так мы переходим от жизни к жизни, и одни только боги знают, что будет с нами дальше. Сны и тени снов лишь воспоминания, больше ничего, и собака, повизгивая во сне, лежа на солнышке, несомненно, видит и вспоминает события из прежней жизни. Например, Бэш был когда-то воином. Я твердо уверен в том, что он был воином. — Каним бросил собаке кость и встал. — Ну,

двинемся в путь. Солнце сильно греет, холоднее уже не будет.

— А эти белые люди, какие они по виду? — осмелилась спросить Ли-Ван.

— Такие же, как ты и я, — отвечал он. — У них только кожа не такая темная. Ты увидишь их еще до захода солнца.

Каним привязал свой спальный мешок к тюку весом в сто пятьдесят фунтов, обмазал лицо сырой глиной и сел отдохнуть, пока Ли-Ван нагружала собак. Оло смирился при виде дубинки в ее руке и без сопротивления дал нагрузить себя тюком в сорок с лишним фунтов. Но Бэш был взбешен и не мог удержаться от визга и рычания, пока она привязывала тюк ему на спину. Шерсть его стала дыбом, и клыки обнажились, когда она затянула потуже ремни, и все коварство пса сказалось во взглядах, какие он на нее бросал. Каним засмеялся и сказал:

— Разве я не говорил тебе, что он был когда-то великим воином?

— Эти меха принесут хорошую прибыль, — заметил он, прилаживая ремень и поднимая тюк с земли. — Хорошую прибыль. Белые люди хорошо платят за такое добро, потому что им некогда охотиться и они плохо переносят холод. Мы скоро

будем так пировать, Ли-Ван, как тебе не приходилось пировать во всех прожитых тобой жизнях.

Она невнятно поблагодарила своего господина и наклонилась над тюком, закрепляя на себе ремни.

— В следующем рождении я буду белым человеком, — прибавил он и двинулся вниз по спускающейся в ущелье тропинке.

Собаки пошли следом за ним, а Ли-Ван замыкала шествие. Но мысли ее были далеко на востоке, за ледяными горами, в том маленьком уголке земли, где были прожиты ее детские годы. Она вспомнила, что еще в детстве на нее смотрели как на странного ребенка, словно пораженного каким-то недугом. Она видела сны наяву, и ее бранили и били за ее удивительные видения, пока она со временем их не забыла. Но не до конца. С тех пор как она стала взрослой женщиной, они больше не смущали ее наяву и являлись ей только во сне, в ночных кошмарах, полных неясных и непонятных, но волнующих призраков. Беседа с Канимом взволновала ее, и, спускаясь по крутому склону ущелья, она вспоминала дразнящие тени своих снов.

— Давай отдохнем, — сказал Каним, когда они прошли полпути над рекой.

Он опустил свой тюк на выступ скалы, снял с плеч ремень и сел. Ли-Ван присоединилась к нему, и собаки, тяжело дыша, растянулись на земле рядом с ними. У их ног бурлил ледяной горный поток, но вода была мутная, загрязненная землей.

— Отчего это? — спросила Ли-Ван.

— Это из-за белых людей, которые работают в земле. Послушай! — Он поднял руку, и они услышали звон кирок и заступов и шум человеческих голосов. — Они сходят с ума при виде *золота* и работают безостановочно, чтобы его найти. *Золото?* Оно желтое, и его находят в земле. Оно очень высоко ценится и служит мерой оплаты.

Но блуждающий взгляд Ли-Ван наткнулся на нечто, отвлекшее ее внимание от мужа. Несколькими ярдами ниже, полускрытая зарослями молодого можжевельника, стояла бревенчатая хижина с нависшей глинобитной крышей. Дрожь пробежала по телу Ли-Ван, и все призраки ее сновидений ожили и окружили ее.

— Каним, — прошептала она, замирая от страха. — Каним, что это такое?

— Жилище белого человека, в котором он ест и спит.

Она внимательно оглядела хижину, сразу оце-

нила ее достоинства и снова содрогнулась от странных ощущений.

— Там, должно быть, в мороз очень тепло, — громко сказала она, чувствуя, что ее губы произнесли какие-то необычные слова.

Что-то заставляло ее громко повторить их, но она удержалась, и в следующий миг Каним сказал:

— Это называется *хижина.*

Ее сердце забилось. Эти звуки! То же слово! Она с ужасом оглянулась вокруг. Как могла она знать это странное слово до того, как его услыхала? Как это объяснить? А затем ее внезапно озарило сознание, что ее сны оказались разумными и правдивыми. Эта мысль явилась ей впервые, и она — наполовину с ужасом, наполовину с восторгом — старалась осознать ее.

«*Хижина,* — повторяла она про себя. — *Хижина, хижина!..*» Несвязный поток грез нахлынул на нее, голова закружилась, и сердце стало сильно биться. Призраки, неясные очертания видений и несообразные сопоставления носились в ее памяти, и сознание ее тщетно пыталось остановить их и удержать. Она чувствовала, что в этом вихре воспоминаний лежит ключ к открытию тайны: лишь бы ей удалось схватить его, и все

сразу станет ясным и простым.

О Каним! О Поу-Ва-Каан! О тени и призраки, что это такое?

Она повернулась к Каниму, безмолвная и трепещущая, обуреваемая безумным потоком нахлынувших грез. Ей стало дурно — она начала терять сознание и могла лишь прислушиваться к восхитительным звукам, доносившимся из хижины.

— Гм, *скрипка,* — снизошел до объяснения Каним.

Но она не слыхала его слов, и в экстазе ей казалось, что теперь все станет ясным. «Сейчас! Сейчас!» — думала она. Слезы полились из глаз. Тайна раскрывалась, но она лишалась сознания. Если бы ей только продержаться еще немного! Если бы… Но вокруг нее все завертелось, горы заплясали на фоне неба, и она вскочила на ноги с криком: «Отец! Отец!». Затем солнце померкло, тьма охватила ее, и она ничком повалилась на скалы.

Каним поглядел, не свернуло ли ей шею тяжелым тюком, удовлетворенно проворчал что-то и плеснул на нее водой из ручья. Она медленно приходила в себя, рыдания душили ее.

— Нехорошо, когда солнце печет голову, — за-

метил он.

И она ответила:

— Да, нехорошо. И тюк очень тяжел.

— Мы рано устроимся на ночлег, ты сможешь хорошенько выспаться и набраться сил, — мягко сказал он. — И чем скорее мы двинемся в путь, тем раньше ляжем спать.

Ли-Ван ничего не ответила, покорно встала и, шатаясь, подняла собак. Она механически пошла в ногу с Канимом и, едва решаясь дышать, прошла мимо хижины. В хижине было тихо, хотя дверь была открыта, и дым вился над дымовой трубой, свернутой из листового железа.

За поворотом ручья они наткнулись на человека с белой кожей и голубыми глазами, и перед Ли-Ван на мгновение возник образ того человека на снегу. Но этот образ был словно в тумане, потому что она была очень слаба и утомлена всем пережитым. Но все же она с любопытством поглядела на золотоискателя и вместе с Канимом остановилась, чтобы посмотреть, как он работает. Он промывал песок в большом тазу, наклоняя его и быстро вращая. При одном из поворотов его руки они увидели, как золото блеснуло в широкой полосе песка на дне таза.

— Здорово богата эта речка, — обратился к ней

Каним, когда они пошли дальше. — Когда-нибудь и я найду такой ручей и тогда стану важным человеком.

Хижины и люди попадались все чаще, и наконец они подошли к месту, где речка широко разлилась по ущелью. Их глазам представилась жуткая картина разрушения. Земля повсюду была разрыта, словно после битвы титанов. Там, где не были нагромождены кучи песка, зияли глубокие ямы и рвы. Бездны разверзались там, где толстый слой земли был снят, обнажая поверхность скалы. Речке некуда было течь; плотина, преграждавшая ей путь, заставляла свернуть в сторону, и она, вздымая головокружительный фонтан водяных брызг и пены, стекала в искусственные желоба и углубления почвы, где громадные гидравлические колеса снова поднимали воду, давая людям возможность ее использовать. Деревья со склонов гор были срублены, и на обнаженных склонах виднелись следы спуска строевого материала и ямы на местах будущих скважин. Повсюду, словно чудовищная порода муравьев, расползлась армия людей — запыленных, грязных и растрепанных. Они вползали в вырытые ими норы и выползали, пробираясь, как гигантские клопы, вдоль жело-

бов, работали у нагроможденных ими куч песка, непрерывно просеивая их и перемывая. Люди были повсюду, насколько хватал глаз — вплоть до вершин окружающих гор, и всюду они рыли, копали и исследовали поверхность земли.

Ли-Ван была потрясена ужасной сутолокой.

— Действительно, эти люди безумны, — сказала она Каниму.

— Неудивительно. Золото, которое они здесь находят, — великая вещь, — отвечал он. — Самая великая вещь на свете.

Часами они шли вдоль этого хаоса, созданного человеческой алчностью. Каним внимательно всматривался во все, а Ли-Ван ослабела и ни на что больше не обращала внимания. Она знала, что была на пороге к раскрытию тайны, и знала, что и сейчас тайна может в любой момент открыться, но пережитое нервное напряжение утомило ее, и она пассивно ожидала надвигающихся неведомых событий. Все новые и новые впечатления вбирала она в себя, и каждое из них давало новый толчок ее измученному воображению. Где-то внутри ее звучали отклики на все впечатления извне, вспоминалось давно забытое; она сознавала, что в ее жизни наступил перелом, душа ее была в смятении, но прими-

тивный ум не в силах был справиться с потоком нахлынувших впечатлений и чувств, разобраться в них и понять. Поэтому она устало плелась за своим господином, терпеливо ожидая, что где-то и как-то случится то, что случиться должно.

Подчиняясь человеку, речка наконец вернулась в свое первоначальное русло, загрязненная от той работы, какую проделали ее воды. Теперь она лениво извивалась среди обширных лугов и лесов расширявшейся долины. Здесь добыча прекращалась, и люди не задерживались — главная приманка этих мест оставалась позади. Здесь-то Ли-Ван, остановившись, чтобы хорошенько проучить палкой Оло, услыхала серебристый смех женщины.

Перед хижиной сидела женщина с очаровательной, розовой, как у ребенка, кожей. Она весело смеялась, слушая другую женщину, стоявшую в дверях, и по временам встряхивала тяжелыми кудрями мокрых черных волос, просушивая их в теплых, ласковых лучах солнца.

На мгновение Ли-Ван остолбенела. Затем ее сознание озарилось ослепительным светом. Женщина, сидящая перед хижиной, исчезла, исчезли и хижина, и высокий ельник, и зубчатая линия горизонта — и Ли-Ван увидела другую женщину,

озаренную лучами другого солнца. Та женщина тоже расчесывала тяжелые черные кудри и пела при этом песню. И Ли-Ван услыхала слова той песни, поняла их и снова стала ребенком. На нее нахлынуло видение, воплотившее все беспокойные грезы ее детства, и все стало ясным, простым и реальным. Картины прошлого мелькнули перед ней — странные события, деревья, цветы и люди; она ясно видела их и узнала.

— Когда ты была маленькой птичкой… — сказал Каним, впиваясь в нее глазами.

— Когда я была маленькой птичкой, — прошептала она так слабо и тихо, что он едва расслышал. Она знала, что солгала, и, склонив голову к ремню, двинулась дальше.

Странно было то, что случилось: все окружающее стало нереальным. Последний переход и приготовления к ночлегу на берегу реки казались ей эпизодом ночного кошмара. Она как во сне сварила мясо, накормила собак и развязала тюки, и лишь когда Каним принялся расписывать свое следующее путешествие, пришла в себя.

— Клондайк впадает в Юкон, — говорил он. — Это большая река, больше чем Маккензи — ты видала Маккензи. Вот так мы и дойдем — ты и я — до Форта Юкона. В зимнее время, на собаках

это займет двадцать дней. Затем мы спустимся по Юкону на запад — сто дней или двести — не знаю. Это очень далеко. И там мы выйдем к морю. Ты ничего не знаешь о море — так вот послушай меня. Что остров по отношению к озеру — то земля по отношению к морю. Все реки впадают в него, и оно не имеет границ. Я видел его в Гудзоновом заливе, теперь мне хочется увидеть его на Аляске. А там мы поедем в большой лодке по морю или пойдем на юг вдоль берега — много-много дней. А после я не знаю, куда мы пойдем, знаю лишь, что я — Каним-Каноэ и что мне суждено странствовать и путешествовать по лицу земли!

Она сидела, прислушиваясь к его словам, и страх овладел ее сердцем, когда она задумалась над грядущими странствованиями по безграничным пустыням мира.

— Это трудный путь, — вот и все, что она сказала, покорно опустив голову на колени.

Затем ее осенила блестящая мысль, и ее бросило в жар от восторга. Она спустилась к реке и смыла с лица засохшую глину. Когда рябь на воде улеглась, она долго вглядывалась в свое отражение: солнце и непогода сделали свое дело, и ее загорелая, огрубевшая кожа не была так нежна, как кожа ребенка. Но та же великолепная

мысль не покидала ее, и румянец все так же пылал на ее щеках, когда она забралась в спальный мешок и улеглась рядом с мужем. Она лежала с открытыми глазами, глядя в бездонную синеву неба и ожидая, чтобы Каним уснул первым, крепким сном. Когда это, наконец, случилось, она медленно и осторожно выбралась из мешка, подоткнула под Канима шкуру и встала. Не успела она сделать и шага, как Бэш свирепо зарычал. Она шепотом успокоила его и поглядела на Канима. Тот спокойно храпел. Тогда она повернулась и неслышными быстрыми шагами пошла обратно по пройденному вечером пути.

Миссис Эвелина Ван Уик готовилась лечь в постель. Светские обязанности надоели ей, и, пользуясь богатством и свободой вдовьего положения, она поехала на Север и поселилась в уютной хижине на краю приисков. Здесь с помощью своей приятельницы и компаньонки Миртль Гиддингс она играла в жизнь, близкую к земле, и с эстетическим увлечением разыгрывала первобытную женщину.

Она пыталась отбросить полученную ею по наследству культуру и светскость и найти утерянную ее предками близость к земле. Она старалась восстановить образ мышления, казавшийся ей

похожим на образ мышления человека каменного века, и как раз в этот момент, причесывая на ночь волосы, мысленно переживала сцены ухаживания в палеолитический период. Обстановкой являлись: пещеры, разгрызанные кости, свирепые хищники, мамонты — и битвы, в которых пускали в ход грубые ножи из кремня; эти мечтания доставляли ей большое наслаждение. И когда Эвелина Ван Уик (в мечтах) бежала через глухие лесные чащи, спасаясь от пылкости своего низколобого обожателя, одетого в звериные шкуры, дверь в хижину открылась без предварительного учтивого стука, и в комнату вошла дикая, одетая в звериные шкуры женщина.

— Господи!

Одним прыжком, который мог сделать честь любой пещерной женщине, мисс Гиддингс очутилась в безопасности, позади стола. Но миссис Ван Уик осталась на том же месте. Она заметила, что незваная посетительница сама находится в состоянии сильнейшего возбуждения, и бросила быстрый взгляд назад, чтобы убедиться, что путь к кровати свободен — там под подушкой лежал кольт крупного калибра.

— Привет, о Женщина-с-Прекрасными-Волосами! — сказала Ли-Ван.

Но она сказала это на своем родном языке, — на языке, понятном лишь в далекой глуши, и женщины ее не поняли.

— Идти за помощью? — дрожащим голосом спросила мисс Гиддингс.

— Я думаю, что это жалкое создание совершенно безобидно, — отвечала м-с Ван Уик. — Поглядите лучше на ее одежду, изодранную и изношенную. Это редкостный экземпляр. Я куплю ее для моей коллекции. Достань мою сумочку, Миртль, и приготовь весы.

Ли-Ван следила за движением ее губ, но слов она разобрать не могла и, остановившись в недоумении, сообразила, что им не суждено понять друг друга.

В отчаянии от своей немоты она широко развела руками и воскликнула:

— О Женщина, ты моя сестра!

Слезы струились по ее щекам, все ее сердце рвалось к ним, и дрожание голоса выдавало скорбь — ту скорбь, какую она не могла выразить словами. Несмотря на это, мисс Гиддингс трепетала от страха, и даже м-с Ван Уик стало не по себе.

— Я буду жить, как вы живете. Твой обычай будет моим обычаем, и у нас будет один обычай. Мой супруг — Каним-Каноэ. Он большой и

странный, и я боюсь его. Его путь идет по всему миру и не имеет конца, а я устала. Моя мать была подобна вам, и ее волосы были подобны твоим, и глаза также. И жизнь была ко мне ласкова, и солнце меня грело.

Она смиренно преклонила колени и склонила голову у ног м-с Ван Уик. Но м-с Ван Уик отпрянула, напуганная ее страстностью.

Ли-Ван встала, задыхаясь от желания сказать им все. Ее немые уста не могли передать овладевшую ею мысль об общности рода.

— Торговля? Ты торгуешь? — спросила м-с Ван Уик, переходя, как все цивилизованные народы, к ломаному языку.

Она дотронулась до изорванной одежды Ли-Ван, указывая на выбранный ею предмет, и насыпала золотой песок на чашечку весов. Соблазняя Ли-Ван блеском золота, она играла им и перебирала пальцами блестящий песок. Но Ли-Ван глядела лишь на ее белые, красивые руки и тонкие, суживающиеся к кончикам пальцы с розовыми, похожими на драгоценные камни ногтями. Она положила рядом свою мозолистую руку, грубую от работы, и заплакала.

М-с Ван Уик ничего не поняла.

— Золото, — поощряла она ее. — Хорошее золо-

то! Торгуешь? Менять, хочешь менять? — И она снова положила руку на одежду Ли-Ван.

— Сколько? Продаешь? Сколько? — настаивала она, проводя рукой против шерсти, чтобы убедиться в том, что швы прошиты сухожилиями.

Но Ли-Ван была глуха к словам этой женщины. Неудача ее предприятия повергла ее в отчаяние. Как ей доказать этим женщинам свое родство с ними? Она знала, что они принадлежат к одному племени, что они сестры по крови перед лицом всех мужчин и женщин, принадлежащих мужчинам. Ее глаза дико блуждали по комнате, останавливаясь на мягких складках драпировки, женских платьях, овальном зеркале и красивых туалетных принадлежностях под ним. Все эти вещи преследовали ее, потому что она видела подобные им вещи раньше; когда она глядела на них, ее губы невольно складывались для звуков, какие ее язык не решался произнести. В ее мозгу мелькнула новая мысль, и она овладела собой. Ей необходимо оставаться спокойной. Ей следует держать себя в руках, теперь уже не должно быть никаких недоразумений, иначе… и она затряслась от потока подавленных слез и вновь овладела собой.

Она положила руку на стол.

— *Стол,* — объявила она ясно и раздельно. И повторила: — *Стол.*

Она поглядела на м-с Ван Уик; та утвердительно кивнула. Ли-Ван торжествовала, но всей силою воли сдержала свои чувства.

— *Печь,* — продолжала она. — *Печь.*

При каждом кивке м-с Ван Уик возбуждение Ли-Ван росло. То запинаясь и останавливаясь, то с лихорадочной поспешностью, смотря по тому — медленно или быстро приходили ей на память забытые слова, она обходила комнату, называя предмет за предметом. Остановившись наконец, она выпрямилась и, закинув голову, торжествовала, выжидая.

— К-о-о-шка! — рассмеялась м-с Ван Уик, растягивая слова на манер руководительницы детского сада. — Я… вижу… ко…шка… поймала… мышь.

Ли-Ван серьезно кивнула. Наконец-то женщины начинали ее понимать. При этой мысли кровь бросилась ей в лицо, румянец пробивался под темным загаром ее щек, она заулыбалась и еще решительнее кивнула.

М-с Ван Уик повернулась к своей компаньонке.

— Я думаю, что она немного обучалась в какой-нибудь Миссии и пришла к нам похвастать

своими знаниями.

— Да, конечно, — посмеивалась мисс Гиддингс. — Вот дурочка! Из-за ее тщеславия мы не можем лечь спать.

— Это неважно, я хочу получить ее куртку. Если она старинная — работа очень хороша, это прекрасный образец. — Она повернулась к посетительнице. — Менять хочешь, менять? Ты! Хочешь менять? Сколько? А? Эй, говори, сколько?

— Может быть, она предпочла бы платье или что-нибудь из одежды? — подала ей новую мысль мисс Гиддингс.

М-с Ван Уик подошла к Ли-Ван и знаками показала, что хочет обменять свой капот на ее куртку. И чтобы ускорить дело, она взяла и положила руку Ли-Ван среди кружев и лент, покрывавших пышную грудь, и провела пальцами Ли-Ван по ткани. Драгоценная бабочка, служившая застежкой, отстегнулась, и капот слегка распахнулся, обнажая упругую белую грудь, не знавшую прикосновения детских губок.

М-с Ван Уик спокойно привела все в порядок, но Ли-Ван громко вскрикнула и начала срывать с себя кожаную куртку, пока не обнажилась ее грудь, такая же упругая и белая, как грудь Эвели-

ны Ван Уик. Бормоча какие-то невнятные слова и дико жестикулируя, она пыталась установить свое родство с ними.

— Полукровка, — заметила м-с Ван Уик. — Я так и думала, судя по ее волосам.

Мисс Гиддингс брезгливо махнула рукой.

— Гордится белой кожей своего отца. Какая гадость! Дай ей что-нибудь, Эвелина, и выпроводи ее.

Но другая женщина вздохнула.

— Несчастное создание! Я бы хотела ей чем-нибудь помочь.

Под чьими-то тяжелыми шагами захрустел снаружи песок. Затем дверь широко распахнулась, и в хижину вошел Каним. Мисс Гиддингс вскрикнула, словно застигнутая смертельной опасностью, но м-с Ван Уик встретила его появление спокойно.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Здравствуйте, — вежливо и спокойно отвечал Каним, указывая в то же время на Ли-Ван. — Она — мой жена!

Он направился к ней, но она махнула ему рукой.

— Говори, Каним! Скажи им, что я…

— Дочь Поу-Ва-Каан? Какое им до этого дело? Я

лучше скажу им, что ты плохая жена, способная покинуть ложе своего мужа, когда сон тяжело покоится на его веках.

Он снова направился к ней, но она отпрянула от него и бросилась со страстной мольбой к ногам м-с Ван Уик, стараясь обвить руками ее колени. Но леди отступила и глазами разрешила Каниму взять его жену. Он схватил ее, приподнял с пола и поставил на ноги. Она боролась с ним в безумстве отчаяния, пока он, задыхаясь, не протащил ее до половины комнаты.

— Отпусти меня, Каним, — рыдала она.

Но он сжимал ее руку, пока она не перестала оказывать сопротивление.

— Воспоминания маленькой птички слишком сильны и доставляют много хлопот…

— Я знаю! Я знаю! — прервала она. — Я вижу человека на снегу так ясно, как никогда, и я вижу, как он ползет на руках и коленях. А я — совсем еще маленький ребенок и сижу на его спине. И это было до Поу-Ва-Каан и до того, как я стала жить в далекой глуши.

— Да, ты знаешь, — отвечал он, толкая ее к двери. — Но ты спустишься со мною вдоль Юкона и позабудешь все.

— Никогда я не забуду! Я буду помнить, пока

у меня будет белая кожа! — Она изо всех сил уцепилась за дверной косяк и кинула последний умоляющий взгляд на м-с Эвелину Ван Уик.

— Тогда я заставлю тебя забыть, — я, Каним-Каноэ!

С этими словами он оторвал ее пальцы от косяка и вышел вместе с ней на тропинку.

Лига стариков

В бараках разбиралось дело, которое должно было преступнику стоить жизни. Преступником был старик-туземец с берегов реки Белая Рыба, впадающей в Юкон ниже озера Ле-Бардж. Дело это взволновало не только весь Даусон, но и всех живущих по течению Юкона — на добрую тысячу миль вверх и вниз по реке. Разбойники и пираты — англосаксы — давали побежденным народам свой закон, и часто закон этот был суров. Но в деле Имбера всякий закон казался слишком мягким и слабым. Считаясь с принципом наказания, соответствующего совершенному преступлению, нельзя было подобрать ничего равносильного преступлениям этого человека. Наказание было предопределено заранее, в этом не было ни малейшего сомнения; но хотя по закону ему полагалась смертная казнь, жизнь у него была одна, а лишил он жизни многих.

И в самом деле, руки его были обагрены кровью стольких жертв, что не было возможности сосчитать их. Сидя у дороги, покуривая трубку или отдыхая у печки, люди занимались приблизительным подсчетом жертв. Все эти несчастные

были белыми людьми и перебиты были поодиночке, по двое или небольшими группами. Эти убийства были так бесцельны и бессмысленны, что долгое время оставались загадкой для конной полиции и во времена капитанов, и позже, когда речки стали приносить золото и прибывший губернатор заставил страну платить за процветание.

Но еще более загадочно появление Имбера в Даусоне, его желание отдаться в руки властей. Поздней весной, когда Юкон рычал и рвался из-под ледяной коры, старый индеец с трудом взобрался на берег с дороги, проходившей по льду, и остановился в замешательстве на Главной Улице. Люди, заметившие его появление, утверждали, что он был очень слаб и нетвердо держался на ногах. Он доковылял до кучи бревен, сел и просидел весь день, глядя прямо перед собой на неиссякаемый поток проходящих мимо него белых людей. Немало голов повернулось, чтобы встретиться с его взглядом, и немало замечаний было пущено по адресу старого сиваша, казавшегося таким странным. Множество людей вспоминали потом, что их поразила необыкновенная фигура индейца, и гордились всю жизнь своим чутьем в распознавании необычайного.

Все же героем происшествия был Дикенсен — маленький Дикенсен. Он приехал в эти края с великими мечтами и полным карманом денег, но с исчезновением денег исчезли и мечты, и, чтобы заработать на обратный проезд в Соединенные Штаты, он поступил клерком в маклерскую контору «Холбрук и Мэзон». Куча бревен, на которой сидел Имбер, находилась против окон конторы «Холбрук и Мэзон». Дикенсен поглядел на индейца из окна перед тем, как пошел завтракать; вернувшись после завтрака, он снова посмотрел в окно, а старый сиваш все еще сидел на бревнах.

Дикенсен продолжал выглядывать в окошко — и, как все другие, всю жизнь потом гордился своей проницательностью. Он был романтик, и ему представилось, что неподвижный старый язычник является олицетворением расы сивашей, спокойно взирающим на вторжение саксонцев. Часы шли, но Имбер не переменил позы и не шевельнул ни одним мускулом, и Дикенсен вспомнил человека, сидевшего однажды в санях на кишевшей народом Главной Улице. Все думали, что человек этот отдыхает, но позже, когда до него дотронулись, оказалось, что он закоченел и застыл — замерз насмерть в деловой сутолоке города. Чтобы разогнуть его и положить

в гроб, пришлось труп оттаивать на огне. Дикенсен содрогнулся при этом воспоминании.

Позже Дикенсен вышел на тротуар выкурить сигару и освежиться, а скоро показалась и Эмилия Трэвис. Эмилия Трэвис была очень красива и изнеженна. И в Лондоне, и в Клондайке она одевалась, как полагается дочери горного инженера-миллионера.

Маленький Дикенсен положил сигару на подоконник и приподнял шляпу.

Они болтали минут десять о разных пустяках, как вдруг Эмилия Трэвис, взглянув поверх плеча Дикенсена, удивленно вскрикнула. Дикенсен повернулся, чтобы посмотреть, что ее напугало, и сам тоже испугался. Имбер перешел через улицу и стоял за ним — изможденный, голодный призрак, — не спуская глаз с молодой девушки.

— Что вам надо? — смело спросил дрожащим голосом маленький Дикенсен.

Имбер что-то пробормотал и направился к Эмилии Трэвис. Он внимательно оглядел ее с головы до ног. Особенно интересовали его ее шелковистые русые волосы и румянец, мягко разливавшийся по щекам, покрытым нежным пушком, точно крылья бабочки. Он обошел вокруг нее, рассматривая ее так, словно перед ним

была лошадь либо лодка.

Когда он осматривал ее со всех сторон, случилось, что ее розовое ушко очутилось между его взглядом и заходящим солнцем, и он остановился, созерцая его прозрачность. Затем он снова обратился к ее лицу и долго и напряженно всматривался в ее голубые глаза. Он проворчал что-то и положил свою руку между ее плечом и локтем. Другой рукой он поднял ее предплечье и согнул руку. На его лице отразилось презрение и удивление, и он отбросил ее руку с пренебрежительным ворчанием. Затем он пробормотал несколько гортанных слов, повернулся к ней спиной и обратился к Дикенсену.

Дикенсен не понимал его, и Эмилия Трэвис рассмеялась. Имбер, нахмурившись, обращался то к одному, то к другому, но оба они качали головой. Он был готов отойти от них, когда она воскликнула:

— О Джимми! Идите сюда!

Джимми шел по другой стороне улицы. Это был крупный, неуклюжий индеец, одетый, как одеваются белые, и в мягкой широкополой шляпе. Он медленно, запинаясь начал беседовать с Имбером. Джимми был из племени Ситка и очень поверхностно знал наречия других племен.

— Она человек из племени Белый Рыба, — сказал он Эмилии Трэвис. — Я понимала его язык нехорошо. Она хочет смотреть начальника белый человека.

— Губернатора, — подсказал Дикенсен.

Джимми поговорил еще со старым индейцем, и на лице его отразилось недоумение.

— Я думала, она хочет начальник Александер, — пояснил он. — Она говорит, она убила белый мужчин, белый женщин, белый мальчик, убил много белый человека. Она хочет умереть.

— Помешанный, по всей вероятности, — сказал Дикенсен.

— Что вы говорит? — спросил Джимми.

Дикенсен показал пальцем на голову и затем повертел им в воздухе.

— Может, и так, может, и так, — сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, продолжавшему допытываться, где начальник белых людей.

Конный полисмен (в Клондайке он служил в пешей полиции) подошел к говорившим и услыхал желание Имбера. Это был сильный юноша с широкими плечами, мощной грудью, стройными, крепкими ногами, и как высок Имбер ни был, полисмен на полголовы был выше. Его спокойные серые глаза холодно взирали на мир,

и он держал себя со спокойной уверенностью в своей силе, которая передается по наследству и вырабатывается веками. Его великолепная мужественность подчеркивалась ребячливостью — он был еще подростком — и его нежные щеки вспыхивали румянцем так же легко, как щеки молодой девушки.

Имбера сразу потянуло к нему. Его глаза засверкали при виде рубца от сабельного удара на щеке юноши. Высохшей рукой он провел по его бедру, ласково касаясь вздувшихся мышц, затем ударил по мощной груди, нажимал и надавливал на тугие мускулы, покрывавшие его плечи. К маленькой группе подошли любопытные прохожие: грубые шахтеры, горцы и пограничники — сыны длинноногой и широкоплечей расы. Имбер переводил взгляды с одного на другого, затем громко сказал что-то на языке племени Белая Рыба.

— Что он сказал? — спросил Дикенсен.

— Она сказал: «Все они как одна, как эта полисмен», — перевел Джимми.

Маленький Дикенсен был мал ростом, и ему стало неприятно, что он задал этот вопрос в присутствии мисс Трэвис.

Полисмен пожалел его и вмешался в разговор.

— Кажется, он может сообщить что-то стоящее. Я сведу его к капитану для допроса. Скажите ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми разразился потоком гортанных восклицаний. Имбер пробормотал что-то и, казалось, был вполне удовлетворен.

— Спросите его, Джимми, что он бормотал и что он подумал, когда поднимал мою руку?

Это спросила Эмилия Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ.

— Она говорит, вы не испугался, — сказал Джимми.

Эмилия Трэвис была довольна.

— Она говорит, вы не сильный, вы мягкий, как маленький дитя. Она сломает вас, две рука, в маленький кусочки. Она думает, очень смешно, очень удивительно, как вы может быть мать большой, сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмилия Трэвис не опустила глаз и не смутилась, но щеки ее зарделись. Маленький Дикенсен покраснел и был очень смущен. Лицо полисмена пылало.

— Ступай со мной, эй, ты, — грубо сказал он, протискиваясь через толпу.

Таким-то образом Имбер нашел дорогу в бараки, куда он принес полную добровольную

исповедь и откуда он уже больше не вышел.

Имбер казался очень утомленным. На его лице отражалась усталость безнадежности и прожитых лет. Его плечи поникли, и в глазах не было блеска. Его волосы могли бы быть снежно-белыми, но солнце и непогода выжгли их, и они висели безжизненными, бесцветными прядями. Окружающее нисколько его не интересовало. Комната, где происходил суд, была битком набита золотоискателями и охотниками, и в их приглушенных голосах слышалась зловещая нота, звучавшая, как рокот моря.

Он сидел у окна и время от времени безучастно смотрел на унылую улицу. Небо было затянуто облаками, моросил мелкий дождь. Время весеннего разлива. Лед сошел, Юкон выступил из берегов и залил город. По Главной Улице безостановочно двигались в лодках и каноэ люди, не знавшие никогда покоя. Он видел, что лодки часто сворачивали с улицы на залитую водой площадь перед бараками. Иногда лодки пропадали из виду под его окном, и он слышал, как они ударялись о бревенчатые стены здания, и пассажиры влезали в дом через окно. После этого слышался плеск воды, когда люди пробирались по комнатам нижнего этажа и поднимались по лестнице на верхний.

Затем они появлялись в дверях, с непокрытой головой и в мокрых морских сапогах, и присоединялись к ожидавшей толпе.

Они разглядывали его, и в их глазах читалось мрачное удовлетворение: казнь будет назначена. А Имбер глядел на них и размышлял об их обычаях и вечно бодрствующем Законе. Закон был непреложен и в дурные и в хорошие времена, и в голод и в наводнение, и несмотря на печали, горести и смерть, должен был, так ему казалось, неусыпно карать до конца мира.

Сидевший у стола человек резко постучал, и все разговоры затихли. Имбер поглядел на него. Казалось, он был здесь главным лицом, но Имбер догадался, что человек с высоким лбом, сидящий за столом позади того, — это самый старший из всех здесь присутствующих и начальник человека, подавшего знак к молчанию. Другой человек, сидевший за тем же столом, встал и начал громко читать какие-то бумаги. Приступая к новому листу, он прочищал горло, а подходя к концу листа, увлажнял кончики пальцев. Имбер не понимал его слов, но другие понимали, и он видел, что они очень сердились. Иногда они приходили в ярость, и один из них осыпал его резкой односложной бранью, пока человек у стола не призвал того

стуком к порядку.

Человек читал бесконечно долго. Его однообразный, певучий говор убаюкал Имбера, и когда чтение кончилось, Имбер дремал. Кто-то заговорил с ним на его родном наречии, он проснулся и, не удивляясь, посмотрел в лицо молодого парня, своего племянника, который много лет назад ушел, чтобы жить среди белых людей.

— Ты меня не помнишь, — сказал тот в виде приветствия.

— Нет, помню, — отвечал Имбер. — Ты — Хаукэн, что ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старой женщиной, — сказал Хаукэн.

Но Имбер не слыхал его слов, и Хаукэн, положив ему руку на плечо, снова разбудил его.

— Я скажу тебе, о чем говорил тот человек, — это рассказ обо всех преступлениях, что ты совершил. Ты, о глупец, рассказал о них капитану Александеру. Слушай хорошенько и скажи, правильно ли все записано или неправильно. Таков приказ.

Хаукэн попал в руки миссионеров, и они выучили его читать и писать. Он держал в руках те листы, которые только что прочитали вслух. Они были заполнены клерком, когда Имбер, при посредничестве Джимми, в первый раз сознался

капитану Александеру. Хаукэн начал читать. Имбер слушал его некоторое время, но скоро на лице его отразилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукэн. Теперь они исходят из твоих уст, а твои уши не слыхали их.

Хаукэн расплылся от самодовольства. Он пригладил свои волосы, разделенные посредине пробором.

— Нет, эти слова на бумаге, о Имбер. Мои уши никогда не слыхали их. Глаза мои видят их на бумаге и передают голове, а голова посылает их устам, и они доходят до тебя. Вот как это делается!

— Это так делается? Мои слова на бумаге? — Голос Имбера понизился до шепота, и он со страхом потрогал двумя пальцами бумагу, глядя на покрывавшие ее каракули. — Это великое искусство, Хаукэн, и ты великий волшебник.

— Это пустяки, это пустяки, — небрежно и горделиво отвечал молодой человек и прочел взятое наудачу место из документа:

> «В этом году, до вскрытия реки, пришел старик с хромым мальчиком. Я убил и их, причем старик долго боролся и сильно

кричал».

— Это правда, — прервал, задыхаясь, Имбер. — Он очень кричал и долго не хотел умирать. Но как ты об этом узнал, Хаукэн? Может быть, тебе об этом сказал начальник белых людей? Никого не было при этом, и я рассказывал все ему одному.

Хаукэн нетерпеливо покачал головой.

— Разве я не говорил тебе, глупец, что твои слова здесь, на бумаге!

Имбер уставился на покрытую каракулями поверхность.

— Как охотник глядит на следы на снегу и говорит: «Здесь вчера пробежал заяц, а здесь у молодого ивняка он остановился, прислушался, услышал и испугался; вот он вернулся обратно по собственному следу; а вот он бежал во всю прыть, делая большие скачки; а вот еще скорее и еще большими скачками пустилась за ним вдогонку рысь; здесь, где ее когти глубоко врезались в снег, рысь сделала громадный прыжок; а вот она схватила зайца и покатилась с ним в снег; а дальше виднеются следы одной рыси, а следов зайца нет»... Так вот, как охотник, увидев следы на снегу, говорит, как шла охота, так и ты, глядя на бумагу, говоришь, как, когда и где происходи-

ли убийства, совершенные старым Имбером.

— Да, это так, — согласился Хаукэн. — А теперь слушай и держи свой бабий язык за зубами, пока тебя не спросят.

Затем Хаукэн довольно долго читал ему его исповедь, а Имбер молчаливо раздумывал. Когда Хаукэн кончил, он сказал:

— Это мои слова, это все правда, но я состарился, Хаукэн, и забыл многое, что пришло мне на память позже; начальнику следует об этом знать. Сперва пришел к нам человек из-за Ледяных Гор. Он принес с собою искусные железные западни для ловли наших бобров. Я убил его. А затем, очень давно, явились три человека искать в нашей реке золото. Их я тоже убил, а трупы отдал на съедение росомахам. А у Пяти Пальцев я убил человека, у которого был плот и много мяса.

Когда Имбер умолкал, чтобы припомнить, Хаукэн переводил, а клерк записывал его слова. Присутствовавшие тупо вслушивались в эти неприкрашенные трагедии, пока Имбер не рассказал о рыжеволосом человеке с косыми глазами, которого он застрелил с очень далекого расстояния.

— Черт побери! — воскликнул один из сидящих в первом ряду зрителей. Восклицание его

звучало гневом и болью. Волосы у него были рыжие. — Черт побери, — повторил он. — Это мой брат Билль. — И в течение всего дня в зале время от времени слышалось его печальное: — Черт побери! — Товарищи не останавливали его, и человек за столом не призывал его к порядку.

Голова Имбера снова опустилась, и глаза потускнели, словно затянулись пеленой, скрывшей их от всего мира. Он глубоко задумался, как задумывается только старость над тщетой юношеских стремлений.

Позже Хаукэн заставил его очнуться.

— Вставай, о Имбер! Тебе приказано рассказать, почему ты совершил все эти преступления и убил этих людей, а в конце концов прибыл сюда в поисках правосудия.

Имбер с трудом поднялся на ноги и зашатался. Он заговорил тихим, рокочущим голосом, но Хаукэн перебил его.

— Этот человек — сумасшедший, — обратился он по-английски к человеку с высоким лбом. — Он болтает чепуху, его речь подобна лепету младенца.

— Мы хотим услышать его речь, подобную лепету младенца, — сказал человек с высоким лбом. — И мы хотим ее услышать слово за словом,

как она выходит из его уст. Поняли?

Хаукэн понял, и глаза Имбера сверкнули при виде перепалки между сыном его сестры и важным должностным лицом. А затем началась исповедь — эпическая поэма темнокожего патриота, которого следовало бы отлить из бронзы в назидание грядущим поколениям. Толпа затихла, а судья склонил голову на руку, размышляя о себе и о своей расе. Слышался лишь глубокий голос Имбера, сменяющийся резкими звуками голоса переводчика, и время от времени, подобно колоколу, раздавалось недоуменное и задумчивое «черт побери» рыжего человека.

— Я — Имбер из племени Белая Рыба… — начал переводить Хаукэн. Наука миссионеров и привнесенная цивилизация исчезли, и врожденная дикость его племени заговорила в нем, когда он приступил к передаче вольного ритма повести старого Имбера. — Моим отцом был Оутсбаок, сильный воин. Страна была озарена солнцем и благополучием в годы моего детства. Народ не страдал от отсутствия странных, чуждых вещей, не прислушивался к новым голосам; обычаи его отцов были его обычаями. Очи юношей с вожделением взирали на женщин. Младенцы лежали у груди молодых женщин, женщины

рожали детей, и племя увеличивалось. Мужчины были мужчинами в те дни. В мире и довольстве, в войне и голоде — они были мужчинами.

В те времена в реках водилось больше рыбы и в лесах больше дичи, чем теперь. Наши собаки были подобны волкам, покрытым теплым мехом, и не боялись ни бури, ни мороза. Подобно нашим собакам, и мы не боялись ни бури, ни мороза. А когда в нашу страну приходили индейцы из племени Пелли, мы убивали их и умирали, сражаясь с ними. Ибо мы были мужчинами, и отцы наши и отцы отцов боролись с племенем Пелли и установили границы страны.

Я сказал, наши собаки были сильны и выносливы, и мы были сильны и выносливы, как они. И вот однажды к нам впервые пришел белый человек. Он с трудом, на четвереньках тащился по снегу. Кожа его была туго натянута, а кости торчали. Никогда не бывало такого человека, подумали мы и размышляли, к какому он принадлежит племени и из какой он страны. Он был слаб, как малое дитя, мы дали ему место у очага и теплые меха для постели и кормили его, как кормят малых детей.

И с ним была собака, раза в три больше наших собак, она тоже очень ослабла. Шерсть на ней

была короткая и не теплая, а хвост замерз, и кончик хвоста отвалился. И эту странную собаку мы накормили и дали ей место у очага и отбили ее от наших собак — иначе бы ее разорвали. И мясо оленя, и высушенная на солнца лососина пошли на пользу человеку и собаке: они оправились, потолстели и никого не боялись. Человек стал непочтителен и смеялся над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А собака дралась с нашими собаками и, несмотря на свою короткую шерсть и изнеженность, загрызла трех из них в один день.

Когда мы спросили человека о его племени, он сказал:

— У меня много братьев, — и рассмеялся нехорошим смехом. А когда он вполне оправился, то ушел, и с ним ушла дочь вождя — Нода. Вскоре после этого одна из наших сук ощенилась. У нас никогда не бывало такой породы собак — большеголовые, большеротые, короткошерстые и беспомощные. Я хорошо помню отца моего, Оутсбаока, сильного воина. Его лицо почернело от гнева при виде такой беспомощности, и он взял камень — вот так и так — и беспомощности не стало. А два лета спустя явилась к нам Нода с маленьким мальчиком под мышкой.

Это было началом. Пришел второй белый человек с короткошерстыми собаками, которых он, уходя, оставил нам. А с собой он взял шесть наших лучших собак; в обмен за них он дал брату моей матери, Коо-Со-Ти, удивительный пистолет, стрелявший шесть раз подряд. И Коо-Со-Ти очень гордился пистолетом и смеялся над нашим луком и стрелами. «Бабьи игрушки» называл он их и пошел с пистолетом на медведя. Теперь мы знаем, что нельзя ходить на медведя с пистолетом, но кто мог подумать? И как мог об этом знать Коо-Со-Ти? Итак, он смело пошел на медведя и выстрелил шесть раз подряд; медведь только зарычал и вскочил ему на грудь, переломав ему кости, словно яичную скорлупу, и мозги Коо-Со-Та вытекли на землю, как мед из улья. Он был хорошим охотником, а теперь некому было доставлять мясо его жене и детям. И нам было очень больно, и мы сказали:

— То, что хорошо для белых людей, для нас нехорошо. — И это так. Белых людей много, и они толсты, но их обычай заставляет нас вымирать и худеть.

Появился третий белый человек с большим запасом всевозможной пищи и удивительных вещей. И на них он выменял двадцать наших

лучших собак. А подарками и обещаниями он заманил с собой десять молодых охотников в далекий путь, в неведомые места. Говорят, что они погибли в снегах Ледяных Гор, где никогда не ступала человеческая нога, или в Горах Молчания, находящихся на краю земли. И племя Белая Рыба никогда больше не видело ни тех собак, ни тех молодых охотников.

С годами приходило много белых людей; подарками они соблазняли молодых мужчин, зазывая следовать за собою. Иногда те возвращались и удивляли рассказами об опасностях и работе в тех землях, что были за землей племени Пелли, а иногда не возвращались вовсе. И мы сказали:

— Если они ничего не боятся, эти белые люди, — значит, у них много людей; но нас, индейцев племени Белая Рыба, мало, и наши юноши не должны больше уходить. — Но юноши все же уходили, и девушки тоже, и мы очень разгневались.

Правда, мы питались мукой, свининой и пили чай, что доставляло нам большое удовольствие; но когда мы не могли достать чаю, нам было очень плохо, и мы становились скупыми на слова и быстро приходили в ярость. Так мы научились стремиться к вещам, которые белые люди привозили нам для обмена. Обмен! Обмен! Все время

обмен! Одну зиму мы отдали наше мясо за часы, которые не хотели показывать время, пилы, которые быстро иступились, и ничего не стоящие пистолеты без патронов. А затем наступил голод, у нас не было мяса, и сорок человек умерли от голода до наступления весны.

— Мы теперь ослабели, — говорили мы, — и племя Пелли может напасть на нас и нарушить границы. — Но то, что произошло с нами, случилось и с пеллийцами, и они были слишком слабы, чтобы выступить против нас.

Мой отец, Оутсбаок, сильный воин, был уже стар и очень мудр, и он заговорил с вождем:

— Посмотри, наши собаки ни на что не годны. Их шерсть не греет, они потеряли силу, не выдерживают мороза и околевают в упряжке. Пойдем и убьем их, оставим только собак волчьей породы; ночью мы их отвяжем, чтобы они могли убежать в лес и случиться с дикими волками. Тогда у нас снова будут сильные собаки с теплой шкурой.

И слово его было услышано, и мы, племя Белая Рыба, прославились нашими собаками, лучшими во всей стране. Но мы прославились силой собак, а не силой наших воинов. Лучшие из юношей и девушек уходили с белыми людьми и пускались странствовать по тропам и рекам в далекие места.

И молодые девушки возвращались постаревшими и сломленными, как Нода, или совсем не возвращались. А юноши возвращались к нашим очагам на время. Они стали дерзкими и говорили дурные слова, пили дурные напитки и играли дни и ночи в карты; сердца их были неспокойны, и когда их звали за собой белые люди, они снова уходили в неведомые страны. Они не знали почтительности и уважения, издевались над старинными обычаями и смеялись в лицо вождю и шаманам.

Я сказал, что наше племя ослабело. Мы продавали наши теплые шкуры и меха за табак, виски и тонкие бумажные ткани, в которых мы мерзли зимой. На нас напал кашель, и мужчины, и женщины кашляли и обливались по ночам потом, а охотники, выходя на охоту, выплевывали в снег кровь. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и человек умирал. И женщины рожали мало детей, а те, что родились, были слабы и болезненны. Но мы получили от белых людей и другие болезни — мы таких прежде и не знали и не могли понять их. Оспа, корь — так, я слышал, назывались эти болезни, и мы умирали от них, как умирают в тихих затонах лососи после метания икры, когда их жизнь больше не нужна

следующим поколениям.

И вот в этом-то и заключалось самое удивительное — белые люди приходили к нам подобно дыханию смерти: все их пути вели к смерти, дыхание их ноздрей было смертельно, а сами они не умирали. Они принесли с собою виски, табак и привели собак с короткой шерстью; они принесли болезни, оспу, кашель и кровохарканье; у них белая кожа, и они не переносят бурь и морозов; у них имеются ни к чему не пригодные пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И все же, несмотря на все болезни, они толстеют, преуспевают и накладывают тяжелую лапу на весь мир и подчиняют себе все народы. Их женщины — матери мужчин — нежны, как маленькие дети, хрупки, и все же ничто не может их сломить. И вот изнеженность, болезненность и слабость порождают силу, власть и почет. Они либо дьяволы, либо боги — не знаю. Что я знаю — я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю только то, что не могу понять этих белых людей, бойцов и странников по лицу земли.

Я сказал, дичи в лесу становилось все меньше и меньше. Это верно, что ружье белого человека превосходно стреляет и убивает на большом расстоянии, но какую пользу может принести ружье,

когда нечего убивать? Когда я был мальчиком, в стране Белая Рыба все горы кишели лосями, а зимой прибегали бесчисленные стада северных оленей. А теперь охотник может бродить в течение десяти дней, и ни один лось не порадует его очей, а северный олень совсем не появляется в наших краях. Немногого стоит ружье, стреляющее на большое расстояние, говорю я, когда нет никакой дичи.

И я, Имбер, размышлял об этом, наблюдая, как племя Белая Рыба, племя Пелли и все другие племена вымирают, как вымирает дичь в лесу. Я долго размышлял. Я толковал с шаманами и мудрыми старыми людьми. Я ушел из селения, чтобы голоса людей не отвлекали меня, и не ел мяса, чтобы мой желудок не мешал мне и не лишил остроты мое зрение и слух. Я долго просидел в лесу без сна, широко раскрыв глаза в ожидании знака и напряженно прислушиваясь, не услышу ли нужного слова. И я пробирался в ночной тьме один на берег реки, где завывал ветер и рыдала вода и где я надеялся получить откровение от призраков умерших шаманов, живущих в ветвях деревьев.

И наконец, как в видении, явился ко мне призрак ненавистной короткошерстой собаки,

и все сразу стало ясным. Благодаря мудрости Оутсбаока, моего отца и сильного воина, кровь наших собак осталась чистой, и поэтому их шерсть была тепла, и они были сильны и выносливы. Итак, я вернулся в селение и обратился с речью к мужчинам.

— Эти белые люди принадлежат к большому племени, — сказал я. — В их стране, несомненно, больше нет мяса, и они приходят к нам, чтобы отобрать у нас нашу страну. Они делают нас слабыми, и мы вымираем. Они — ненасытный народ. Они съели почти всю нашу дичь, и если мы хотим жить, нам необходимо поступить с ними так, как мы поступили с их собаками.

Я говорил еще долго, советуя бороться с пришельцами. И мужчины племени Белая Рыба слушали мои слова, и некоторые из них говорили одно, а другие другое, а третьи заговаривали о ненужных, бесполезных вещах, но ни один не повел смелой речи о борьбе и войне. Юноши были испуганы и слабы, как вода, но я заметил, что старики сидели молча и что в их глазах появлялись и исчезали огоньки. И позже, когда все селение спало и никто не видел нас, я увел стариков в лес и говорил с ними. Теперь мы сговорились и вспомнили славные дни нашей юности, свобод-

ную страну, довольство, счастье и солнечный свет; и мы назвали друг друга братьями и поклялись сохранить все в тайне, и затем произнесли страшную клятву очистить страну от дурного племени, нагрянувшего на нее. Я понимаю, что мы были глупцами, но откуда было знать нам — старикам из племени Белая Рыба?

Чтобы поощрить других, я совершил первое убийство. Я сторожил на берегу Юкона, пока не показалось первое каноэ. В нем сидели двое белых мужчин, и когда я встал и поднял руку, они переменили направление и стали грести к берегу. А когда сидевший на носу поднял голову, чтобы спросить, что мне от них нужно, моя стрела, прорезав воздух, попала ему прямо в горло, и он это узнал. Второй человек, сидевший на руле, не успел приложить к плечу винтовку, как брошенное мною копье убило его наповал.

— Это первые, — сказал я, когда старики подошли ко мне. — Позже мы объединим юношей — из тех, что не потеряли еще мужества и силы, и работа пойдет быстрее.

А затем тела убитых белых людей бросили в реку. А каноэ — оно было очень хорошим — мы сожгли и сожгли также вещи, которые нашли в нем. Но сначала мы пересмотрели их — это были

большие кожаные мешки, и мы разрезали их нашими ножами. А внутри мешков было много бумаги, подобной той, что ты читал мне, о Хаукэн, на бумаге были знаки, и мы удивлялись им и не могли их понять. Теперь я стал мудрым, и я из твоих слов знаю, что в этих знаках кроется речь людей.

В комнате послышался шепот и сдержанное движение, когда Хаукэн кончил переводить эпизод с каноэ. Прозвучал чей-то голос:

— Это была потерянная почта № 91. Ее везли Питер Джеме и Деланей. В последний раз их видел Мэтью на озере Ле-Бардж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне немного осталось рассказывать, — медленно продолжал Имбер. — На бумаге записано то, что мы сделали. Мы были старыми людьми, и мы не понимали, что делаем. Даже я, Имбер, до сих пор этого не понимаю. Мы убивали тайно и продолжали убивать, ибо мы были очень сильны для своих лет и знали, что всего скорее идет дело тогда, когда совершается без спешки. Когда белые люди пришли к нам с мрачными взглядами и грубыми словами и увели с собою шесть юношей, заковав их в кандалы, мы поняли, что нам

следует убивать и за пределами нашей страны. И один за другим мы, старики, поднимались вверх по реке и уходили в неведомые страны. Это нелегкая вещь. Мы были стары и бесстрашны, но боязнь новых далеких стран тяжело нависает над старыми людьми.

Итак, мы убивали смело и не спеша. Мы убивали в стране Чилькут и на Дельте, в проливах и на море — всюду, где мы находили стоянки белых людей или где они сбивались с пути. Правда, они умирали, но это нам не помогало. Из-за гор приходили ведь новые и новые, их было все больше и больше, а мы старились, и ряды наши быстро редели. Я помню, у Оленьего Брода была стоянка белого человека. Он был очень мал ростом, и во время сна на него напали трое стариков. А на следующий день я наткнулся на них на всех. Только белый еще дышал, и у него хватило силы хорошенько проклясть меня перед смертью.

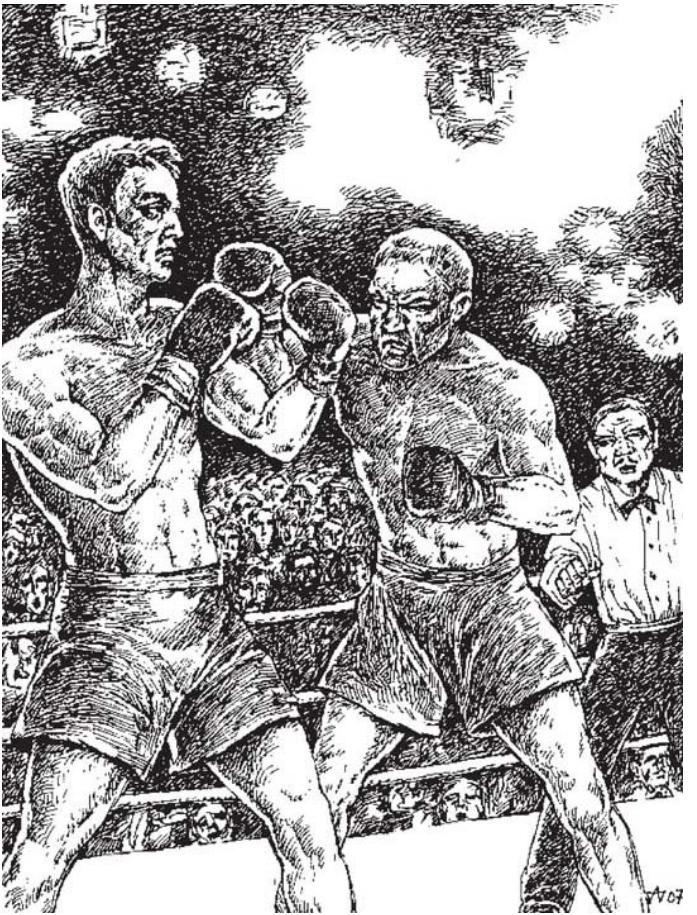
Так-то оно было, и то один, то другой старик уходил от нас. Иногда мы узнавали об их смерти спустя долгое время, а иногда и вовсе не узнавали. А старики из других племен были слишком стары, боялись и не хотели присоединиться к нам. И вот, я уже говорил, один за другим они уходили, и я остался один. Я, Имбер из племени Белая Рыба.

Мой отец был Оутсбаок, сильный воин. Племени Белая Рыба больше нет. Я — последний из стариков. Юноши и девушки ушли; некоторые из них — в племя Пелли, другие — в племя Лосося, а большинство ушли к белым людям. Я очень стар и очень устал; я вижу, что борьба с Законом — напрасная борьба, и, как ты сказал, Хаукэн, я пришел, чтобы встретить Закон.

— О Имбер, ты на самом деле глупец, — сказал Хаукэн.

Но Имбер глубоко задумался. Судья с высоким лбом тоже задумался, и перед ним величественным видением прошла история его расы — выкованной из стали, покрытой броней, предписывающей законы и управляющей судьбами других народов. Он увидел, как зарождается заря ее истории среди темных лесов и мрачных морей. Он видел пылающее пурпуровое зарево торжественных полуденных лучей и видел, как по затененным склонам кроваво-красные пески медленно погружались в ночь. А над всем возвышался Закон, безжалостный и мощный, неуклонный и повелительный, более сильный, чем людские толпы, покорные ему или им раздавленные, и более сильный, чем судья, чье сердце просило о снисхождении.

ИГРА



Глава I

Образцы ковров — их была целая груда — лежали перед ними на полу. Они уже остановили свой выбор на двух брюссельских коврах, но десятка два разноцветных толстых бобриков еще приковывали их внимание и не давали заглохнуть спору между желаниями и скромным кошельком. В виде особой чести сам заведующий отделом показывал им товар, причем Женевьева отлично понимала, что честь эта оказывается одному только Джо. Уже при подъеме на верхний этаж она ясно заметила тот робкий восторг, с которым глазел на него, широко разинув рот, мальчуган при лифте. А когда она шла рядом с Джо по улицам западной части города, прилегающим к их кварталу, от ее внимания не могло ускользнуть то почтение, с каким провожали ее спутника взоры подростков, встречавшихся по пути.

Заведующего отозвали к телефону, и мечтания о коврах и докучливые напоминания о тощем кошельке внезапно оттеснились напором более важных сомнений и тревог.

— Но, право, Джо, я совершенно не могу понять, что тебя там так привлекает, — тихо сказала она,

и нотка упорства, прозвучавшая в этих словах, говорила о том, что недавний спор ее не удовлетворил.

На одно мгновение мальчишеское лицо Джо омрачилось, но тотчас же на нем появилась нежная улыбка. Он, как и она, был еще совсем молод — два очень молодые существа у порога жизни, устраивающие себе гнездо и выбирающие ковры для его украшения.

— Что за охота тебе беспокоиться, — так же тихо заметил он. — Ведь это мое последнее, самое последнее выступление.

Он улыбнулся, но в этой улыбке ей почудился еле слышный, невольно вырвавшийся грустный вздох отречения. Инстинкт монопольного права женщины на своего мужчину отталкивал ее от того, чего она не понимала, но что целиком захватило всю его жизнь.

— Ты ведь хорошо знаешь, что моя прошлая встреча с О'Нейлем целиком покрыла последний взнос за мамин дом. А вот сегодняшняя встреча с Понта должна дать чистых сто долларов, — ведь приз в сто долларов нам для начала очень кстати.

Ссылка на материальную сторону мало на нее подействовала.

— Но ведь ты любишь ее, любишь эту… эту «игру», как ты ее называешь. Почему ты ее так любишь?

Для выражения своих мыслей у него вообще никогда не хватало слов. Выражать их он умел только руками, работой, своим телом и игрой мускулов на середине вымеренной арены. Но объяснить словами всю притягательную силу этой арены он был не в состоянии. Тем не менее, поначалу сильно запинаясь, он решил выразить все то, что ему приходилось испытывать и анализировать в самые вдохновенные минуты игры.

— Женевьева, я знаю только одно — знаю, как хорошо на арене, когда справляешься с противником, когда видишь, что у него наготове два удара, и ты паришь их, когда в свою очередь наносишь ему хорошенький ударчик, от которого он шатается и еле держится на ногах, так что рефери его оттаскивает, а ты уже опять можешь подступить и прикончить его. А публика орет от восторга, и ты сознаешь, что оказался лучшим бойцом, и знаешь, что дрался честно, а победил противника потому, что из двух ты — лучший боец. Я тебе говорю…

Он вдруг оборвал свою речь, испугавшись и своего неожиданного словоизвержения, и встре-

воженного взгляда Женевьевы. Пока он говорил, она внимательно следила за выражением его лица, и на ее лице вырисовывался испуг. В то время как он описывал эти торжественнейшие для него минуты, перед его внутренним взором вставали и шатающийся противник, и яркие огни, и аплодирующая публика, и все дальше и дальше уносился он от нее этим стихийным потоком, столь для нее непонятным, столь грозным и непреодолимым, превращающим ее любовь во что-то жалкое и слабое. Отступал куда-то тот Джо, которого она так хорошо знала, — стушевывался, терялся в пространстве. Исчезало свежее юношеское лицо, исчезали нежность его глаз, мягкость его красиво очерченного рта. И взамен выступало перед ней лицо зрелого мужа — лицо стальное, напряженное и неподвижное; рот стальной, с губами сжатыми, как капкан; глаза стальные, расширенные, сосредоточенные — даже блеск их и ясность были блеском и ясностью стали. Лицо зрелого мужа, а она до сих пор знала только его юношеское лицо. Этого нового лица она совсем не знала. Оно пугало ее, но вместе с тем в ней смутно зарождалось чувство гордости. Его отвага — отвага воинственного самца — непреодолимо влекла женщину, рядом поколений воспитанную

в сознании необходимости найти себе в пару сильного человека, надежного, как каменная стена. Но она все же не понимала этого влечения — влечения, что так настойчиво подчиняло его себе и так властно воздвигалось выше ее любви. Но вместе с тем ее женское сердце как-то сладостно томилось в сознании, что ради нее и ради любви он отказывался от чего-то очень для него важного и, выступая сегодня в последний раз, уже более не вернется на арену.

— Миссис Сильверштейн совсем не одобряет бокса и очень сурово о нем отзывается, а ведь она кое-что смыслит.

В ответ он снисходительно улыбнулся, скрывая горечь, не раз уже испытанную, ибо она совершенно не понимала этой стороны его жизни, которая в его глазах являлась предметом заслуженной гордости. Успехом он был обязан собственному упорству и напряженному труду. Отдавая всего себя Женевьеве, он в сущности только это повергал к ее ногам. Для него это было наградой за совершенный им труд, наградой за отвагу, равную которой трудно найти в другом мужчине, и только в этом сознании видел он свое оправдание и свое право на обладание ею. Но она и раньше этого не понимала, не поняла и теперь;

и он искренно удивлялся и не мог понять, какими достоинствами мог он ее привлечь.

— Миссис Сильверштейн — неженка, — добродушно усмехнулся он. — Скажи на милость, что она понимает в этих вещах? А я тебе говорю, что это занятие прекрасное… и очень здоровое, — добавил он, немного подумав. — Посмотри на меня. Я тебя уверяю: для того, чтобы быть всегда хорошо натренированным, я должен держать себя чисто. Я живу здоровей и гигиеничней, чем миссис Сильверштейн со своим стариком, — чище, чем кто-либо из твоих знакомых, — ванны, обтирания, гимнастика, правильное и хорошее питание. Свиньей не живу, не пью, не курю, не делаю ничего, что мне вредно. Ведь я живу гигиеничней тебя, Женевьева… Честное слово, — торопливо прибавил он, заметив ее сконфуженное лицо. — Не воду и мыло я имею в виду, а вот посмотри. — Его пальцы благоговейно, но крепко сжали ее руку у плеча. — У тебя рука вся мягкая-мягкая. А у меня нет. На, пощупай.

И он прижал кончики ее пальцев к своим твердым мышцам так крепко, что она даже поморщилась от боли.

— Я весь такой твердый, — продолжал он. — Вот что я называю жить здоровой жизнью. Каждая

капля крови, каждая частичка мяса и мускулов — здоровы, здоровы до самых костей, и кости тоже здоровые. Вымыта не только кожа, но все тело — насквозь. Так и чувствуешь себя чистым. Когда утром проснусь и выйду на работу, каждая капля крови и каждая частица мяса так и кричат вовсю, что они чисты. Уверяю тебя, что…

Он вдруг как-то сразу замолчал, смущенный не свойственным ему красноречием. Никогда в жизни он не был так взволнован, высказывая свои мысли, но никогда в жизни и не было такого повода: ведь тут была затронута Игра — самое драгоценное в мире — по крайней мере, она была самой драгоценной до тех пор, пока в один прекрасный день он случайно не зашел в кондитерскую Сильверштейна, а Женевьева не вошла вдруг чем-то огромным в его жизнь, заслонив собою все остальное. Но теперь он начинал соображать, пока еще только смутно: вечный конфликт между женщиной и карьерой, между работой мужчины и женской потребностью в мужской опоре. Обобщать он не умел: он только ясно видел антагонизм между реальной Женевьевой — Женевьевой из плоти и крови — и великой, абстрактной, но живой Игрой. Недолюбливали они друг друга эти двое, спорили между собой

из-за него, каждый на него притязал. Борьба эта его огорчала, но он беспомощно плыл, уносимый течением их распри.

Слова его приковали взгляд Женевьевы к его лицу, и она испытывала радость, созерцая ясные глаза, чистую кожу и нежные, как у девушки, гладкие щеки. Силу его доводов она восприняла — и потому возненавидела их. Инстинкт ее восставал против этой Игры, которая отнимала его, присваивая себе частицу того, что всецело должно было принадлежать ей. Игра была соперницей — ей неизвестной и непонятной. И прелести ее она никак не могла постичь. Если бы эта соперница была женщиной или девушкой, она могла бы себе ее представить и понять. Но при данных условиях ей оставалось бороться во тьме с неосязаемым противником. Та правда, которую она чуяла в его словах, делала Игру еще более могущественной.

И вдруг ее охватило сознание своей слабости. Сердце ее наполнилось жалостью к себе самой и печалью. Джо ей был нужен весь целиком, нужен без остатка, на дележ ее женская природа не соглашалась. А он увертывался, ускользая из ее объятий, как ни старалась она удержать его. Слезы подступили к глазам, губы задрожали,

но поражение ее скоро обратилось в торжество, силой ее слабости обращая в бегство всесильную Игру.

— Не надо, милая, не надо, — умолял он, смущенный и удивленный. Его мужскому уму казались беспричинными и непонятными ее внезапные слезы, но при одном виде их он позабыл все остальное.

Улыбкой влажных глаз она простила его, и он, не зная за собой никакой вины, мгновенно растаял. Его руки порывисто потянулись к ней, но она, вся напрягшись, отстранилась от него, между тем как глаза еще лучезарней засияли улыбкой.

— А вот и мистер Клаузен, — и с этими словами, при помощи какой-то чисто женской алхимии, она обратила на вошедшего совершенно сухие глаза.

— А вы, Джо, наверно решили, что я так и не вернусь? — вымолвил заведующий отделом, румяный пожилой мужчина со строгими бакенами, суровость которых скрашивалась веселыми маленькими глазками. — Ну, посмотрим... да, да, мы с вами выбирали бобрик, — оживленно продолжал он. — Вон тот рисунок вам, кажется, приглянулся, не правда ли? Да, да, ведь я все понимаю. Я сам обзаводился хозяйством, когда

зарабатывал всего 14 шиллингов в неделю. Но на устройство гнездышка ничего не жалеешь, ведь так? Конечно, я понимаю. Но цена-то всего на семь центов дороже, а в конце концов, чем дороже — тем дешевле, вот вам мое мнение. И вот что я вам скажу, — добавил он в каком-то филантропическом порыве и таинственно понижая голос, — для вас, только для вас я готов сбавить до пяти центов, но обещайте — и голос его сделался торжественно-значительным, — обещайте никогда никому не говорить, за сколько я вам его отдал. И сошьется и подрубится — все за эту же цену, — закончил он, когда Джо и Женевьева, посовещавшись, дали свое согласие. — Ну, а как же гнездышко-то, а? Когда же вы расправляете крылышки и влетаете в него? Как, уже завтра? Отлично, отлично!

На момент он в восторге выкатил свои глаза, затем отечески посмотрел на них.

Ответы Джо звучали немного резко, а Женевьева покраснела, но они чувствовали, что этот разговор неуместен. Не только потому, что затронутый вопрос был слишком интимен и для них священ, но из-за чувства, которое у мещан было бы проявлением глупой щепетильности, а у них говорило о скромности и деликатности, прису-

щих людям из рабочего класса, стремящихся к чистой и нравственной жизни.

Мистер Клаузен, покровительственно улыбаясь, проводил их до лифта, а все приказчики вытягивали шею, следя за удаляющейся стройной фигурой Джо.

— А сегодня вечером как же, Джо? — с интересом расспрашивал мистер Клаузен, пока они дожидались машины. — Как вы себя чувствуете, надеетесь с ним справиться?

— Не сомневаюсь. Никогда себя не чувствовал лучше, — ответил Джо.

— Вы чувствуете себя хорошо, а? Ладно, ладно. А я-то полагал… канун свадьбы… и все такое… Думал, что вы, пожалуй, взволнованы самую малость, нервничаете… Я ведь помню, что такое женитьба. У вас, значит, все в порядке, да? Конечно, вас-то и спрашивать нечего. Ну, ну! Желаю вам полнейшего успеха, дорогой! Не сомневаюсь, что победа будет за вами, нимало не сомневаюсь… Ну-с, мисс Притчард, до свиданья! — обратился он к Женевьеве, галантно усаживая ее в лифт. — Заходите почаще, всегда буду рад…

— И каждый тебя называет Джо, — укоряла она его, пока лифт летел вниз. — Почему никто тебя не зовет «мистер Флеминг»? Это было бы куда

приличнее.

Но он молчал и упорно разглядывал поднимавшего их мальчика, как будто не слышал ее.

— В чем дело, Джо? — спросила она с той всепокоряющей нежностью, силу которой она вполне сознавала.

— Пустяки. Я только мечтал, мне так хотелось, чтобы…

— Чего тебе хотелось? Чего? — Голос ее был само обольщение, а от взгляда сразу растаял бы самый суровый человек. Тем не менее ее глазам не удалось привлечь к себе его ответный взор. Но затем, раздумав, он неожиданно сказал:

— Мне так хотелось бы, чтобы ты хоть раз видела меня на арене.

Брезгливый жест ее руки — и все настроение упало. А ей ясно представилось, что соперница ринулась между ними и пытается его увлечь.

— Мне… мне тоже хочется, — заторопилась она, сделав над собой усилие и пытаясь выказать ему ту симпатию, которая обезоруживает даже самых сильных мужчин и заставляет их склонять голову на женскую грудь.

— Ты в самом деле хочешь?

Он поднял глаза и впился взглядом в ее лицо. Она понимала, что слова его не шутка. Они зву-

чали как вызов ее любви.

— Это было бы самой великой минутой в моей жизни, — добавил он просто.

Было ли то опасение за свою любовь, готовность ли пойти навстречу его жажде симпатии, желание ли встретить Игру лицом к лицу и наяву познать ее — или же то было сигналом боевого рожка, зовущего ее на приключения и проникающего через тесные стены ее однообразной, серой жизни? Как бы то ни было — все ее существо затрепетало от чувства необычайной отваги, и она так же просто ответила:

— Да, хочу.

— Я никак не думал, что ты согласишься, а то и не стал бы просить, — признался он, ведя ее через улицу.

— Но ведь это невозможно? — с тревогой спросила она, не давая остыть своему решению.

— О, это я всегда сумею устроить, но я никак не думал, что ты согласишься… Да, я не думал, что ты согласишься, — повторил он, все еще не придя в себя от удивления, и, нащупав в кармане мелочь, подсадил ее на трамвай.

Глава II

Женевьева и Джо принадлежали к аристократам рабочего класса. Нищета и грязь окружали их, а они оставались чистыми и здоровыми. Самоуважение, влечение ко всему прекрасному и чистому заставляло их сторониться окружающих. Нелегко было с ними подружиться. И настоящего интимного друга, верного товарища не было ни у того, ни у другого. Инстинкт общественности в них был достаточно силен. И все же они оставались одинокими, ибо удовлетворить этот инстинкт и в то же время сохранить свое стремление к чистоте и благопристойности было невозможно. Вряд ли нашлась бы девушка-работница, которая вела бы такую замкнутую жизнь, как Женевьева. В обстановке грубости и порока она сумела уберечь себя от всего грубого и порочного. Она замечала только то, что ей хотелось видеть, а хотела она видеть всегда лучшее. Инстинктивно, без всяких усилий отстранялась она от всего безобразного и непонятного. И условия жизни, в которых она росла, служили ей хорошей защитой. Единственный ребенок в семье, она проводила все время возле больной матери. У

нее не было возможности принимать участие в уличных играх и шалостях соседних детей. Ее отец — тщедушный, узкогрудый, анемичный маленький клерк — был по природе необщителен. Он весь отдавался семье, стараясь создать в доме атмосферу уюта и любви. Двенадцати лет Женевьева осталась сиротой. Сейчас же после похорон отца она переселилась к Сильверштейнам — в их квартиру над кондитерской. Всеми силами старалась она отблагодарить этих чужих людей, так сердечно приютивших ее, и отработать стоимость своего содержания и платьев, прислуживая в магазине. Она была другого вероисповедания, и потому Сильверштейны, которые в свои субботние дни сами не работали, в ней нуждались. Здесь, в неприглядной лавчонке, незаметно промелькнули шесть лет ее юности. Знакомых у нее было мало. Она не встретила еще ни одной девушки, достойной стать ее подругой. И ни с одним из молодых соседей она не гуляла, как обычно было принято у девушек, начиная с пятнадцати лет.

«Задирает нос» — так отзывались о ней ее сверстницы по соседству. Но, несмотря на эту враждебность, вызванную ее красотой и отчужденностью, она все же внушала им уважение.

— Нежна, как персик, бела, как сливки, — шептались молодые люди потихоньку между собой, опасаясь раздражить других женщин. Они питали к ней почти религиозное благоговение, как к чему-то таинственно-прекрасному и недоступному.

И она была действительно красива. Происходя от старого американского рода, она была одним из тех редких цветов, какие иногда неожиданно, вопреки всему окружающему появляются в рабочей среде. У нее был прекрасный цвет лица. Легкий румянец просвечивал сквозь ее нежную кожу, оправдывая столь удачное сравнение — персик и сливки. Правильные черты лица вполне гармонировали с тонкими линиями фигуры. Всегда тихая и невозмутимо спокойная, она была полна благородства и достоинства. Особенное умение одеваться еще более подчеркивало ее строгую красоту. И вместе с тем она была глубоко женственна: нежная, мягкая, привязчивая, с неосознанным влечением к семейной жизни и материнству. Но эта сторона ее существа все еще пребывала в дремотном ожидании того, кто ее разбудит.

И вот появился Джо. В одну из суббот после жаркого полдня он зашел в лавку Сильверштей-

нов освежиться содовой водой с мороженым. Она не обратила на него внимания, ибо была занята с другим покупателем, мальчиком шести-семи лет, который степенно производил смотр своим желаниям перед витриной, где чудесные кондитерские изделия в изобилии покоились под заманчивым объявлением: пять штук за пять центов.

Она услыхала: «Пожалуйста, содовой с мороженым» — и в свою очередь спросила: «С каким?» — все еще не глядя на него. Это было ее обыкновение — не обращать внимания на молодых людей. Что-то в них было, чего она не понимала. Ее смущала их манера смотреть на нее. Почему — она сама не знала. Ей не нравились в них грубоватость и неуклюжесть. До сих пор ее воображение еще не было затронуто мужчиной. Те, кого она видела, не привлекали ее и ровно ничего для нее не значили. Короче, вопрос о том, есть ли какой-нибудь смысл в существовании мужчин на земле, привел бы ее в замешательство.

Накладывая мороженое в стакан, она случайно взглянула на Джо, и у нее тотчас же возникло приятное чувство удовлетворения. Он посмотрел на нее, глаза ее опустились, и она отвернулась к прилавку. Но возле сифона, наполнив стакан,

она опять захотела взглянуть на посетителя — не больше, чем на мгновение. И в это мгновение она заметила его пристальный взгляд, ищущий ее взгляда, и выражение откровенного любопытства на его лице, заставившее ее опять поспешно отвести глаза.

Ее удивляло, что она встретила такую привлекательность в мужчине. «Миловидный мальчик», подумала она, инстинктивно и наивно пытаясь защититься от подчиняющей ее власти, которую всегда таит подлинная привлекательность. «И, однако, он совсем не миловиден», думала она, ставя перед ним стакан и получая десять центов серебром в уплату. Она в третий раз встретилась с ним глазами. Запас ее слов был ограничен, и она в них не слишком разбиралась. Но энергичная мужественность его юного лица говорила ей, что это определение не подходит.

«В таком случае он должен быть красив», была ее следующая мысль, когда она снова опустила глаза под его взглядом. Но любой человек сколько-нибудь приличной наружности называется красивым, и это выражение ей тоже не понравилось. Как бы то ни было, на него было приятно смотреть и хотелось этого снова и снова, и ее раздражало это желание.

Что же касается Джо, он никогда не встречал никого, похожего на эту девушку за прилавком. С философией природы он был знаком больше, чем она, и мог немедленно же объяснить смысл существования женщин на земле: тем не менее в его мировоззрении женщина отсутствовала. Его воображение было так же не затронуто женщиной, как и ее — мужчиной. Но теперь оно было взволновано. И женщиной была Женевьева. Он никогда не предполагал, что женщина может быть так красива. Он не мог оторвать от нее глаз. И всякий раз, как он смотрел на нее, и их взгляды встречались, он испытывал тягостное смущение. Если б она не опускала так быстро глаз, он вынужден был бы отвернуться.

Когда же, наконец, она медленно подняла глаза и вновь не опустила, потупил глаза не кто иной, как он, и румянец залил его щеки. Она смутилась гораздо меньше и ничем смущения не обнаруживала. И, однако, никогда еще прежде она не чувствовала такого волнения, хотя внешне и оставалась невозмутимой. Джо, наоборот, проявлял явную неловкость и выглядел восхитительно растерянным.

Любви они оба еще не знали, и в данный момент каждый из них сознавал одно только

непреодолимое желание смотреть на другого. Оба были возбуждены. Их влек друг к другу властный инстинкт. Он вертел в руках ложку, смущенно краснел над стаканом и томился; она же спокойно разговаривала, опускала глаза и оплетала его своими чарами.

Но нельзя же было целую вечность медлить над стаканом, а другой попросить он не смел. Наконец, оставив ее словно в трансе, он ушел и побрел, как лунатик, вниз по улице.

Весь вечер она мечтала и поняла, что влюблена. У Джо все было иначе. Он знал только одно: ему надо опять увидеть ее лицо. Его мысль не шла дальше; едва ли это даже была мысль — скорее смутное, еще не оформленное желание.

Справиться с этим неотступным желанием он не мог. День за днем оно его мучило, и неотвязно вспоминались кондитерская и девушка за прилавком. Он боролся с этим желанием. Ему было стыдно, и он боялся снова зайти в кондитерскую. Страх его уменьшался, когда он думал: «Я не из тех, кто нравится женщинам». Не один, не два, а двадцать раз он повторял это себе, но ничто не помогало. И среди недели, вечером после работы, он пришел в кондитерскую. Он старался войти беспечно, как будто случайно, но по его поход-

ке было ясно видно, каким огромным усилием воли он побеждал свою нерешительность. Он казался застенчивым и неуклюжим больше, чем когда-либо. Женевьева же, напротив, была непринужденней, чем всегда, несмотря на сильную тревогу и волнение. Разговаривать он не мог и, взглянув озабоченно на часы, пробормотал свой заказ, в страшной поспешности покончил с мороженым и ушел.

Она готова была расплакаться от досады. Такая скудная награда за четырехдневное ожидание, да к тому же она еще и любила! Он — славный мальчик, она это знала, но вовсе не нужно было быть так немилосердно торопливым. Джо еще не дошел до угла, как ему захотелось снова быть с ней и смотреть на нее. Он не думал, что это любовь. Любовь? Ведь любовь — это когда молодые люди и девушки гуляют вместе. Что же касается его… Здесь его мысль приняла неожиданное направление, и оказалось — это и есть то самое, что он намерен ей предложить. Ему необходимо видеть ее, смотреть на нее, и разве не лучше всего он сможет достигнуть этого во время прогулок с ней? Вот почему мужчины и девушки гуляют вместе, размышлял он, кстати и конец недели был близок. Раньше он считал, что

эти прогулки являлись простой формальностью, обрядом, предваряющим брак. Теперь он проник в их скрытую мудрость, нуждаясь в них сам, и из этого заключил, что влюблен. Оба они думали теперь в одном и том же направлении; поэтому дело могло кончиться только одним, и девять дней удивлялись соседки тому, что Женевьева гуляет с Джо.

Они оба не умели много разговаривать, и период ухаживания затянулся. Характерной чертой Джо являлась активность, у Женевьевы — спокойствие и сдержанность, и только в блеске ее глаз откровенно светилась нежная любовь, которую она застенчиво пыталась скрыть. Слова «дорогой», «дорогая» казались слишком интимными, и они не могли так скоро отважиться на них. Они не злоупотребляли словами любви подобно большинству других влюбленных пар. Долгое время они довольствовались вечерними прогулками. Они садились в парке и в продолжение часа не произносили ни слова, лишь радостно погружаясь в глаза друг друга. При свете звезд блеск их глаз казался смягченным и не смущал их.

Он проявлял рыцарскую предупредительность и внимание к своей даме. Когда они шли по улице, он озабоченно старался сохранить возле нее

место с краю тротуара — где-то он слыхал, что этого требует приличие; когда они переходили на другую сторону улицы, он осторожно обходил позади нее и снова занимал свое место. Он носил ее пакеты и однажды, когда собирался дождь, ее зонт. Он никогда не слыхал об обычае посылать возлюбленной цветы и отсылал ей вместо них фрукты. Фрукты — полезная вещь, поесть их приятно. Мысль о цветах не приходила ему в голову до тех пор, пока однажды он не увидел бледную розу в ее волосах. Это были ее волосы, и поэтому присутствие цветка сразу привлекло его внимание. Она выбрала цветок для своих волос, и это особенно вызывало интерес к цветку и заставило его внимательней рассмотреть розу. Он открыл, что роза сама по себе прекрасна. Он был искренне восхищен, но это восхищение в еще большей мире относилось к Женевьеве, и оба они были возбуждены — причиной тому был цветок. С этих пор Джо полюбил цветы. Внимание его к Женевьеве стало изобретательным. Он прислал ей букет фиалок. Идея принадлежала ему и только ему. Никогда не слыхал он, чтобы мужчина дарил женщине цветы. Цветы нужны с декоративной целью, а также во время похорон.

Теперь он почти каждый день дарил цветы

Женевьеве — для него эта идея была столь же оригинальна, как и великие человеческие изобретения.

Он трепетал от благоговения к ней, как и она при встрече с ним. Она была сама чистота и невинность, и слишком пылкое поклонение не могло ее осквернить. Она резко отличалась от всех, кого он знал. Была совершенно иная, не такая, как все девушки. Он представлял себе ее созданной совсем не так, как его или чьи бы то ни было сестры. Для него она была больше чем девушка, больше чем женщина. Это была Женевьева — не похожая ни на кого, удивительная и чудесная.

В свою очередь и у нее иллюзий было нисколько не меньше. В мелочах она относилась к нему критически (в то время как его отношение было подлинным обожанием, без тени критики), но в общем отдельные черты забывались, и для нее он являлся изумительным существом, без которого в жизни нет смысла. Ради него она могла бы умереть так же охотно, как и жить. Мечтая о нем, она часто придумывала всякие фантастические положения, в которых она, умирая за него, открывала ему, наконец, всю свою любовь; она была уверена, что в жизни никогда не сможет

выразить ее всю.

Любовь их была подобна утренней заре. Чувственности в ней почти не было — чувственность казалась профанацией. Первые проблески физического влечения в их отношениях оставались неосознанными. Единственно, в чем ощущали они непосредственно физическое влечение, властные порывы и чары тела, — это легкое прикосновение пальцев к руке, крепкое, короткое пожатие, изредка скользнувшая ласка губ в поцелуе, щекочущая дрожь ее волос на его щеке, дрожь ее руки, отводящей, еле касаясь, его волосы со лба. Это все они знали, но видели, не умея объяснить почему, призрак греха в этих ласках и сладостных касаниях тела.

Наступило время, когда она стала ощущать потребность доверчиво обвить руками его шею. Но что-то всегда ее удерживало. В такие моменты в ней возникало определенное и неприятное сознание греховности этого желания. Нет, она не должна ласкать именно так своего возлюбленного. Ни одна уважающая себя девушка не думает о таких вещах. Это не женственно. Кроме того, сделай она это, что подумал бы о ней Джо. Представляя себе весь ужас этого невероятного события, вся она как будто съеживалась и горела

от стыда.

И Джо не избежал жала этих странных желаний, и главным из них, быть может, было желание сделать Женевьеве больно. Достигнув, наконец, после долгой и нерешительной подготовки блаженства обнять ее за талию, он почувствовал судорожное желание еще крепче сомкнуть объятия — так, чтобы она закричала от боли. Стремление причинять боль живому существу было, в сущности, ему чуждо. И даже на арене, сбив ударом противника, он вовсе не намерен был сделать ему больно. И в этом случае была Игра. И для завершения ее требовалось, сбив противника, заставить его лежать десять секунд. Намеренно он никому не причинял боли. Боль была явлением случайным, и цель состояла не в ней. Но вот теперь, когда он был с любимой девушкой, у него пробуждалось желание сделать больно. Почему, обвивая пальцами ее руку, как кольцом, ему хотелось сильно сжать это кольцо, он сам не мог понять, и он решил, что в его натуре вскрылась такая жестокость, о какой он до сих пор даже не подозревал.

Однажды, гуляя, он обнял ее и слегка притянул к себе. Вырвавшийся у нее крик удивления и испуга привел его в себя и вызвал в нем смущение,

а вместе с тем и трепет смутного несказанного наслаждения. Дрожь охватила и ее. Боль от крепкого объятия была ей приятна. И снова она почувствовала греховность этого, хотя и не понимала, в чем она заключается.

Наступил день — весьма для них преждевременно, когда Сильверштейн застал Джо в кондитерской и дерзко уставился на него. Произошла соответствующая сцена, после которой Джо ушел. Материнское чувство миссис Сильверштейн вылилось в колкой критике всех боксеров вообще и Джо Флеминга в частности. Тщетно силился мистер Сильверштейн остановить гнев супруги. Ее гнев имел основание. Она обладала всеми чувствами матери, но материнских прав у нее не было.

Женевьева обратила внимание только на эту едкую критику. Она слышала этот поток ругательств, извергаемый еврейкой, но была слишком поражена, чтобы к ним прислушиваться. Джо — ее Джо — был Джо Флеминг, боксер. Это отвратительно, немыслимо, слишком это странно, чтоб можно было поверить. Ее Джо с ясными глазами, с румянцем девушки мог быть кем угодно, только не боксером. Последних она, правда, никогда не видела, но Джо никоим обра-

зом не походил на боксера, каким она себе того представляла — человек-зверь, с глазами тигра, с узким лбом. Конечно, она слыхала о Джо Флеминге — и кто в Вест-Оклэнде не слыхал о нем! — но никогда ей не приходило в голову, что здесь могло быть не только простое совпадение имен.

Истерический смех миссис Сильверштейн вывел ее из оцепенения:

— Завести знакомство с кулачным бойцом! — После этого Сильверштейн вступил в спор с женой относительно различия между «известный» и «знаменитый» в применении к возлюбленному Женевьевы.

— Но он хороший парень, — утверждал Сильверштейн. — Он делает деньги и их откладывает.

Миссис Сильверштейн кричала в ответ:

— Что ты мне рассказываешь? А что ты знаешь? Слишком уж много ты знаешь! Ты тратишь честные деньги на боксеров.

— Я знаю то, что знаю, — продолжал Сильверштейн решительно. Никогда прежде Женевьева не наблюдала в нем такого упорства в перепалках с супругой. — Его отец умер. Он идет работать в мастерскую парусов Ганзена. У него шесть братьев и сестер — все моложе его. И он для них как

отец. Он работает хорошо. Он покупает хлеб и мясо и платит за квартиру. В субботний вечер он приносит домой десять долларов. А когда Ганзен дает ему двенадцать долларов, что же он делает? Он им как отец, он приносит все деньги домой. Он все время работает, он получает двенадцать долларов — и что же он делает? Приносит их домой. Младшие братья и сестры ходят в школу, носят хорошие платья, имеют бутерброды и мясо; мать живет сытно, и в ее глазах радость. Она гордится добрым мальчиком Джо. Он прекрасного сложения, Бог мой, прекрасного сложения! Сильный как бык, ловкий как тигр, голова свежая, глаза острые. Он бьется на кулачки с мастеровыми Ганзена, он дерется на кулаках с мальчиками из пакгауза. Он попадает в клуб и побеждает Спайдера — живо, одним ударом. Приз в пять долларов — и что же он делает? Он приносит их домой матери. Он ходит много раз в клуб, он получает много призов — десять долларов, пятьдесят долларов, сто долларов. И что же он делает? Бросает работу у Ганзена? Веселится с товарищами? Нет, нет, он хороший мальчик. Он работает каждый день. Он состязается ночью в клубе. Потом он говорит: зачем мне платить за квартиру Сильверштейну — мне, Сильверштейну, так он сказал. И

он покупает хороший дом для матери. Все время он работает у Ганзена и состязается в клубе, чтобы заплатить за дом. Он покупает пианино для сестер, ковры, картины на стены. И все время он крепок и силен. Он сам держит пари за себя — это же хороший знак. Когда человек сам держит за себя, это подбивает каждого…

Здесь его прервали вопли миссис Сильверштейн — вопли, выражавшие весь ужас ее перед Игрой. И, удрученный своим предательским красноречием, супруг начал путаться в изворотливых уверениях, что он-де от Игры убытка не понесет. «И все из-за Джо Флеминга, — вывел он в заключение. — Чтобы выиграть, я ставлю на него».

Но Женевьева и Джо были незаурядной парой, и ничто — даже это ужасное открытие — не могло их разлучить. Напрасно Женевьева пыталась ожесточиться против него. Терпела поражение она сама, а не он. К своему удивлению, она нашла тысячу оправданий для него, и больше чем когда-либо он казался ей достойным любви; и она шла в его жизнь, чтобы стать его судьбой и как женщина его охранять. Она знала предстоящее ему будущее и была преисполнена пылкими замыслами различных реформ, а первым великим ее достижением было вырванное у него обещание

отказаться от бокса.

А он, подобно всем мужчинам, преследуя мечту любви, уступил. И все же даже в тот момент, когда обещание давал, он смутно чувствовал, что никогда не сможет бросить Игру. Когда-нибудь, в будущем, он должен будет к ней вернуться. И мелькнула мысль о матери, братьях и сестрах с их многочисленными потребностями, о доме с картинами, с его ремонтом и обложениями, мелькнула мысль о том, что у него с Женевьевой могут быть дети, и о своей личной ежедневной работе в мастерской. Но тотчас же он отогнал эту мысль, как обычно отгоняют все подобные предостережения, и видел только одну Женевьеву, сознавал лишь свой голод по ней, тягу к ней всего своего существа. И отнесся спокойно к ее вмешательству в его жизнь и дела. Ему было двадцать лет, ей — восемнадцать; здоровые, нормальные и уравновешенные, они представляли пару, как бы предназначенную для продолжения рода. Где бы они ни шли вместе, даже среди незнакомых на воскресной прогулке по улице, взгляды всех прохожих неизменно на них останавливались. Ее красота девушки была под стать его мужской красоте; ее грация — его мощи, а изящество — суровой его энергии и мускулистому телу мужчины.

Своим открытым лицом, нежным румянцем, немного наивным видом, голубыми глазами он привлекал взоры многих женщин, стоявших значительно выше его по своему социальному положению. Сам он совсем не сознавал ни этих взглядов, ни смутных материнских чувств, что внушал. Зато Женевьева замечала и понимала. И всякий раз она испытывала прилив радостной гордости от сознания, что он принадлежит ей — целиком ей. Но и он ловил взгляды мужчин, обращенные на нее, и это его скорее раздражало. Она тоже замечала их — и принимала так, как ему и в голову не могло прийти.

Глава III

Женевьева натянула на ноги легкие, на тонкой подошве ботинки Джо, весело смеясь вместе с Лотти, которая нагнулась, подворачивая на ней брюки. Лотти, сестра Джо, была посвящена в их тайну. И это благодаря ей удалось соблазнить мать отправиться с визитом к соседям, дабы иметь весь дом в своем распоряжении. Они спустились вниз в кухню, где ждал их Джо. Когда он увидел Женевьеву, его лицо просияло.

— Теперь спрячь эти юбки, Лотти, — командовал он. — У нас мало времени. Ну, так хорошо. Видны будут только концы брюк. Пальто прикроет остальное. Теперь посмотри, как оно подойдет. Оно взято у Криса; он хоть и маленький, но настоящий спортсмен, — продолжал он, помогая Женевьеве надеть пальто, спускавшееся ей почти до пят и сидевшее на ней так, словно было сшито на заказ.

Джо надел ей на голову фуражку и поднял воротник такого необычайного размера, что, доходя до фуражки, он совершенно скрывал ее волосы. Когда он застегнул воротник доверху, его края прикрыли ее щеки, а подбородок и рот в нем

совершенно потонули. И только вблизи можно было различить ее затененные глаза и кончик носа. Она прошлась по комнате. При ходьбе подол пальто заворачивался, и из-под него выглядывали края брюк.

— Спортсмен с насморком и боится простудиться, прекрасно, — улыбался Джо, с гордостью обозревая работу своих рук. — Сколько же у вас денег? Я ставлю десять против шести. Хотите ставить на более слабого?

— А кто слабее? — спросила Женевьева.

— Конечно же, Понта, — вырвалось оскорбленно у Лотти, как будто в этом можно было еще сомневаться.

— Разумеется, — ответила мягко Женевьева, — только я мало понимаю в этих делах.

Лотти тотчас же сжала губы, но лицо ее приняло снова огорченное выражение. Джо взглянул на часы и объявил, что уже пора идти. Сестра бросилась ему на шею и звонко поцеловала в губы. Она поцеловала и Женевьеву. Брат обнял ее за талию, и они вместе прошли до ворот.

— Что означает: десять против шести? — спросила Женевьева, в то время как их шаги зазвенели в морозном воздухе.

— Меня публика любит, — ответил Джо. — И

это значит, что один ставит десять долларов за то, что я выиграю, против шести, которые ставит другой, рассчитывающий, что я проиграю.

— Но если тебя любит публика и каждый в тебе уверен, как же может кто-нибудь биться об заклад против тебя?

— Вот на этом и держится бокс — на различии во мнениях, — рассмеялся он. — Кроме того, каждый может рассчитывать на счастливый удар, на случайность. Такие случаи бывают, — произнес он серьезно.

Женевьева крепко прижалась к нему, как бы желая его защитить. Он уверенно засмеялся.

— Вот подожди, ты увидишь. Но не пугайся. Первые круги — это будет нечто неистовое. В этом все дело у Понты. Он — человек горячий. Он применяет все приемы и, как вихрь, налетает на противника на первом же круге. Он побил многих куда более ловких и опытных, чем сам. Мне надо устоять против этого — в этом все и дело. Затем он потеряет голову, и вот тогда-то я начну его теснить. Смотри внимательно, ты поймешь, когда я перейду в наступление, я с ним покончу.

Они подошли к холлу в темном переулке. Официально это был дом атлетического клуба, но в действительности — учреждение, предназна-

ченное, с разрешения полиции, для публичных матчей бокса. Джо отошел от Женевьевы, и они отдельно вошли в подъезд.

— Держи руки в карманах во что бы то ни стало, — предупредил ее Джо, — и будет отлично. Всего несколько минут.

— Этот — со мной, — заметил он швейцару, беседующему с полицейским.

Оба фамильярно приветствовали его, не обратив внимания на спутника.

— Они никогда не выдадут, никто не выдаст, — уверял ее Джо, в то время как они поднимались по лестнице во второй этаж. — А если кто-нибудь и проболтается, они все равно не знают тебя. Ради меня они будут молчать. Сюда иди, сюда!

Он увлек ее в маленькую комнату — нечто вроде конторы и, усадив на пыльный поломанный стул, ушел. Пять минут спустя он вернулся облаченный в длинный халат, в парусиновых туфлях. Ее вдруг охватил страх за него, и его рука нежно ее обвила.

— Все будет хорошо, Женевьева, — ободрял он. — Я уже распорядился. Никто не выдаст.

— Не о себе я беспокоюсь, — сказала она, — о тебе.

— Не о себе? Но ведь я думал, ты потому и ис-

пугана!

Он удивленно посмотрел на нее. Женщины — изумительные существа, а изумительней всех — Женевьева! Он на мгновение потерял дар речи, а затем пробормотал:

— Значит, ты обо мне? И тебя не волнует, что подумают?

Внезапный двойной стук в дверь и еще более неожиданный голос «Шевелись, Джо!» вернули его к неотложным делам.

— Скорей еще один поцелуй, Женевьева, — прошептал он почти благоговейно. — Это мое последнее выступление, и я буду биться, как никогда, помня, что ты на меня смотришь.

Она еще чувствовала прикосновение его теплых губ к своим, когда очутилась в толпе молодежи. Ни один, казалось, не обращал на нее внимания. Многие из них были без сюртуков, и рукава их рубашек были засучены. Они входили в зал группами и медленно продвигались боковым проходом.

Это был переполненный, скудно освещенный зал, огромный, как сарай. Табачный дым все кругом заволакивал. Женевьева почувствовала, что ей трудно дышать. Раздавались пронзительные крики мальчишек, продающих программы

и содовую воду. Стоял невероятный гул низких мужских голосов. Она услыхала, как кто-то предлагал десять против шести за Джо Флеминга. Сказано это было монотонно, ей показалось — в голосе сквозила безнадежность, и внезапно дрожь охватила ее. Это был ее Джо, против которого бились об заклад.

Но была и другая причина ее возбуждения: кровь ее была опалена, как огнем, этим романтическим приключением, неожиданным, таинственным, страшным. Она проникла в это сборище мужчин, куда женщина не допускалась. Но ее волнение имело и другие основания: единственный раз в жизни она осмелилась на безрассудный поступок. Впервые преступила она законы, установленные м-с Трэнди[7] рабочего класса — этим жесточайшим из тиранов. Она испытывала страх уже за себя, хотя за секунду перед этим думала только о Джо.

Прежде чем успела заметить, она достигла входа в зал и, пройдя ступенек шесть вверх, проникла в небольшую уборную, тесную и душную, битком набитую мужчинами, так или иначе при-

---

[7] notes: 7

Героиня романа Мортона «Speed the plough» (1798). Это имя стало нарицательным как символ благопристойности. Соответствует грибоедовской княгине Марье Алексевне. *(Прим. пер.)*

частными к Игре, как заключила она. Здесь Джо ее покинул. Но прежде чем страх за себя успел по-настоящему охватить ее, один из молодых людей обратился к ней, грубо сказав:

— Идем вместе.

Выбравшись следом за ним из толпы, она увидела, что и другой пошел за ними.

Они прошли по какому-то помосту, на котором находились три ряда стульев. Все они были заняты. И здесь она мельком бросила первый взгляд на арену. Женевьева была на одном уровне с ареной и так близко, что могла бы притронуться к ограждавшему ее канату. Она заметила покрывавшую ее парусиновую настилку и вокруг арены смутно различила столпившуюся массу народа.

Покинутая ею уборная примыкала к одной стороне арены. Протискиваясь за своим проводником между рядами сидевших мужчин, она перешла на противоположный конец зала и вошла в такую же уборную по другую сторону арены.

— Теперь сидите тихо и оставайтесь здесь, пока я не приду за вами, — давал наставления проводник, указывая ей на предусмотрительно проделанное отверстие в стене комнаты.

Глава IV

Женевьева поспешно приникла к отверстию и увидела как раз напротив помост с ареной. Она могла обозревать ее всю, но часть публики была заслонена. Арена ярко освещалась сверху гроздью обыкновенных газовых рожков. Передний ряд, через который она только что пробиралась, занимали репортеры местных газет, как она решила, судя по их записным книжкам и карандашам. Один из них жевал резинку. Позади, в двух следующих рядах, она заметила пожарных из ближайшего депо и несколько полисменов в форме. В середине переднего ряда, между репортерами, сидел молодой начальник полиции. По другую сторону арены она вдруг с изумлением узнала фигуру м-ра Клаузена. Он сидел там, возле самой арены, строгий, с седыми бакенбардами, с порозовевшим лицом. Немного дальше в том же ряду она увидела Сильверштейна. Его заостренная физиономия пылала от предвкушения зрелища.

Раздавшиеся кое-где аплодисменты возвестили о прибытии группы молодых людей в рубашках с засученными рукавами; молодые люди несли

ведра, бутылки и перекинутые через руку полотенца. Они пробрались за канат и направились в угол арены наискось от нее. Один из них опустился на стул, прислонившись спиной к канату. Она заметила на его голых ногах парусиновые туфли, а на теле — плотный белый свитер. В это же время другая группа заняла угол прямо против нее. Гром аплодисментов привлек ее внимание, и она увидела Джо, севшего на стул, все еще в купальном халате. Его вьющиеся пряди волос были на расстоянии какого-нибудь ярда от нее.

Один молодой человек в черном костюме, с торчащими щеткой волосами, в нелепо высоком накрахмаленном воротнике вышел на средину арены и поднял руку, возглашая:

— Господа, прошу не курить!

Но его слова были встречены воем и кошачьим мяуканьем, и Женевьева заметила, что никто курить не бросил. М-р Клаузен в момент предупреждения держал в руке зажженную спичку, он спокойно зажег сигару. В этот момент в ней вспыхнула ненависть к нему. Как будет Джо бороться в такой атмосфере? Сама она еле дышала, а ведь она сидит спокойно.

Распорядитель направился к Джо. Тот поднялся, сбросил халат и, обнаженный, выступил вперед

на середину арены; только на ногах его были парусиновые туфли и на бедрах — узкая белая повязка. Женевьева опустила глаза. Она была одна — никто на нее не смотрел, но лицо ее загорелось от стыда, когда она увидела прекрасную наготу своего возлюбленного. Но она снова на него взглянула, сознавая преступность этой радости обладания тем, чем, ей казалось, обладать было грешно. Это непонятное возбуждение и тяга к нему — несомненно греховны. Но грех был сладостный, и она не могла отвести глаз. Забылись все предостережения м-с Грэнди. Отголоски язычества, первородный грех, вся природа восстали в ней. В ней заговорила вечная мать, и неслись жалобы нерожденных детей. Но она ничего этого не сознавала. Она только чувствовала здесь грех и, гордо подняв голову, в страстном порыве возмущения отважно решила грешить до конца.

В своих мечтах она никогда не представляла себе формы тела под одеждой. О теле она не думала — разве что о руках и лице. Дитя лощеной культуры, она отождествляла одежду с телом. Человеческая раса являлась для нее расой одетых двуногих, с руками, лицом и головой, покрытой волосами. Джо, неизгладимо в ней запечатленный, представлялся ей только одетым — этот

Джо, с нежными щеками, с голубыми глазами, с кудрявой головой. И вот он стоял здесь, в ярком освещении, обнаженный и богоподобный. Образ бога она отчетливо не представляла, и нагота его рисовалась ей весьма туманно, а эта ассоциация ужаснула ее. Ей казалось, что теперь грех ее принял характер богохульства, святотатства.

Ее развитое эстетическое чутье осилило предрассудки воспитания и говорило ей, что здесь красота исключительная. Ей всегда нравилась внешность Джо, но вернее — Джо в костюме, и она считала, что привлекательность эта зависит от его вкуса и умения одеться. Она никогда не подозревала, что причина кроется глубже. Сейчас он ослепил ее. Его кожа была нежной, как у женщины, а покрывавший легкий пушок ее не безобразил. Это она заметила, но всем остальным — совершенством линий, силой и крепостью его мускулистого тела — была очарована бессознательно. В нем была какая-то и строгость и грация. Лицо его походило на камею, и губы, сложенные в улыбку, придавали ему совсем мальчишеское выражение.

Стоя лицом к публике, он улыбался, в то время как распорядитель, положив руку ему на плечо, возглашал:

— Джо Флеминг, гордость Вест-Оклэнда.

Поднялась буря радостных восклицаний и аплодисментов, и до нее донеслись восторженные крики: «Наш Джо!» — приветствия возобновлялись снова и снова.

Он вернулся в свой угол. В этот момент, как ей казалось, он менее всего походил на боксера. Глаза его светились добротой, в них не было ничего животного, как и в выражении лица. Тело казалось чересчур хрупким благодаря красоте и грации движений. Он выглядел слишком юным, добродушным и интеллигентным. Не будучи экспертом, она не могла оценить охвата груди, мощности легких и его мышц в их нежном футляре — этот тайник энергии, скрытую лабораторию разрушительной силы. Для нее он являлся чем-то вроде дрезденского фарфора, нуждающегося в осторожном и заботливом обращении и способного разбиться вдребезги при первом грубом прикосновении.

На середину арены выступил Джон Понта и стянул с себя с помощью двух своих секундантов белый свитер. При виде его Женевьева ужаснулась. Вот это был боксер — зверь с низким лбом, с крохотными, круглыми глазками под хмурыми, густыми бровями, с плоским носом, толстыми

губами, злым ртом. У него были бычачья шея и массивная нижняя челюсть. Короткие, прямые волосы на его голове казались ее испуганным глазам жесткой щетиной свиньи. Вот здесь-то была грубость и жестокость — нечто дикое, первобытное и свирепое. Смуглый — почти черный — он весь зарос на груди и плечах волосами, спутанными, как шерсть собаки. Грудь его была широкая, ноги толстые, весь он был мускулистый и уродливый. Мускулы выпирали узлами, и он казался весь в наростах и шишках. Благодаря чрезмерной силе красота искажалась.

— Джон Понта из атлетического клуба Вест-Бэй, — возгласил распорядитель.

Его приветствовали с несравненно меньшим воодушевлением. Было ясно — толпа симпатизировала Джо.

— Возьми его, Понта, куси его! — раздался одинокий голос в тишине.

Его поддержали шумливые крики и завывания. Понта это не понравилось. Угрюмый рот его злобно дергался, когда он возвращался в свой угол. В нем слишком резко был выражен атавизм, и восхищения толпы он не мог вызвать. Инстинктивно она чувствовала к нему отвращение. Это был зверь, лишенный разума и души, грозный и

страшный, — так тигр или змея более страшны за железными прутьями клетки, чем на воле.

Он знал, что толпа его не любит. Как зверь, окруженный врагами, он обводил всех сверкающими злобой глазами. Маленький Сильверштейн, с пылким оживлением продолжавший выкрикивать имя Джо, отпрянул назад под этим взглядом и съежился, как обожженный. Возглас застрял в его горле. Женевьева наблюдала эту маленькую интермедию. Когда же глаза Понта, с ненавистью обводя окружающих, встретились с ее взглядом, она тоже вся сжалась и откинулась назад. В следующий момент взор его скользнул дальше и остановился на Джо.

Ей показалось, что Понта сам старался разжечь свою ярость. Джо ответил ему пристальным взглядом своих спокойных мальчишеских глаз, но лицо его стало серьезным.

На середину арены, в сопровождении распорядителя, выступил третий человек, молодой парень с веселой физиономией, в рубашке с засученными рукавами.

— Эдди Джонс — рефери состязания, — объявил распорядитель.

— А, вот и Эдди! — раздались восклицания, прерываемые аплодисментами.

Женевьева поняла, что и этот был любимец.

Секунданты стали помогать обоим боксерам надевать перчатки. Прежде чем Джо успел натянуть свои, один из секундантов Понта подошел к нему и обследовал их. Рефери вызвал боксеров на середину арены. За ними последовали секунданты. Образовалась группа: Джо и Понта лицом к лицу, между ними рефери; секунданты, опираясь руками о плечи друг друга, вытягивали головы вперед. Рефери говорил, и все внимательно слушали.

Затем группа распалась, и вперед выступил опять распорядитель.

— Джо Флеминг весит сто двадцать восемь фунтов, Джон Понта — сто сорок, — сказал он. — Состязание будет продолжаться до тех пор, пока один из них не будет в состоянии его вести. Публика пусть помнит, что состязание до результата. В этом клубе не бывает состязаний вничью.

После этого он пролез под канатом и спустился с помоста арены на пол. Секунданты, суетливо очищая углы, со стульями и ведрами тоже пробирались за канат. На арене остались только два боксера и рефери. Раздался удар гонга. Оба бойца поспешно приблизились к центру. Их правые руки вытянулись и через секунду встретились в

небрежном пожатии. И вслед за этим Понта бросился на Джо, который отскочил. Стрелой Понта понесся за ним.

Состязание началось. Женевьева, прижав руки к груди, следила. Она растерялась от молниеносности и ярости натиска Понта, от этого бесчисленного количества наносимых им ударов. Ей казалось, что Джо погибает. Временами она не различала его лица — настолько быстро мелькали перчатки. Но она слышала удары, и при звуке каждого чувствовала почти физическую боль под ложечкой. Она не подозревала, что эти удары от столкновения перчаток или прикосновения перчатки к плечу совершенно безвредны.

Внезапно она насторожилась: в ходе состязания произошла перемена. Оба охватили друг друга тесным объятием. Удары прекратились совсем. Она узнала в этом «обхват», о котором рассказывал ей Джо. Понта пытался вырваться. Джо не отпускал. Рефери выкрикнул: «Прекратить!» Джо попытался отступить, но Понта, высвободив руку, размахнулся, и Джо, чтобы избегнуть удара, рванулся и вторично сжал его. В этот раз она заметила его кулак, упершийся в рот и подбородок Понта. И при втором возгласе «прекратить!» он закинул голову противника назад и отскочил, на

этот раз освободившись окончательно.

Несколько коротких секунд Женевьева могла беспрепятственно обозревать своего возлюбленного. Отступив влево и слегка согнув колени, он пригнулся, с головой, втянутой в плечи, и с руками наготове. Мускулы тела напряглись, и, когда он шевелился, она могла видеть, как они перекатывались под его белой кожей, подобно живым существам.

И снова Понта бросился на него. Джо вступил в борьбу за жизнь. Он еще больше пригнулся, сжался, прикрываясь руками. Удары сыпались дождем, и Женевьеве казалось, что он уже избит до смерти. Но он встречал удары своими перчатками и плечами, раскачиваясь взад и вперед, подобно дереву в бурю, в то время как весь зал в восторге аплодировал. Только уразумев значение этих аплодисментов и увидев Сильверштейна, привскочившего с места в необычайном восхищении, слыша со всех сторон «Молодчина, Джо!», она поняла, что это не поражение, и Понта хорошо за это платится. На момент Джо передохнул, и затем возобновился бешеный натиск Понта.

Глава V

Прозвучал гонг. Казалось, они бились полчаса, хотя, по словам Джо, она знала, что это должно было длиться всего три минуты. С ударом гонга секунданты Джо были уже на арене и последовали за ним в его угол, чтобы использовать благодатную минуту отдыха. Один из них, присев на пол у его протянутых ног и приподняв их на свои колени, старательно их растирал. Джо сидел вытянувшись на стуле; он откинул голову назад и положил руки на веревку, чтобы грудь могла свободней дышать. Широко открытым ртом вдыхал он воздух — два других секунданта обмахивали его полотенцем — и прислушивался к советам третьего, что-то шептавшего ему на ухо, обмывая губкой его лицо, плечи и грудь.

Едва кончилась вся эта процедура (она заняла всего несколько секунд), раздался звук гонга. Секунданты выбрались за канат со всеми своими приспособлениями. Джо двинулся к центру арены навстречу Понта. Женевьеве никогда не казалась минута такой короткой. Ей показалось даже, что отдых был урезан, и она заподозрила, — но что, сама не знала.

Понта набросился, как прежде, работая обеими руками, и хотя Джо парировал удары, он должен был отступить на несколько шагов назад. Прыжком тигра Понта настиг его. Инстинктивно пытаясь удержать равновесие, Джо взмахнул рукой, поднял голову и оказался без всякого прикрытия. С невероятной быстротой Понта кинулся на него, и страшный удар вот-вот должен был обрушиться на его челюсть. Но Джо нырнул головой вперед и вниз, и удар Понта пришелся по затылку. Когда Джо выпрямился, левая рука Понта грозила нанести ему удар, который мог перебросить его за канат. Но он снова предупредил удар, с неуловимой быстротой наклонившись вперед. Кулак Понта, слегка задев его плечо, рассек воздух. Правая рука Понта вытянулась, но Джо нырнул и крепко обхватил его, и снова удар лишь скользнул по плечу Джо.

Женевьева вздохнула с облегчением; напряженность всего ее существа заменилась полным упадком сил. Толпа неистово аплодировала. Сильверштейн вскочил на ноги, крича, жестикулируя, совершенно вне себя. И даже мистер Клаузен что-то кричал с энтузиазмом в ухо своему соседу.

Но обхват был разорван, и состязание продол-

жалось. Джо оборонялся, отступал, скользя по арене и стойко выдерживая бешеную атаку. Сам он редко наносил удары, ибо у Понта были зоркие глаза и он умел так же хорошо защищаться, как и нападать. Сила Джо уступала этой чудовищной живучести; ему оставалось только выжидать, пока Понта сам не исчерпает окончательно всей своей энергии.

Наконец Женевьева начала удивляться, почему ее возлюбленный не наступает. Она чувствовала раздражение. Ей хотелось увидеть, как он отомстит этому зверю, так его загонявшему. Ее нетерпение все росло, и наступил момент, когда кулак Джо опустился на рот Понта. Это был великолепный удар. Понта откинулся назад, и губы его окрасились кровью. Этот удар и ликующие крики публики привели его в ярость. Он как зверь рванулся. Все неистовство его прежних нападений было ничто по сравнению с этим натиском. И второй такой же удар уже не последовал. Джо был слишком поглощен обороной против этого града ударов, им же вызванного. Он парировал удары, прикрываясь и ныряя в спасительные передышки обхватов.

Но и здесь, в обхвате, не было полного отдыха и безопасности. Требовалось напряженное,

неусыпное внимание, а разрыв грозил еще большей опасностью.

Женевьеве показался забавным один странный прием Джо, когда он во время обхвата припадал к телу Понта. Его значения она не понимала до тех пор, пока в одном обхвате, прежде чем Джо успел плотно припасть, кулак Понта взвился вверх и чуть было не задел его подбородок. В следующий раз, когда Женевьева уже успокоилась и облегченно вздохнула, увидев, как Джо благополучно припал, Понта, упираясь подбородком в плечо Джо, поднял правую руку и со страшной силой опустил кулак на его крестец. Раздался испуганный вопль толпы. Джо быстро стиснул руку противника, предупреждая повторный удар.

Зазвучал гонг, и после короткого перерыва они начали снова в углу Джо, куда Понта нетерпеливо метнулся ему навстречу. Последний удар, полученный Джо, пришелся как раз над почками, и на белой коже появился ярко-красный кровоподтек. Это красное пятно, размером в перчатку, ужасало Женевьеву; оно притягивало ее глаза, и с большим трудом она могла от него оторваться. Очень скоро, во время следующего обхвата, этот удар повторился. Но затем Джо уже ухитрился каждый раз подставлять ко рту Понта перчатку,

запрокидывая его голову назад и этим отвращая страшный удар. Но все же Понта успел три раза до окончания схватки выполнить свой трюк, всякий раз поражая уже раненное место.

Опять перерыв, и снова схватка — без дальнейших повреждений для Джо и без малейшего признака усталости со стороны Понта. Но в начале пятого круга Джо, загнанный в угол, наклонившись вперед, сделал движение, как бы намереваясь обвить противника. Это достигло цели. В тот самый момент, когда Понта приготовился уже прижать его к себе, Джо слегка отклонился назад и ударил кулаком в его незащищенный живот. Промелькнуло еще четыре молниеносных удара правой и левой рукой. Это были тяжелые удары, ибо Понта шатаясь отступил, полуопустив руки. Казалось, он готов скорчиться и упасть. Пользуясь его беспомощностью, Джо нанес ему удар в рот и тотчас же замахнулся, нацеливаясь в челюсть. Но удар попал в щеку. Понта, зашатавшись, отскочил в сторону. Весь зал был на ногах, восторженно вызывая Джо, — все до одного человека. Женевьева слышала крики: «Он его взял, взял его!» Ей казалось, что уже близок конец. Она тоже была вне себя от волнения; ее кротость и мягкость исчезли; она ликовала при каждом

жестоком ударе возлюбленного.

Но живучесть Понта была необычайна, с ней приходилось считаться. Как прежде он набрасывался, подобно тигру, на Джо, так теперь Джо преследовал его. Снова он пытался попасть в челюсть Понта. Но сила и ловкость вернулись к последнему, и он удачно уклонился. Кулак Джо рассек воздух, и благодаря стремительности удара Джо сделал полуоборот. Тогда Понта взмахнул левой рукой, и его перчатка ударила в открытую шею Джо. Женевьева видела, как опустились руки возлюбленного, как вздрогнуло все его тело и, качнувшись назад, ослабевшее упало на пол. Рефери наклонился над ним, отсчитывая секунды и отмечая каждую ударом правой руки.

В зале стояла мертвая тишина. Понта слегка повернулся к публике, ожидая заслуженного одобрения, но его встретило холодное, гробовое молчание. Гнев охватил его. Это явная несправедливость. Только его оппонент удостаивается аплодисментов — наносит ли он удар или уклоняется от него. А он, Понта, с самого начала успешно наступавший, не услышал ни одного слова одобрения.

Его глаза засверкали, и, весь сжавшись, он подскочил к распростертому врагу. Пригнув-

шись возле, он поднял правую руку, готовый сокрушить его ударом при первой попытке подняться. Рефери, до сих пор склоненный над Джо и продолжающий правой рукой отсчитывать секунды, левой отталкивал Понта. Последний упрямо кружился около. Рефери следил за ним, оттесняя его и стараясь держаться между ним и упавшим Джо.

— Четыре, пять, шесть, — раздавался счет. В этот момент Джо, повернувшись лицом к полу, пытался подняться на коленях. Это ему удалось. Упираясь коленом и руками в пол, он поджал другую ногу, пробуя встать.

— Считай, считай же! — неслись голоса из публики.

— Ради Бога, считай же! — предостерегающе закричал с одного конца круга секундант Джо. Женевьева бросила туда мимолетный взгляд и увидела молодое лицо, бледное и расстроенное. Губы его машинально шевелились, повторяя счет за рефери.

— Семь, восемь, девять, — бежали секунды.

Прозвучала девятая и истекла, когда рефери в последний раз оттолкнул Понта, и Джо поднялся на ноги, сгорбившись, слабо прикрываясь, но вполне владея собой. С устрашающей силой

Понта бросился на него, стремительность его была необычайна. Джо отпарировал два удара, ускользнул от третьего; уклоняясь от четвертого, отступил, но, наконец, этот ураган ударов загнал его в угол. Он был необычайно слаб. Стараясь удержаться на ногах, он шатался. Спиной он прислонился к канату. Дальше уже некуда было отступать. Понта остановился, как бы прикидывая расстояние, затем сделал ложный выпад левой рукой и изо всех сил, с ожесточением ударил правой. Но Джо нагнулся и обхватил его. На этот раз он был спасен.

Понта бешено вырывался. Он жаждал прикончить этого уже почти добитого врага. Но Джо боролся за жизнь. Он стойко противился его усилиям, неотступно цепляясь за него и сжимая.

— Прекратить! — скомандовал рефери. Джо еще плотнее обвил Понта.

— Заставь его отпустить! Черт возьми, что же ты его не заставишь отпустить! Черт возьми! — задыхаясь кричал Понта рефери.

Рефери снова скомандовал: «Прекратить!» Джо отказывался подчиниться, твердо убежденный в своем праве на это. С каждым моментом силы возвращались к нему, мысль прояснялась, с глаз спадала пелена. Ему надо было как-нибудь выдер-

жать еще около трех минут до окончания круга.

Рефери схватил их за плечи и с силой разнял, став поспешно между ними, не давая им снова схватиться. Но освобожденный Понта прыгнул на Джо подобно дикому зверю, опрокидывающему свою добычу. Джо заслонился, откинул его и опять обхватил. Это повторилось несколько раз. Понта вырывался. Джо не отпускал его. Рефери растаскивал их. А Джо снова припадал к Понта.

Женевьева поняла, что во время обхватов он не подвергается ударам. «Почему же тогда рефери мешает ему? Это жестоко». Она ненавидела добродушного Эдди Джонса и, поднявшись, гневно сжала кулаки, до боли впиваясь ногтями в ладонь. В продолжение трех долгих минут, оставшихся до конца круга, обхваты следовали один за другим. Ни разу не удалось Понта нанести противнику последний смертельный удар. И, обезумевший, он бушевал, чувствуя свое бессилие перед этим ослабевшим, почти побежденным врагом. Один бы удар, только один, — но он невозможен! Хладнокровие и опытность спасали Джо. В полусознательном состоянии, дрожа всем телом, он сжимал противника и не выпускал, а в это время силы его все приливали. Понта, раздраженный невозможностью ударить, сделал

попытку поднять его и швырнуть на пол.

— Почему же ты его не укусил? — раздался резкий, насмешливый голос Сильверштейна.

В полной тишине этот возглас пронесся по всему залу, и публика, позабыв тревогу о своем любимце, разразилась оглушительным, почти истерическим хохотом. Даже Женевьева уловила комизм этого замечания, и чувство успокоения из зала передалось ей. Но все же ощущение боли и слабости не покидало ее; она еще была вся под впечатлением того ужаса, какой ей пришлось пережить.

— Куси его! Куси его! — раздавались голоса среди оживившейся публики. — Отгрызи ему ухо, Понта! Это единственный способ, каким ты его возьмешь. Сожри его! На, съешь! Почему же ты его не ешь?

Это произвело ужасное впечатление на Понта. Он озверел еще больше и еще сильнее чувствовал свое бессилие. Он задыхался и рычал, истощая силы в чрезмерном напряжении; теряя рассудок и самообладание, он тщетно пытался заменить их напряжением физических усилий. Им владело одно только слепое желание уничтожить Джо. Он тряс его, как такса пойманную крысу, и делал отчаянные попытки высвободить свое тело и руки,

а Джо уверенно сжимал его и не пускал. Рефери самоотверженно и честно старался их разнять. Пот струился по его лицу. Он напрягал все силы, пытаясь разорвать эти сцепившиеся два тела. Но едва он успевал разделить их, как Джо с прежней энергией обвивал Понта, и вся его работа была впустую. Напрасно Понта, освободившись, пытался избежать рук и цепкого тела Джо. Он не мог уйти от него. Он приближался к нему с намерением нанести удар, но каждый раз Джо ускользал и ловил противника в свои объятия.

Женевьева, притаившись в маленькой уборной, внимательно наблюдая сквозь отверстие, ничего не могла понять. Она была заинтересованным лицом в этой смертельной борьбе — разве один из бойцов не был ее Джо? Публика знала, что здесь происходило, она же — нет. Смысл этой Игры оставался для нее загадкой. Чем эта Игра обольщала? Еще большей тайной, чем прежде, казалась она ей. Какое наслаждение мог находить Джо в этом зверском столкновении возбужденных и напряженных тел, в этих жестоких сжатиях, свирепых ударах, влекущих за собой страшные повреждения? Ведь она, Женевьева, предлагала ему гораздо более ценное — покой и безмятежную, тихую радость. Ее притязания на

сердце его и душу было много выше и благородней, чем притязание, предъявляемое ему Игрой. Сейчас Джо увлекался ими обоими — он держал ее в своих руках, но прислушивался к той, чей обольстительный зов она не могла понять.

Ударил гонг. Раунд кончился, и обхват был разорван в углу Понта. Бледнолицый молодой секундант был на арене с первым же звуком гонга. Он схватил Джо, приподнял его и вместе с ним побежал через весь круг в его угол. Там секунданты ревностно захлопотали над ним, согревая его ноги, растирая живот, растягивая пальцами набедренную повязку, чтобы ему легче было дышать. Женевьева впервые наблюдала, как мужчина дышит животом; живот поднимался и опускался гораздо сильнее, чем ее грудь, когда она гналась за трамваем. Едкий, щекочущий в носу запах нашатыря доносился к ней от мокрой губки, острые испарения которой при вдыхании проясняли его мозг. Он прополоскал рот и горло, высосал разрезанный лимон, и все это время его старательно обмахивали полотенцами, вгоняя в легкие кислород, освежающий и оживляющий уставшую кровь для предстоящего боя. Губкой, смоченной в воде, обтирали его разгоряченное тело и прямо из бутылок поливали его голову.

Глава VI

Удар в гонг возвестил начало шестого раунда — и оба боксера, с блестевшими от воды телами, выступили навстречу друг другу. Понта две трети пробежал. Он горел нетерпением скорее настигнуть противника, пока тот еще не вполне оправился. Но Джо выдержал этот натиск. Он опять чувствовал себя крепким, и силы его все прибывали. Он отпарировал несколько злобных ударов и ударил сам, заставив Понта зашататься. Он попытался продолжать наступление, но затем, разумно воздержавшись, удовлетворился парированием и защитой от вихря ударов, посыпавшихся после его удара.

Состязание шло так же, как и в самом начале: Джо оборонялся, Понта наступал. Но теперь последний держался уже менее развязно. Его уверенность в своих силах исчезла. В любой момент во время его бешеных атак противник мог нанести ему удар. Но Джо берег силы. Он отвечал одним ударом на десять ударов Понта, но этот один почти всегда попадал в цель. Неустанно атакуя Джо, Понта все же был не в состоянии с ним справиться. Удары Джо, всегда меткие, как

у тигра, заслуживали уважения. Они умеряли ярость Понта. Он уже не мог продолжать нападение так же безнаказанно, как прежде.

Внезапно ход борьбы изменился. Публика сразу заметила это, и в конце девятого раунда даже Женевьева поняла: Джо перешел к наступлению. Во время обхватов теперь уже он опускал кулак на крестец Понта, нанося изо всех сил ужасный удар над почками. И повторял это при каждом обхвате. В промежутках он бил Понта в живот или челюсть. Но при первом признаке молниеносных атак противника он, прикрываясь, отступал.

Так закончились два раунда, за ними третий, а сила Понта, заметно ослабевшая, не могла так скоро иссякнуть. У Джо была цель: уничтожить его не сразу, не одним сокрушительным ударом, даже не десятью, а медленно, настойчиво преследовать его отдельными ударами до тех пор, пока эта чудовищная сила окончательно не будет выбита из его тела. Он не давал ему покоя, не отставал от него ни на шаг: отчетливо слышался легкий стук его ступней по твердой парусине. Потом он внезапно набрасывался на него, как тигр; следовал удар и еще, и еще; и так же быстро он отскакивал назад, укрываясь от дикого налета Понта лишь затем, чтобы немедленно снова

начать наступление, легко ударяя по парусине выдвинутой вперед левой ногой.

Понта стал ослабевать. Толпа считала состязание почти законченным.

— Браво, Джо! — неслись восторженные возгласы.

— Это позор брать деньги! — издевалась толпа. — Почему ты не проглотишь его, Понта? Возьми его, съешь!

В течение одной минуты перерыва секунданты Понта суетились возле него, как еще ни разу до сих пор. Их спокойное доверие в его необычайной живучести было подорвано. Женевьева следила за их возбужденными хлопотами, в то же время прислушиваясь к советам, даваемым Джо его бледнолицым секундантом.

— Не торопись, — говорил он. — Ты его возьмешь, но старайся не спешить. Я видел его в бою. У него всегда наготове удар. Я видел, как он был нокаутирован и все-таки продолжал драться. Мики Сэлливэн почти его прикончил. Шесть раз он его сбивал, и шесть раз тот поднимался. А затем произошла штука. Понта дал ему в челюсть, и только две минуты спустя Мики Сэлливэн открыл глаза и спросил, что случилось. Берегись его. Не слишком забывайся и берегись его ударов — у

него есть меткие. Я поставил деньги, но только тогда, когда он останется лежать, после конца счета буду считать их своими.

Понта обливали водой. Когда зазвонил гонг, секундант еще не кончил лить ему на голову и несколько шагов следовал за ним в середине арены, наклоняя над ним перевернутую бутылку. Рефери закричал на него, и он убежал, уронив бутылку. Она покатилась, и вода, булькая, выливалась на парусину, пока арбитр нетерпеливо не отшвырнул ее носком сапога за канат.

В течение всех предыдущих раундов Женевьева не видела у борющегося Джо того лица, какое было у него утром в магазине ковров. Иногда оно становилось совсем мальчишеским; во время наносимых ему жестоких ударов оно бледнело и серело, а позже, когда он припадал к Понта, делалось упрямым. Но теперь, вне опасности, наступая сам, он выглядел настоящим бойцом. Она это заметила и содрогнулась. Он показался ей совсем чужим. Она думала, что знает его всего — целиком, но твердая решительность его лица, жесткий рот, этот стальной, острый блеск глаз были ей незнакомы. Его лицо казалось ей лицом бесстрастного ангела мести, исполнителя воли Создателя.

Понта пытался применить свой прежний прием бешеных натисков, но был остановлен ударом в зубы. Неумолимо, настойчиво, все время угрожая, не давая ему передышки, Джо преследовал его. Тринадцатый раунд завершился сильным натиском, загнавшим Понта в его угол. Тот прижался к канату, был опрокинут на колени и на отсчитанной девятой секунде попробовал подняться, чтобы спастись в обхвате, но получил от Джо четыре ужасных удара в живот, и со звоном гонга упал, застонав, назад, на руки своих секундантов.

Джо побежал через арену в свой угол.

— Теперь уже скоро я его возьму! — сказал он своему секунданту.

— Да, сейчас ты его здорово пригвоздил, — отвечал последний. — Теперь тебе ничто не может помешать, кроме какой-нибудь случайности. Ты все-таки будь осторожней.

Джо, пригнув ноги, приготовился к прыжку, наклонившись вперед, подобно гонщику, ожидавшему сигнала отправления. Он ждал удара в гонг. Когда тот прозвучал, он стрелой мотнулся вперед через арену, настигнув Понта в то время, как тот поднимался со стула, окруженный еще секундантами. Понта отступил и свалился, сби-

тый кулаком правой руки Джо. Когда он встал в смущении посреди ведер, стульев и секундантов, Джо снова опрокинул его. И в третий раз он опять упал, не успев спрятаться в свой угол.

Теперь Джо начал бешено атаковать. Женевьева вспомнила его слова: «Смотри внимательно, ты поймешь, когда я начну наступать». Весь зал уже понял это. Все были на ногах, голоса слились в один бешеный рев. Это был вопль толпы, жаждавшей крови, и он звучал в ушах Женевьевы подобно вою волков, каким она его себе представляла. И уже не сомневаясь в победе возлюбленного, она почувствовала где-то глубоко в сердце жалость к Понта.

Тот напрасно порывался защищаться, парировать удары, уклоняться и нырять, спасаясь на мгновение в обхвате. Но и здесь он не был в безопасности. Его уделом оставались низвергающиеся один за другим удары. Джо швырял его на парусиновую настилку, осыпая градом ударов во время обхвата, и при разрыве жестоко, неумолимо бил его в грудь. Отбрасываемый к канату, тот отскакивал и от следующего толчка снова ударялся о канат. Рассекая руками воздух, он наносил страшные удары впустую. Ничего человеческого уже не оставалось в нем. Это был воплощенный

зверь, беснующийся, затравленный. Сильным швырком брошенный на колени, отказавшись от счета, он вскочил на ноги лишь затем, чтобы встретить тотчас же удар в рот, отшвырнувший его со всего размаху назад, опять к канату.

Судорожно напрягаясь в тяжелых усилиях, он шатался; с остекленевшими глазами, прерывисто дыша, страшный, он геройски боролся до конца, стараясь припасть к противнику, и в бессилии метался по всему кругу. И вдруг, неожиданно, нога Джо поскользнулась на мокрой парусине. Блуждающие глаза Понта заметили это, и он тотчас же воспользовался этой случайностью. Собрав последние силы, он молниеносно ударил его в подбородок. Джо подскочил. Женевьева видела, как сразу опали его мускулы, и услышала гулкий стук его головы о парусину.

Шум в зале моментально замер. Рефери подошел к распростертому телу, отсчитывая секунды. Понта, шатаясь, опустился на колени и, с большими усилиями снова поднявшись, обводил враждебными глазами публику. Он продолжал покачиваться из стороны в сторону; ноги его дрожали и подкашивались; он задыхался и всхлипывал, стараясь перевести дух. Сильно пошатнувшись назад, он не упал лишь благодаря

канату, инстинктивно уцепившись за него. Здесь стоял он — вялый, ослабевший, согнувшись и опустив голову на грудь, пока рефери отсчитывал решающую десятую секунду и оповещал о его выигрыше.

Не раздалось ни одного аплодисмента. Змеей прополз он под веревкой навстречу своим секундантам. Они помогли ему спуститься на пол и, поддерживая, повели боковым ходом вниз в толпу. Джо лежал все еще на том же месте. Секунданты отнесли его в его угол и посадили на стул. Любопытные стали пробираться на площадку круга, желая посмотреть на него ближе, но были отброшены назад стоявшими там полицейскими.

Женевьева в отверстие все видела. Она особенно не тревожилась. Ее возлюбленный потерпел поражение. Она разделяла с ним его огорчение от такой неудачи — и это все. Отчасти она даже радовалась. Игра обманула его. И теперь-то он уже целиком принадлежит ей. От него она знала, что такое нокаутирование. Часто требовалось немало времени, чтобы привести боксеров в себя. И только услышав, как секунданты требовали доктора, она встревожилась.

Они перенесли его гибкое тело за канат, и она

не могла уже больше его видеть. Потом распахнулась дверь уборной, и вошло много народа. Они несли тело Джо. Его положили на пыльный пол; голова его покоилась на коленях одного из секундантов. Никого, по-видимому, не удивляло ее присутствие здесь. Она подошла и опустилась на колени возле него. Глаза его были закрыты, губы слегка разжаты, мокрые волосы прямыми прядями окаймляли лицо. Она подняла его руку. Рука была тяжелой, и ее безжизненность ужаснула Женевьеву. Она взглянула на лица секундантов и толпящихся вокруг людей. Все они казались испуганными, кроме одного, который грубо ругался. Подняв голову, она увидела Сильверштейна. Он тоже выглядел испуганным. Он нежно положил ей руку на плечо и сочувственно сжал его пальцами.

Это сочувствие испугало ее, и она ощутила головокружение. В это время в комнате поднялась суматоха — кто-то вошел. Вошедший пробрался вперед и раздраженно закричал:

— Выходите отсюда! Выходите! Комнату надо очистить!

Присутствующие молча повиновались.

— Вы кто? — резко спросил он Женевьеву. — Да ведь это девушка!

— Это ничего, это его невеста, — заметил один молодой парень, в котором она узнала своего проводника.

— А вы? — крикнул он, вспылив, Сильверштейну.

— Я с ней, — ответил тот так же сердито.

— Она работает у него, — объяснял молодой человек. — Этим можно, уверяю вас.

Вновь прибывший раздраженно пробормотал что-то и опустился на колени возле Джо. Он провел рукой по его мокрой голове, опять что-то пробурчал и поднялся на ноги.

— Мне здесь нечего делать, — сказал он. — Пошлите за каретой скорой помощи.

Все, что происходило после, казалось Женевьеве сном. Возможно, она потеряла сознание — этого она не знала, — иначе зачем же Сильверштейну поддерживать ее, обхватив рукой. Все лица казались ей расплывчатыми, нереальными. До нее долетали отрывки разговора. Молодой человек, ее проводник, что-то говорил относительно репортеров. «Твое имя попадет в газету», слышала она обращенный к ней откуда-то издалека голос Сильверштейна. И заметила, как отрицательно покачала сама головой.

Появилось много новых лиц, и она увидела,

как Джо выносили на парусиновых носилках. Сильверштейн застегнул ее длинное пальто и поднял воротник. На лице она почувствовала ночной воздух и, посмотрев вверх, увидела ясные, холодные звезды. Ее усадили куда-то, Сильверштейн сел рядом. Джо был тоже здесь, все еще на носилках, с одеялом поверх обнаженного тела. И здесь же был еще какой-то человек в синей форме, что-то ласково ей говоривший, но что — она не понимала. Стучали копыта лошадей, и ее увозили куда-то в темноту ночи.

После — свет и голоса и запах йодоформа. «Это, должно быть, больница, — подумала она, — вот операционный стол, а там доктора». Они внимательно осматривали Джо. Один из них, с темными глазами, с черной бородой, похожий на иностранца, приподнялся над столом.

— Никогда не видел ничего подобного, — заявил он другому. — Вся затылочная кость!

Ее сухие губы горели, и ощущалась невыносимая боль в горле. Почему же она не плачет? Ей следовало бы плакать; она чувствовала, что слезы душат ее. Там вот, Лотти (это, вероятно, тоже сон), отделенная от нее только маленькой, узкой койкой, плачет. Кто-то упомянул о смерти, — другой доктор, не тот, что похож на иностранца.

Но не все ли равно кто? Который может быть час теперь? И как бы в ответ она увидела в окне бледный рассвет.

— Сегодня мы хотели обвенчаться, — сказала она Лотти.

С другой стороны койки его сестра простонала:

— Не надо говорить, не надо! — она закрыла лицо руками и снова зарыдала.

Так вот, значит, каков конец: ковров, мебели и маленького арендованного дома; вот каков конец их встреч, волнующих вечерних прогулок при свете звезд, этого наслаждения покорностью и их взаимной любви. Она была потрясена таким ужасным результатом Игры, ей непонятной, цепко пленяющей душу мужчины иронией и вероломством, риском и случайностями, а гордо бунтующая кровь низводит женщину на роль жалкой игрушки, отнимая у нее возможность быть для него всем — конечной жизненной целью. Женщине он — мужчина — дает радость материнства и свою заботливость, свои настроения и свободные минуты, а Игре — дни и ночи состязаний, все свои мысли и свои руки, все терпение и невероятное напряжение, все рвение, весь пыл своего существа, — Игре, этой заветной своей страсти.

Сильверштейн помог ей подняться на ноги. Она беспрекословно повиновалась, все еще как во сне. Он сжал ее руку и толкнул в двери.

— Почему же ты не поцелуешь его?! — вскрикнула Лотти.

Женевьева послушно наклонилась над телом и прижала губы к его еще теплым губам. Дверь открылась, и она вышла в другую комнату. Там ждала их миссис Сильверштейн. Глаза ее гневно, возмущенно загорелись при виде мужского платья на Женевьеве.

Сильверштейн умоляюще посмотрел на свою супругу, но она разразилась яростным потоком слов:

— Что я тебе говорила? Что? Что я говорила? Ты захотела кулачного бойца в мужья. А теперь вот твое имя будет во всех газетах. На состязании и в мужском платье! Ах ты, негодница! Ах ты, распутница! Ах ты…

Но тут слезы хлынули из ее глаз, и голос оборвался. Она протянула свои грубые руки смешно и неуклюже, святая в своем материнском порыве; шатаясь, подошла к неподвижной девушке и прижала ее к груди.

Вздыхая, она невнятно бормотала ласковые слова и, обняв Женевьеву за плечи своими силь-

ными руками, тихо ее баюкала.

КОММЕНТАРИИ

Сборники «Сын Волка» и «Дети Мороза»

«Дети Мороза» назвал Джек Лондон свой второй сборник рассказов (1902) о Белом Безмолвии — само название образовано по индейской модели: Соленая Вода, Огненная Вода (водка) и пр.

Джек Лондон, не безразличный и к переходным формам индейской культуры, и белой американской цивилизации, в этом сборнике попытался перевести в некоторых случаях язык индейцев на язык белых американцев, преимущественно англосаксов — выходцев из Великобритании; показать «сознание» и причудливую логику коренных жителей Аляски и ее окрестностей, а также восприятие и осмысление коренными индейцами и эскимосами американской цивилизации рубежа XIX — XX веков. Писатель ставит перед собой немыслимо сложную задачу — в жанре короткого рассказа отразить коллизию двух культур — каменного века и века стали (по его собственному определению).

Постоянная и острая схватка двух культур особенно хорошо видна и ощутима на таком

крохотном пятачке, как Клондайк. Это не только географическое пространство, а и место вечной борьбы с холодом, нечеловечески трудными условиями быта. Но одни (туземцы) борются за выживание и свое попираемое человеческое достоинство, другие (пришельцы) — за обогащение и укрепление собственного положения и принесенной ими культуры — скорее цивилизации стального века. Однако пока носителям последней не выжить без помощи северных индейцев и их традиционной бытовой культуры. Пока нет снегоходов и вездеходов, бензопил, а на себе много не утащишь, приходится довольствоваться в лучшем случае собачьими упряжками, чумами и палатками, мокасинами из звериной кожи, топорами и ручными пилами, коротать вечера при коптилках на тюленьем жиру и закусывать солониной.

Объективно Джек Лондон воссоздал социальную структуру общества того времени (точнее даже двух обществ) в медвежьем северном захолустье Соединенных Штатов с их нравственно-психологическими традициями, целями и принципами. Таким образом, конфликт между индейцами — сыновьями Ворона, научившего их выживать в суровых природных условиях, дав-

шего им в руки всякие ремесла и приспособления (распространенный тотем-символ и покровитель коренных жителей Аляски), и сыновьями Волка (так индейцы называли белых, и Джек Лондон в полную меру «поэксплуатировал» это прозвище) — людьми стальной цивилизации и белой расы выступает часто как всеобщий.

Ключевой рассказ цикла «Сын Волка» — одноименное произведение, показывающее, как общие для белых пришельцев из Солнечной Страны идеи и нравы преломляются и воплощаются в конкретном характере, типе старателя-предпринимателя Маккензи, выдвигающегося в крупные буржуа, нового героя стального века. Этот супермен, владеющий приемами единоборства, ножом, ружьем и револьвером, плюющими огнем на близком и дальнем расстояниях, не так прост, как может показаться. В захватывающем поединке за индейскую девушку Заринку он не только подкупил вождя и отца невесты Тлинг Тиннеха, но и победил в открытом поединке главного претендента на ее руку Медведя, убил шамана метко брошенным ножом, а другого соперника — Лисицу сделал своим покорным слугой, сломав его волю к сопротивлению. Вооружен он не только чисто технически, но и

морально, психологически. У него незаурядная воля и капиталы…

…Теперь в описанных местах, помимо золота, добывают алмазы; самые мощные ядерные установки и электромагнитные антенны системы «Харп» расположены именно на Аляске. Последние обладают электронным суммарным лучом такой мощности, что, действуя целенаправленно и сконцентрированно, он может вызвать едва ли не катастрофы континентального или даже глобального свойства…

Но Маккензи не расист, он хочет заполучить в жены именно красавицу индианку, а не сивашку, поскольку в этих условиях она для него — самая подходящая подруга жизни. Выгодно это и Заринке. Нельзя же всю жизнь питаться рыбой и оленьей солониной, нельзя обойтись одним тюленьим жиром, каким бы вкусным он ни казался любителям потлача. Женщина, по мнению Маккензи (и тут автор его союзник), должна пользоваться благами цивилизации — пароходами, поездами, трамваями, телефонами, жить какое-то время в краю, где светит круглый год солнце. И эти аргументы очень действуют даже на индейцев. Обе культуры активно взаимодействуют.

Борьба двух начал (индейского и англосаксонского — *А. Г.*) не только духовная: борются и люди — каждый во имя своего тотема. Племя Стиксов — дети Джелкса Ворона, носителя Прометеева огня; Маккензи — сын Волка, иными словами — дьявола. Пытаться противопоставить эту извечную борьбу двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу — значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие слова, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи — ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасться в доверие, посланника самого сатаны…

Сам Маккензи овладел основами индейского менталитета, очевидно, языком этого народа (чем и близок Заринке).

Для Маккензи все завершилось чересчур благополучно — он, несмотря на свое вызывающее поведение, победил и морально — убил покушавшегося на его жизнь злого шамана и отправился с законной, по местным обычаям, супругой Заринкой строить собственную семью.

Другие произведения этого цикла также заключают в себе чрезвычайную ситуацию.

В новеллистическом рассказе «Право священнослужителя» не только отвергается стерео-

типное представление о людях Клондайка как малограмотных и безнравственных искателях приключений, сорвиголовах, но идет речь о главных общечеловеческих моральных ценностях. Некая миссис Грэйс Бентам то и дело тянула на поводке своего нерадивого мужа Эдвина — «эгоиста и слюнтяя». Ей это в конце концов изрядно поднадоело. И она нашла себе достойного любовника — золотопромышленника Клайда Уартона, который даже в случае отъезда из этой суровой и негостеприимной земли мог жить на немалую ренту от своих доходов где-нибудь в итальянской собственной вилле и кормить благодарную ему красивую и волевую супругу изысканными фруктами, любоваться морем под ласковым южным солнышком. Однако этому головокружительному плану помешал «местный» миссионер священник Рубо, давно прибывший в эти места и ставший уважаемым в Даусоне человеком… Он прочел такую мораль желающей заблудиться овце, напомнив ей о супружеской клятве, произнесенной перед лицом Бога во время венчания, что у миссис Грэйс мгновенно пропала охота поменять даусонское захолустье на лазурные берега Италии, и она отказала Клайду — твердо и навсегда. Вот какова сила убеждения. Мораль

этого рассказа выражена в как будто полуиронической реплике друга Мельмута Кида, с которым тот поделился этим своим успехом: «Ваша совесть должна быть чиста».

Чистота совести воспринимается в суровой походной жизни, в трудном пути по снежному бездорожью Аляски. Об этом пронзительный рассказ под названием «Мудрость снежной тропы». Индеец Ситка Чарли с двумя своими спутниками берется сопровождать немногочисленную экспедицию, состоявшую из заблудившихся в пути людей, на дальний прииск по морозной равнине. Экспедиция особенно трудная — и люди, и собаки на голодном пайке, к тому же один из «волков» по имени Джо — еще один белый человек в отряде — серьезно заболел и передвигается с трудом. А идти приходится пешком — изнуренные собаки не могут уже потянуть упряжку даже с самыми необходимыми вещами и продуктами по колкому льду. Индейцы то ли сознательно, то ли инстинктивно отлынивают от исполнения элементарных обязанностей. Чарли, не привыкший мыслить абстрактно, понимает, что дисциплина разваливается. В подобном состоянии изголодавшиеся и промерзшие люди, в том числе и видавшие виды индейцы, дошли до безразличия к нарушению

собственного закона и чести, или «вышли из повиновения». В ответ на его приказ вернуться за оставленным белым они вынули ножи. Чарли тут бессилен. Но вот двое его соплеменников украли из общих неприкосновенных запасов по горсти муки и, размешав в кружке с горячей водой, тайком выпили эту похлебку. Тут уж явное нарушение закона тундры. И сами виновники не возражают против смертного приговора.

В такой концовке и своеобразный темперамент индейцев, и их кодекс чести, имеющий общечеловеческий смысл, и ощущение справедливости при вынесении даже этого сурового приговора.

У белых тоже возникают подобные проблемы. И далеко не всегда закон связан с высшей справедливостью и в состоянии учесть некоторые весьма тонкие нюансы. Юридический и человеческий подходы существенно отличаются.

Вот уже знакомая нам компания во главе с Мельмутом Кидом, врожденным искусным рассказчиком и справедливым человеком («За здоровье того, кто в пути»). Его друзья Стэнли Принс и Поль Рубо, а также случайные люди — скупщики немец Мейерс, француз Луи Савуа — устроили небольшую пирушку, добродушный хозяин приготовил им свой «фирменный пунш»

и разлил его по оловянным кружкам. Тут хорошо передана атмосфера такой обстановки, где каждый хочет высказаться, где нет конца самым неожиданным случаям и приключениям на берегах Юкона.

Это уже вступление в событийную часть новеллы, ее преамбула.

Неожиданное появление незнакомца, якобы спешащего догнать украденную у него собачью упряжку, а затем капитана королевской северо-западной полиции обостряет атмосферу. Выясняется, что неожиданный гость разыскивается за преступление: он ограбил банк. Общество стало громко обсуждать преступление Джэка, называя его вором, мошенником, лгуном. Лишь один Мельмут хранил молчание, а потом, когда страсти улеглись, вдруг сказал:

— Никогда еще не ел с нами из одной миски и не укрывался одним одеялом человек честнее Джэка Уэстонделя.

Оказалось, что он забрал у содержателя картежного притона Гарри Мак-Фарлэнда свои собственные деньги, которые проиграл в карты некто Кастрель, взявший их взаймы у Джэка и покончивший с собой.

Особенно интересны у Джека Лондона женские

образы («Жена короля»). Так благодаря участию того же Мельмут Кида и его друга, музыканта по совместительству, Джэка Харрингтона местным белым дамам удается организовать в Даусоне нечто вроде танцевального клуба. И на празднике Благодарения — бале-маскараде — победа неожиданно присуждается подготовленной за какое-то время жене некоронованного короля Кола Галбрэта, метиске (отец белый, но погиб во льдах, мать — индианка), воспитанной сестрами из Миссии Святого Креста и получившей при крещении имя Мэдилайн. Муж был неожиданно удивлен, как это его серенькая «сивашка» могла переплюнуть даже знаменитую танцовщицу, и теперь с этой неожиданно прорезавшейся светской личностью нужно обращаться как с дамой.

Значит, «колонизация края» приобрела в каких-то своих проявлениях неотвратимый характер, если люди меняются до неузнаваемости, разделяя ценности бурно развивающейся белой цивилизации.

Писатель правильно определил общую, пусть даже весьма противоречивую линию развития Аляски, как и других территорий США. И констатировал при этом уже ощутимый результат.

И это заметно отражается на судьбе даже корен-

ных индейцев. Самое ударное произведение из этого цикла носит название «Северная одиссея», чем подчеркивается как бы более высокий статус эпичности. Здесь речь идет о двух непростых жителях Акатана — одной из самых северных провинций Аляски — Алеутских островах. Оба они дети вождей соседних племен и отцы их очень хотели, чтобы смешалась кровь, прекратилась многолетняя вражда между племенами и народы их стали едины и жизнеспособны перед белой угрозой исчезновения… Но отцов уже не было в живых, когда Унга и Наас решили вступить в брачный союз. Все свершилось по обычаю, с соответствующими подношениями.

Но тут случается неожиданное — на свадьбу пожаловал белый человек с львиной гривой — капитан пришвартовавшегося к побережью судна. Его сопровождали подчиненные. Капитан подхватил на руки сопротивляющуюся невесту и понес ее на свой корабль.

Обидчиком был знаменитый в тех краях швед Аксель Гундерсон. Наас дал себе страшную клятву — во что бы то ни стало отомстить наглецу. Исколесив полмира, выучив английский язык и обычаи белых, через много лет Наас встретил эту парочку любивших друг друга людей в Даусоне.

Унга не узнала своего индейского мужа — прошло много лет.

Применив коварную хитрость дикарей, Наас сумел избавиться от соперника и наивно пытался вернуть Унгу. Он рассчитывал, что язык отцов, на котором он с нею заговорил, отрезвит обезумевшую от горя женщину.

Унга назвала Нааса собакой и дважды ударила его ножом, но рука ее ослабела от голода, и удары оказались не опасными. Она обняла своего умершего мужа, отказавшись от еды. Наас, «вернув долг», оставил ее умирать на теле мужа, а сам чудом добрался до того же Даусона.

Наас не постеснялся рассказать свою одиссею белым людям.

Эта новелла-повесть великолепна еще и потому, что в душе Нааса уживаются элементы обеих культур, и он переводит пережитое и увиденное то на «язык» индейцев, то на «язык» белых, если речь идет как раз об индейских обычаях, законах, представлениях — тут как бы две автономных и постоянно пересекающихся модели мира.

Сборник рассказов «Дети Мороза» является логическим продолжением других: «Сын Волка» и «Бог его отцов». Все эти циклы рассказов и были напечатаны соответственно в таком порядке в

различных американских издательствах с 1900 по 1902 годы. Причем «Дети Мороза» как бы венчают такую художественную трилогию.

Первый рассказ этого сборника — «В дебрях Севера». Участник экспедиции профессор Эвери Ван Брант неожиданно столкнулся в эскимосском племени со своим земляком Джоном Фэрфаксом, погибшим будто бы во время какой-то предшествующей экспедиции. Спасшийся чудом Джон научил индейцев этого племени правилам рукопашного боя, что помогло расширить влияние местного вождя Тантлача на других племенных собратьев — его власть распространялась теперь и на их стойбища и чумы; ввел немало других преобразований в их быт, за что удостоился чести взять в жены дочь вождя племени красавицу Том. А это в европейском смысле местная принцесса. Индейцы отнеслись к пришельцу, попавшему в беду, с доверием и более чем благосклонно. Правда, ревниво и злобно оценил такой брачный союз самый храбрый и сильный воин — претендент на руку Том — Кин. Для него это не более чем предательская сделка. Тут заложены семена будущего вооруженного столкновения.

Профессор Ван Брант, приятель, кстати, родного брата Джона Фэрфакса, погибшего где-то

в этих местах, пренебрежительно иронически отнесся ко всем этим племенным ценностям каменного века и к его культуре, в том числе и к племенному кодексу чести. И напрасно! А он ведь ученый-геолог, но в идеологическом смысле не без склонности к расистским представлениям.

И внимательная, преданная своему мужу Том поняла, что с приездом этих белых ей угрожает опасность. И дальше — трагический финал, неизбежный при столкновении двух представлений о жизни, двух идеологий, двух восприятий чувства любви и солидарности. Это чувство — явление не только исключительное, но и симптоматичное. Так же примерно поступает и Месахчи — походная жена белого человека из рассказа «Жители Солнечной Страны», пытаясь спасти от своих и верной гибели команду любовника. Но современную западную культуру женщины Севера проходят поэтапно, шаг за шагом, не всегда понимая мотивы и поступки возлюбленных.

Кое-кто преображается весьма существенно, до неузнаваемости. Так белые женщины долгое время не могут понять мечты светлокожей Ли-Ван из рассказа «Красавица Ли-Ван» быть вместе с ними, уйти от надоевшего мужа индейца хотя бы потому, что она полукровка — отец ее белый,

и ей хочется попасть в страну вечного солнца и приобщиться к благам цивилизации, делающим жизнь женщины легкой и приятной…

Не только женщины, но и непритязательные мужчины, вкусившие другой жизни среди белых, оказавшись где-то на работе по найму в экспедициях, а тем более — плававшие на корабле, также порою готовы вырваться из объятий родных племен или во всяком случае отнестись к вековым традициям иронически. И тут они терпят крах, иногда дорого расплачиваются за свои позиции, отчего другая, как идеал, не становится менее привлекательной. Так в рассказе «Заклинатель духов» у некоей бедной индейской женщины Гуниа пропали прекрасные английские одеяла, которые ей очень дешево достались. И вот некто Сим — прекрасный сильный человек, не знающий страха и не боящийся тьмы, отличный рыбак, не раз встречавшийся с белыми людьми, решил подшутить — спрятать драгоценные одеяла, чтобы поиздеваться над местным шаманом, у которого и без того пошатнулась репутация — предсказал не тот ветер.

Но ненавидящий Сима находчивый шаман разоблачил шутника с помощью своего традиционного Ворона — тотема и других наивных

хитростей как виновника пропажи. Тот и сам признался, мотивируя свой поступок тем, что хотел подшутить над женщиной.

Справедливость восторжествовала. И здесь — уже драматические столкновения старого сознания и нового, знаменующие некоторые отклонения от нормы и нарушение прежнего племенного единодушия…

Не менее показательным является замечательный по своему повествовательному колориту рассказ «Нам-Бок лжец». Сюжет его еще больше связан с социальной новью. Попавший в жестокую бурю местный рыбак с таким именем из селения у дельты Юкона, которого все, кроме матери, уже давно причислили к покойникам, неожиданно вдруг возвратился после нескольких лет отлучки. Его подобрал корабль белых, где он потом и работал на какой-то самой непрестижной должности. Поначалу от него шарахаются как от тени мертвого жители заброшенного и затерявшегося в болотах поселка, где видели только двух белых людей — переписчика населения и католического священника.

Его мать Баск-Ва-Ван, единственная, кто верил в возвращение сына, тут же покормила его — ей не так уж важно, тень он или не тень. Она безумно

рада и его возвращению, и подарку — шали дивной мягкости, накинутой на ее бедные плечи.

Но все ждут необыкновенного рассказа о приключениях, и Нам-Бок, пытаясь удовлетворить эти ожидания слушателей, с чувством юмора уже европейского человека начинает рассказывать…

Однако его рассказы с удивительными, странными для соплеменников подробностями приводят их к самому безобидному выводу — Нам-Бок возвратился необыкновенным лжецом и должен уйти из селения в море, чтобы не морочить людям племени головы, не туманить их разум необъяснимыми вещами: они явно из мира теней и должны быть туда же возвращены… Нам-Бок — отвратительный и опасный лжец.

Соплеменники насильно усадили «лжеца» в байдарку. Лишь мать благословила вынужденный отъезд сына, хотя мыслит, как все: кому это надо, чтобы мертвый вернулся?

Но только ли хорошее оставляют люди в уходящем каменном веке? — этим вопросом подспудно то и дело задается писатель, пытаясь ответить на него с максимальной честностью. Здесь есть печальный и пронзительный рассказ «Закон жизни», раскрывающий основы нелегкой жизни северных народов, детей Мороза, определяющие

их жизненные ценности и отношения к миру, к другим людям. Вот наступает драматический момент в жизни старого и немощного вождя Коскуша. Его кочующее племя снимается со стоянки в поисках пищи, оставляя его на верную голодную смерть. Он отработанный пар — дряхлый и никому не нужный член своего племени. Но старик еще не утратил остроты чувств, его могучий жизненный опыт накладывается на привычные действия соплеменников, он насквозь видит каждого, знает, кто чего стоит, хотя и ощущает себя, «словно осенний лист, который еле держится на ветке». Ему дано помнить о прошлом и предвидеть будущее — судьбу своих родных и близких, которые ленятся собрать для него побольше хвороста для костра, чтобы продлить никому теперь не нужную жизнь оставленного старика. Он и сам бросил когда-то отца в верховьях Клондайка — как ненужную обузу и потерял мать во времена Великого Голода. Теперь Коскуш подчиняется «закону жизни»: он уходит без сопротивления.

С этим миром и непреложными законами пора было и прощаться. Но старое отчаянно сопротивляется («Болезнь Покинутого Вождя»). Юноша, сын племенного вождя Выдры, страдавший с

детства какой-то странной болезнью, решает умереть в бою с воинами соседнего племени мукумуков, но выходит вдруг победителем в этой схватке и неожиданно для всех и для себя выздоравливает — удары врагов по голове исцелили его. Он, совершив немало подвигов в индейском духе, достиг немалого почета, расширил свои владения и свою власть, стал вождем и шаманом, собственноручно убив своего конкурента шамана Сколку.

Героически гибнет на большом мирном совете пытавшийся объединить людей различных племен для борьбы с белыми отчаянный воин и охотник Лигун («Смерть Лигуна»). Вожди других племен попросту не поняли, почему он, будучи таким отчаянным воином и убийцей, вдруг начинает проповедовать мир и согласие, лишая других возможности выразить себя и завоевать признание и почет? Это же борьба с вековыми обычаями и нарушение освященного предками закона! И Лигун достоин смерти. Правда, он дорого отдает свою жизнь. За него тут же мстит юный оруженосец Палитлум, расправляясь ножом Лигуна с самыми почетными и знатными вождями племен. Это-то и делает ему честь.

Но сам-то Палитлум постарел, он теперь слаб,

как вода, и податлив, как женщина. Его никто не уважает — зрение его ослабело, слух потерял остроту. Он рассказывает о своем героическом прошлом за бутылку с «Тремя Звездочками» и вынимает из ножен настоящий самодельный нож легендарного Лигуна, сработанный кое-как из пилы. Теперь рассказчик имеет прозвище — Палитлум-Пьяница, но когда-то он был Оло-Вечно-Голодный, поддержавший молодой своей силой Лигуна. Такие вот маленькие трагедии разыгрываются и в жизни людей в эпоху великого перелома.

Иногда борьба за старое приобретает совершенно дикий смысл. Местное племя Тлунгетов недовольно экспансией белых, которые накладывают руки на все и скоро захватят всю страну, в ней не останется места для племен Ворона. Поэтому белых надо истреблять нещадно, пока не останется ни одного из них в живых.

Однако Киш, сын храбреца Киша, мягок, как женщина, он не может убить даже жалкого раба по приказу вождя (рассказ «Киш, сын Киша»). От белого проповедника Брауна он услышал, что убивать грешно. Это вызывает у племени презрение к такому типу. Ворон должен схватиться с Волком, и люди Ворона должны быть беспощад-

ны. Это общая ситуация.

Однако Киш осмеливается просить руки и сердца дочери этого вождя. Пока он разговаривает с ней наедине.

И насмешливая Су-Су, дочь престарелого вождя тлунгетов Ноба, проникшись мыслями о необходимости решительной схватки, прежде чем ответить согласием, дает задание Кишу принести ей в качестве доказательства своей жизнеспособности (она ведь собирается нарожать в браке храбрых и мужественных детей — будущих воинов) два скальпа убитых им воинов, тогда-де она ответит согласием и отдаст ему свой расшитый бисером пояс и ножны с острым русским ножом… Су-Су никогда не думала, что Киш воспримет ее требование всерьез.

И Киш решился. Встретившемуся ему на тропе белому миссионеру он сказал, что держит путь прямо в ад. Но кто мог ему поверить?

В условный час Киш, сын Киша, принес завернутые в оленью шкуру четыре скальпа. И каково же было потрясение девушки, когда среди этих жутких свадебных «подарков» она узнала лица своего престарелого отца, храброго брата, с его застывшей насмешливой гримасой, и еще двух уважаемых людей племени. Неудивительно, что

теперь она попросила жениха убить и ее самое тем самым обещанным русским ножом…

Таков рецидив племенного атавизма, пробудившегося древнего индейского инстинкта, затуманившего сознание Киша.

Наиболее концептуальными рассказами сборника являются «Лига стариков» и «Жители Солнечной Страны». Здесь выражен двусторонний взгляд на проблему — и со стороны северных индейцев, и со стороны белых пришельцев-покорителей, осуществлявших американизацию страны и древней культуры индейцев в пределах собственного государства.

Обращает на себя внимание уже наименование последнего рассказа цикла — «Лига стариков». Вооруженное и открытое сопротивление индейцев сошло на убыль, многие из них уже вкусили некоторые преимущества новой жизни, перековались, приспособились — словом, приняли условия игры. Но старческое сознание и приверженность старейшин к прежним законам и порядкам остались непоколебимы, как порою и субъективная честность, логика действий этих людей. Старый немощный воин Имбер является в Даусон, чтобы простодушно и добровольно признаться капитану Александеру в своих чудо-

вищных преступлениях (с точки зрения местных жителей). Сам же он считает многочисленные убийства чужаков лишь необходимым сопротивлением произволу пришельцев и считает их вполне законными, соответствующими обычаям и кодексу индейской чести.

Его признание кажется речью не полубезумного старца, впавшего в маразм, а современного политического деятеля, настолько она по-своему логична и страстна.

Присутствующие в зале родственники жертв этих стариков, служащие Даусона не видят той адекватной высшей меры наказания, которую можно было бы назначить Имберу. Но он сам явился на этот суд, хотя и ни в чем не раскаялся. Ему уже нечего терять. У старика и воина Имбера, сына воина, своя неистребимая логика: он живет и действует как по племенным законам, так и по законам вечности. А в них немало общечеловеческого, такого, что не вмещается в расхожие правила и предписания.

Действие рассказа «Жители Солнечной Страны» происходит в экзотическом и миролюбивом селении Мэндел на берегу Полярного моря, где живут родственники соседнего Голодного Племени и где распространена «благодетельная

полигамия» — мало мужчин и много женщин. Здесь бросает якорь шхуна с красноречивым названием «Искатель». Шестеро ее членов без боязни сошли на берег, поселились в хижине некоего Нига (белые люди щедро расплачивались за постой мукой и сахаром). Сам хозяин все же малость огорчен, когда его дочь Месахчи проявила инициативу — решилась разделить свою судьбу или хотя бы ложе с начальником отряда белых людей Парнем-Биллем, знакомым с местным наречием и обычаями. Он уже побывал в Стране Снегов и знал язык племени Медведя (еще один популярный тотэм).

Однако местное общество склоняется к тому, что пришельцы все же непроходимо глупы, сказочно богаты и беспечны — как можно располагаться на ночлег у воинственного племени, склонять к замужеству дочь хозяина жилища, не дав за нее никакого выкупа?

Не пора ли тряхнуть стариной и вспомнить обычаи предков и быстро обогатиться? Какой с нас спрос? К тому же шестеро сородичей — охотников из Голодного Племени как раз гостят у жителей Мэндела. А уж эти-то согласны на все. Поэтому ночью, действуя ножами, надо убить постояльцев Нига, а утром под предлогом поме-

нять товары — проникнуть на шхуну и, улучив удобный момент, расправиться с их собратьями. После этого можно рассчитывать на богатую добычу и могучее пиршество. План прост до гениальности. Бедный несправедливо обиженный пришельцами Нига просит лишь пощадить его дочь, поэтому и помогает организовать кровавую вылазку — неслышно проникнуть шестерым охотникам в собственную хижину. Тайи — вождь племени и старшина селения, как и его советник Ааб-Ваак, также принимает в этом предприятии посильное участие. Но случилось непредвиденное.

События здесь развиваются, как в современном кинобоевике. Попытка загнать белых в ловушку не удалась. Она позорно провалилась.

Парень-Билль предложил раненому вождю Тайи расстаться мирно, и тот бросил ружье на камни. Тайи снабдил пришельцев пищей, лучшими собачьими упряжками — индейцы умеют ценить храбрость — и пожелал счастливого пути на юг, в Солнечную Страну. Парень-Билль многозначительно пообещал вернуться.

Но это еще не конец. Конец в высшей степени прозаичен. На следующий год в бухте Мэндел бросает якорь новая шхуна «Искатель Номер

Два». И на ней тот же старый знакомый индейцев Билль, а также члены прежней его команды — Чарли, Джим. Теперь они открывают золотой прииск, и всех оставшихся после той кровавой рубки мужчин заставляют копать землю. Плата за работу — сахар, ситец, мука и другие реальные вещи — их не добудешь на охоте.

Покалеченный в схватке с белыми Ааб-Ваак, у которого теперь шея свисает набок, проповедует смирение среди жителей селения Мэндел, за что получает вознаграждение в виде пенсии от компании, которую и возглавляет Билль… Ааб-Ваак стал прорицателем.

Тайи же назначен десятником на прииске — лояльный и надежный человек. Ему вполне можно доверять.

И он тоже, наученный горьким опытом, держит свое племя или то, что от него осталось, в руках. Не все тогда были в селении. Сам он придумал какую-то весьма правдоподобную компромиссную в высшей степени теорию, сводящуюся к тому, что солнце вливается в тело белых и неистово гонит их кровь: «Они всегда горят и поэтому не чувствуют поражений».

Таким образом, на рассматриваемых здесь произведениях отразилась своеобразная духовность

индейской культуры, лаконизм, характерология и нравственный колорит присущих северным жителям способов выражения мыслей и чувств.

«Игра»

Повесть «Игра» появилась в 1905 году, после того как Пьер де Кубертен возобновил традицию проведения мировых Олимпийских игр. Тогда еще мало стран откликнулись на эту инициативу. Спорт не был достаточно развит даже в Европе, не говоря уж об Азии или Южной Америке.

В своем рассказе Джек Лондон рассказывает о поединке двадцатилетнего юноши Джо Флеминга, выступающего уже профессиональным боксером с единственной целью — добыть денег для свадьбы и оставить это опасное увлечение по просьбе своей невесты Женевьевы, которая чувствует, что жених отдает боксу лучшую часть собственной души.

Мальчишка этот никакой не фанатик. У него добрая, почти женская душа. Он непомерно скромен. И выходит на ринг, чтобы как-то свести концы с концами, обеспечить жильем и прокормить свою весьма многочисленную семью, поскольку работа его низко оплачивается.

Подготовка к «игре» проходит на фоне нежной

и трогательной любви юноши к своей избраннице. Но им обоим нужны эти сто долларов теперь — ибо за них надо вкалывать на работе 10 месяцев. У Джо хорошие перспективы. Он более симпатичен, чем его противник, и ставки пока в пользу Флеминга — 6:4. Его противник Понта — человек-зверь. Это типичный тупой боксер с выбитыми уже мозгами, превосходящий юношу и по возрасту, и по опыту, он на 12 фунтов тяжелее по весу — около шести килограммов, что как будто не имеет особого значения, но всё же, всё же…

И Понта понимал, что зрители против него.

Наивная Женевьева, присутствующая на этом бое тайком (женщин тогда на такие соревнования еще не пускали), пытается понять и смысл опасной игры, и характер мужчин — этих каменных опор в женской взрослой жизни.

Кроме нескольких людей, снующих по рингу, — судей, помощников-ассистентов, — разочаровывают Женевьеву и сидящие в зале болельщики.

В композиционном смысле повесть добротно «сделана». Сам поединок происходит на фоне особенного периода в жизни боксера — ожидания скорой женитьбы. Это не самый подходящий момент для победоносной борьбы, считает торговец Клаузен. Боксер не должен расслабляться и

отдаваться сентиментальной чепухе. Пропадает боевой настрой.

Конечно, у Джо есть кое-какой план победоносного исхода, но он будет «корректироваться» на ринге вплоть до полного своего провала.

И еще, что очень важно, — бой этот воспринимается любимой и любящей порядочной девушкой, работницей кафе-кондитерской, которая тайно проникла сюда в мужском костюме. Она волнуется больше других по вполне понятным причинам, хотя и понимает в этом боксе меньше всех.

Ее избранник на ринге совсем не похож на того наивного мальчишку, с которым она робко прогуливается по вечерам, стыдливо взявшись за руки. Это вовсе не безобидный мальчик для битья — это мужчина с твердой складкой губ и с суровым выражением лица. Он во имя победы и их общего благополучия должен забыть все человеческое, отбросить жалость к противнику и возбудить в самом себе первобытные инстинкты. И чем более зверски он будет держаться, тем лучше для него, для дома, для семьи, для вульгарной публики.

Течение поединка, со всеми его ударами, клинчами, перерывами, задает темп рассказу и одновременно определяет его эмоциональный

тон. Не только действия, но и характеры боксеров, их тактика хорошо передаются в поединке.

Поначалу Женевьева болеет за избиваемого жениха, потом, когда тот переходит в наступление, ей как-то жалко уже Понту. Ее раздражает не только жаждущая крови публика, но и сама обстановка.

Женевьева — вовсе не сторонний наблюдатель, а лицо заинтересованное. Но она не понимает многого из того, что как Божий день ясно публике.

Тот поединок похож и не похож на нынешнюю организацию матча. Раунд длится действительно три минуты. И расторопные ассистенты с ведрами и вениками буднично начинают кропить водой и обхаживать боксеров, не давая им отдышаться, с точки зрения девушки. Однако число раундов здесь не предусмотрено. Значит, надо сражаться до победы, до потери сознания одним из участников.

В боксе уже сложился свой профессиональный жаргон. Публика, конечно, знает больше непосредственных участников. Попавшему в нокаут она советует выждать счет, не спешить подниматься. И тут «окончательный результат» — драться до обморока, до крови, до потери со-

знания — не заставил себя ждать. В тринадцатом раунде, когда все для Джо складывалось почти великолепно, противник наносит Джо последний, но, увы, — смертельный удар.

Побеждает неистребимое звериное начало — инстинкт самосохранения, всплеск злобы — все рассчитано на удовлетворение низменных чувств публики, как в Древнем Риме при боях гладиаторов. Писатель всей логикой своего текста явно осуждает такой «профессиональный бокс с его конечным результатом». Но разве можно лишить публику такого первобытного удовольствия, а организаторов и победителей — выручки? А она ведь теперь измеряется миллионами долларов.

Порою раздавались голоса совсем ликвидировать профессиональный бокс, оставить лишь любительский, каким он предстает на Олимпийских играх, где правила помягче, раундов три и боксеры выступают в защитных касках. Но не то «удовольствие», не те доходы. Тут тоже, в профессиональном боксе, появились кое-какие сдвиги — раундов теперь всего 12 (Джо, как помним, погиб в 13-м), при травме боксера, разбитой щеке или кровоточащей голове судья имеет право остановить профессиональный бокс. Но

редко этим правом пользуются. Счет убийств на ринге начали уже и боксирующие женщины. Регулируемому строгими законами и предписаниями боксу противопоставлены теперь весьма популярные и развязные «бои без правил», где возможность травм и летальных исходов ощутимо возросла.

Кстати, никто теперь не называет такие жесткие поединки игрой, и тот дополнительный художественный оттенок, который характеризовал так своеобразно основное событие рассказа писателя, утратил в нынешнем конкретном спорте второй смысл, хотя бокс — один из видов состязаний на Олимпийских играх.

Но в рассказе тот смысл еще «работает» — игра не должна быть смертельной в принципе, но так вот получилось. Таков извилистый путь развития представлений человечества о спорте, красоте, гармонии, своеобразном мире, о котором напоминал накануне Пьер де Кубертен.